Одесский
альманах
№80
I / 2020

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 1 (80), 2020
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД №21 от 20.01.2003 г.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Тираж 500 экз.
Заказ № _____

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 1 (80), 2020
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»
Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.
Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Наклад 500 прим.
Замовлення № _____

© АО «ПЛАСКЕ», 2020
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2020

От редакции

Незаметно (на удивление!) мы выпустили в свет восьмидесятый номер альманаха «Дерибасовская – Ришельевская». Когда планировали его, готовили материалы и даже верстали, не задумывались о том, что он юбилейный… Ведь только вчера отмечали в Одесском дворике Литературного музея выход 75-го… Так что будем считать, что юбилейный – 100, и к нему через пять лет… Через пять мгновений…

Может быть, что-то действительно происходит со временем – когда-нибудь мы об этом узнаем точно, но, может быть, и не мы…

Первый номер вышел в 2000 году, и все ломали головы, а каково это – родиться накануне миллениума? Восьмидесятый вы получили в 2020. Над чем сейчас ломаем головы?

Недавно наш автор – краевед и антиквар Анатолий Дроздовский – рассказал о том, как много лет назад он, молодой коллекционер, страницу за страницей доставал из ящика с бумагой на растопку печки, стоявшей в кухне его соседа по коммуналке… Доставал легендарный труд Александра Дерибаса «Столетие Одессы». Так начиналось одно из лучших собраний артефактов, повествующих о нашем городе…

В нашем альманахе за эти годы реализовали итоги своих поисков и опубликовали находки историки, краеведы, архивисты, романисты, связавшие научные, литературные, человеческие судьбы с одессикой.

Тон и уровень задал Ростислав Александров (Саша Розенбойм), написавший в 2000 году для первых четырех выпусков эссе о четырех

углах Дерибасовской и Ришельевской. Недавно вышел в свет шестой том собрания его сочинений, посвященных не только истории города, но и судьбам его (наших) обитателей – от блистательных политиков до торговок цветами.

Из номера номер уже который год в альманахе публикуются главы из фундаментальных научных трудов Олега Губаря. В нынешнем – из «Путеводителя по пушкинской Одессе», который готовится к печати отдельным изданием. Вышла в свет публиковавшаяся в альманахе книга археолога, профессора Андрея Добролюбского. Два тома уникальных материалов об обороне, оккупации и освобождении Одессы составил и издал авторский коллектив под руководством Михаила Пойзнера. Татьяна Щурова на основе публикаций в альманахе издала прелестный том «Благоухающий пепел», Евгений Деменок составил из публикаций несколько книг, а сейчас в ЖЗЛ выходит его «Давид Бурлюк»…

Недавно ЮНЕСКО присвоило Одессе статус литературного города, что в какой-то мере плод поисков и исследователей, и наших публикаторов, возвращающих к жизни забытые и даже неизвестные доселе произведения мастеров одесской школы, но и современных авторов.

На наших страницах – творчество выдающихся писателей – поэта Юрия Михайлика и прозаика Сергея Рядченко. Все чаще и ярче проявляют свои способности и особенности дарования члены литературной студии «Зеленая лампа». Вышли в свет рассказы Анны Михалевской и Майи Димерли, романы Елены Андрейчиковой и Наиля Муратова, книги стихов Влады Ильинской, Таи Найденко, Елены Боришполец… Все они публиковались в альманахе.

И в завершение этих заметок – о том, с чего следовало бы начать рассказ о юбилейном номере. Он открывается (по уже сложившейся традиции) доверительным монологом Михаила Жванецкого. На самом деле текста два, но они – об одном. О памяти, о том, как важно, чтобы не прерывалась связь времен…

…Тот, кто собрал за эти 20 лет все 80 книжек нашего альманаха, сегодня убедится, что они занимают немало места в книжном шкафу – в наших квартирах, в библиотеках, музеях, архивах.

До ста осталось всего 20 книг, всего пять лет. Постараемся прожить их вместе: наши замечательные друзья-партнеры – АО «ПЛАСКЕ» и Всемирный клуб одесситов, наши авторы и наши читатели.

Михаил Жванецкий

Молитва

Умоляю Тебя, оставь их,
Пусть их не тронет,
Каждый день с ними дорог мне.
Недостоин я просить.
Если разрушаешь мое здоровье – пощади их.
С ними в мою душу входит покой.
Дни становятся ясными, смех простым, остальное – посторонним.
Пощади их.
Они Тебя несут в себе.
Все человечное – Твое.
Не Твое – все ложь.
Чего во мне и моих товарищах…
Ибо ищем выгоду после слов.
Всем дай их.
Сними ненависть мою. Не пойму, отчего.
Выдержки дай мне.
И сдержанности.
Избавь от желания нравиться.
Так мало людей нравится мне, и я беспокоюсь.
Дай понять, за что наказываешь людей.
Почему их так много.

Избавь от мщения.

Дай покой ночью.

И оставь мне их.

Ты наказал меня ленью, от которой смрадно разлагается нутро.

Жадностью, отчего непослушны руки.

И слабостью,

И сомнениями,

И недовольством,

И пороком,

И выделением дурного в человеке,

Разве снимаю грех, перенося его на бумагу?

Дай понять, что делаю.

Дай силу принять оценку.

Если кому-то нравится предмет несдержанности – речи мои, есть ли тут радость мне?

Дни летят…

Гонишь меня.

Суди сам.

Верю в легкость, с которой…

Верю в облегчение.

Коль суждено еще побыть среди живых –

Дай выдержать новость и оценить.

Помоги пройти посредине, по интуиции, внушенной Тобой.

Оставь их со мной.

Михаил Жванецкий

Не лгал. Не крал. Не сломался

Предисловие к I тому Собрания сочинений Е.Т. Гайдара

Стыдно за себя.

Ты пользуешься результатами этой великой жизни.

Этого великого дара предвидеть и предчувствовать.

Стыдно видеть на тротуарах нестоптанные ботинки.

На мостовой прекрасные машины.

В магазинах и ресторанах слышать: «Заходите! Будем рады!».

И еда, еда…

Её так много, что развивается безвкусица в театре и на экране.

Одежды так много, что обсуждается каждый поясок или оттенки баклажанного цвета дамского пальто.

По телевидению несчётные потоки завтраков и обедов, вызывающие раздражение отсутствием серьёзных проблем.

Конкурсы сыров, медов, диет.

Рецепты похудания и здоровой жизни.

Обсуждения, как обставить дом, квартиру.

Как уменьшить скопления машин…

Господи! Вот вам наши проблемы, наши банкеты, наши речи и юмор, пустой, как стол после банкета.

Казалось бы, где страдания? Где мудрость?

Где массовые стройки с обедом: хлеб и бутылка молока?

Где фильмы о весёлых поездах на целину? С луковицами, загримированными под яблоки. Чтоб актёры не ели, но могли откусить.

Где умные головы, выбивающие в командировках дефицит?

Где такой массовый романтический уход из жизни в 58 лет?

Это всё есть в этой книге, но уже нет в нашей жизни.

Последний голод.

Последняя нищета премьера.

Нам теперь остаётся только проклинать глупую развлекуху телевидения, книжные фантазии, подрывы благополучных благополучными, попытки внести кровавое разнообразие в долгие каникулы.

Кому теперь стыдно пригласить иностранца в Москву?

Кто стесняется своих сорока долларов в Париже?

Пропало наслаждение заграничной литературной жизнью в запертой голодной стране.

Под этой обложкой человек, который своей короткой жизнью продлил жизнь людей в этой стране, наполнил аптеки.

Освободил нас от доставания самого насущного.

Эти проблемы ушли из квартир и перешли в кабинеты.

Проблемы перестали быть унизительными.

Появилась борьба с коррупцией, которой мы гордимся.

Борьба с хранением денег в чужих банках.

Отслеживание нетрадиционной любви и тяжёлая схватка с геями.

Мало ли что возникает у сытых людей.

Даже войны.

Под этой обложкой человек, который впервые в СССР не обманул, дал каждому то, что тому смертельно недоставало, – человеческое существование.

Он сделал наш язык переводимым, книги понятными, нас – гражданами мира.

Заплатил очень дорого.

Заплатил атмосферой ненависти, непонимания вокруг себя.

Вот всё, что он получил при жизни и получает до сих пор.

Сегодня идёт очень результативная борьба за возвращение прошлого.

За возвращение женщин в литейные цеха.

Хороших новостей в программу «Время».

И в оборону…

Видимо, низы сошлись с верхами.

Когда есть главное, хочется чего-то ещё…

Конечно интересно, как будет выглядеть советская власть в новой России!

Настолько трудно себе её представить снова в этой стране, как представить висячий замок на компьютере.

Гениальный человек дал миру планшет.

Наш гениальный человек дал нам всё остальное.

Разница между ними только в том, что наш рисковал и до сих пор рискует своей жизнью.

Может, потому, что многим стыдно за себя.
Да, наши уехавшие выглядят счастливыми.
Но наши оставшиеся перестали быть несчастными!
Всё!
Я ему рассказал о нас.
А сейчас он расскажет нам о себе.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

12 **Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе

30 **Сергей Котелко**
Шахский дворец

58 **Владимир Смирнов**
Воспоминания детства

76 **Виталий Оплачко**
К 100-летию рейса парохода «Руслан»

93 **Анатолий Горбатюк**
«Исаак, слушай сюда!», или Ностальгическое путешествие в дождливое лето 1963 года

105 **Евгений Деменок**
Отшельник из Духцова

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Дом Лучича (Портнова)

Перечисляя несохранившиеся пушкинские здания, первый серьезный исследователь этой проблематики В.А. Чарнецкий упоминает и дом Ф.Л. Лучича – ул. Жуковского, № 38, Александровский проспект, № 6.[1] *Филипп Лукьянович Лучич* – довольно значимая фигура в Одессе той поры: коммерции советник, городской голова в 1824-1827, 1830-1833, 1839-1842 гг.,[2] с начала 1822 г. вместе с И.С. Ризничем входил в директорат Одесского коммерческого банка,[3] член правления Ришельевского лицея и проч.,[4] пушкинский знакомый.[5]

Общеизвестно, что Пушкин упоминает Лучича в письме к своему приятелю, чиновнику и поэту В.И. Туманскому, из Михайловского от 13 августа 1825 года. Речь идет о том, что за несколько дней до отъезда из Одессы, то есть в 20-х числах июля 1824-го, Пушкин играл в карты в доме Лучича с хозяином и таможенным чиновником А.П. Савеловым, выиграв у первого 900 рублей. На следующий день Лучич вернул Пушкину 300 из этого проигрыша, а 600 перевел на своего должника, Савелова, с его, естественно, согласия. Но впоследствии этот последний непорядочно отказался от своего слова.[6]

Оный сюжет интересен нам в том отношении, что его контекст явно свидетельствует о неоднократном посещении Пушкиным дома Лучича, о том, что отношения меж игроками были сложившимися, устойчивыми. На сегодняшний день об этом строении

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-79.

мы ровно ничего не знаем, ибо в градостроительной хронике зафиксирован лишь новый дом, построенный на том же участке Лучичем, документы на который он получил 10 декабря 1828 года.[7] Возникает несколько вопросов: каким образом предшествующее сооружение оказалось во владении Лучича, когда, у кого оно приобретено и что собой представляло? Ответам на эти вопросы и посвящены наши разыскания.

Интересующий нас участок находится в пределах IV квартала Греческого форштата, под № 29 и смежными.[8] Согласно реестру раздачи мест под застройку в сентябре 1794-го, № 29-32 в этом квартале отданы штаб-лекарю Миклашевскому[9] – это было не только угòльное место по будущей Почтовой улице и Александровскому проспекту, но и почти весь квартал непосредственно по Почтовой. Застроил ли этот фигурант отведенные ему места? Из плана, составленного военным инженером Е.Х. Ферстером около 1802 г.[10] и высочайше утвержденного в 1803 г., как будто следует, что не застроил, ибо строения в этом квартале обозначены только со стороны будущей улицы Полицейской. Кто же в таком случае был здесь первостроителем? Ответ находим в одном из дел Одесского строительного комитета. 13 ноября 1818 г. именитый гражданин *Ларион* (*Илларион*) *Портнов* просит узаконить за ним места № 29–32 в IV квартале Военного форштата (к тому времени этот квартал, как и вся территория меж Преображенской улицей и Александровским проспектом, фактически откололись от Греческого и примкнули к Военному форштату; впрочем, официального разделения на форштаты тогда уже не существовало, город разделялся по частям, а прежнее разделение бытовало по старинке).

Портнов пишет, что более 20-ти лет назад обзавел на этих пустопорожних местах дом и сад, причем его правоту засвидетельствовало пятеро авторитетных старожилов, в том числе Осип Сапожников, Семен Андросов, Сидор Ширяев.[11] 18 ноября прошение обсуждалось в Строительном комитете. Сверились с журналом инженерной команды, занимавшейся отводом участков в конце XVIII ст. Оказалось, что в 1795 г. № 29–30 числятся за надворным советником Иваном Боршаниновым (Борининовым?), а № 31-32 за упоминавшимся штаб-лекарем Миклашевским, однако оставались пустопорожними, и более 20 лет назад застроены

Портновым. Принимая вышесказанное во внимание, места со всеми обзаведениями Комитет за ним узаконил.[12]

Весьма любопытны касающиеся тех же обзаведений архивные данные, фиксирующие статус-кво буквально месяцем ранее. 12 октября 1818 г. по предписанию Строительного комитета городской архитектор, титулярный советник Александр Дигби, освидетельствовал «дом именитого гражданина Портнова, состоящий на Греческом рынке» (ареал этого базара был довольно расплывчат), где некоторое время назад произошел пожар, и насчитал в нем более 25 печей! Печные трубы оказались ветхими, без надлежащей изоляции, крайне опасными в отношении возгорания. Архитектор приказал разобрать трубы до потолка, чтобы меж потолком и крышей была «разделка из кирпича». Но хозяин разобрал только 5 труб «в том самом корпусе, где случился пожар», а остальные остались без изменений. Дигби докладывает, что полиция должна обеспечить надзор за исполнением противопожарных мероприятий, причем следует обязать Портнова подпискою. Далее зафиксировано, что строения внутри двора крайне ветхи, безобразны и грозят падением: надо разломать их до основания. «Крыша же покрыта им вновь под главным корпусом двухэтажного дома по большой улице (то есть по проспекту. – **О. Г.**) из драниц произведена без всякого правила бесподобным и удивительным безобразием, так что и описать нельзя».[13]

Ларион Федорович Портнов – одесский именитый гражданин, известнейший фигурант ранней истории Одессы, солидный купец (торговал русским железом, мануфактурой, лесом и др., отдавал внаем свою недвижимость), крупный подрядчик, владелец одного из старейших домов в историческом центре,[14] на углу Дерибасовской и Ришельевской (№ 5, впоследствии на этом месте возведен существующий до сих пор дом Ралли), где находились популярные трактирные заведения, а также лавок с жилыми покоями в так называемом Красном ряду,[15] городской голова в 1798-1800 гг.[16] Прибыл в Хаджибей еще в сентябре 1792 г., будучи орловским купцом 2-й гильдии, и построил дом в два с половиной этажа, субсидировал сооружение временной деревянной Николаевской церкви, спонсировал постройку Городового госпиталя, одним из первых ходатайствовал о необходимости строи-

Бывший дом Лучича в перестроенном виде: в ходе давней реконструкции надстроен этаж и видоизменен фасад

тельства кладбищенской церкви, получил два похвальных листа от одесских граждан.[17]

Дата устройства интересующего нас комплекса строений («более 20-ти лет», то есть не позже 1798 г.) хронологически несколько расходится с упоминавшимся планом Ферстера, однако едва ли на много (к слову, датировка этого плана сама по себе достаточно условна: он мог быть составлен и ранее 1802 г.). Почему? Во-первых, недвижимость Портнова в Красных рядах как раз в 1798 г. фиксируется цитировавшимися архивными материалами, собранными А. Орловым. Во-вторых, в журналах Строительного комитета от 19 июля 1806 г. находим прошение именитого гражданина Портнова к герцогу Ришелье о дозволении присоединить к его и соседей местам из 15 саженей улицы «за гостиными рядами, торгующими красным товаром» (располагались по проспекту и занимали два квартала, меж Троицкой и Почтовой улицами), хотя бы 5 саженей, поскольку они испытывают большое стеснение во дворах. Однако Ришелье отказал просителям, поскольку такая

прибавка сужала бы главную торговую магистраль и, разумеется, явно нарушала генплан.[18] То есть в середине 1800-х комплекс интересующих нас строений представлен как давно сложившийся. Общеизвестно, что Красный (Гостиный) ряд функционировал уже в конце XVIII в.[19] О давности постройки, понятно, свидетельствует и тот же износ кровли, печей и дворовых построек.

В 1818 г. Портнову было 65 лет, и он, судя по всему, подумывал о передаче имущества наследникам – супруге Наталии, сыновьям – Егору, Василию, Николаю, дочери Анне.[20] Недвижимость на Почтовой улице явно становилась обременительной, ее нелегко было реконструировать, в особенности после пожара. Понятно, что она досталась Лучичу, но при каких обстоятельствах? Исчерпывающий ответ находим в журналах Одесского строительного комитета от 14 января 1819 г., где изложено буквально следующее. Херсонская палата гражданского суда оформила купчую крепость: именитый гражданин Ларион Портнов продал одесскому купцу Филиппу Лучичу дом в IV квартале Военного форштата, № 29, 30, 31 и 32, со всеми строениями и землею за 28.000 руб. При этом оговаривается, что Портнов должен Комитету 5.000 руб., выданных ему заимообразно в июне 1805 г., и еще 1.000 руб., выданных прежде того. В число погашения долга зачтены выполненные им работы по устройству набережной, 3.066 руб.[21]

О чем здесь идет речь? О том, что Строительный комитет ссужал достойных доверия горожан деньгами на домостроительство под скромные проценты,[22] и Портнов тоже получал подобные ссуды. Что касается подряда на устройство набережной, то он надежно фиксируется сохранившимся архивным делом 1810 г. под названием «О покрытии Портновым набережной диким камнем вместо должных Комитету 6 тыс. рублей».[23] И чтобы завершить историю Портновых, прибавим: после кончины главы семейства (*не позднее сентября 1824 года*) его наследница, супруга Наталия, не осталась без имущества.[24] Правда, объявление Одесского сиротского суда от 1 мая 1837 г. о вызове наследников и должников после ее кончины[25] может означать, что благосостояние семейства к этому времени было, очевидно, подорвано.

Итак, что мы можем сказать о доме, который посещал Пушкин? Из синхронных примерно планов[26] видно: довольно про-

тяженный одноэтажный «дворовой дом» Лучича (который, по мнению архитектора Дигби, следовало разобрать до основания) стоял параллельно Почтовой и имел форму клюшки, а на проспект выходил недлинный по фасаду «главный двухэтажный корпус» – тот самый, что горел, отчего на нем и латали крышу. Поскольку двухэтажный дом служил продолжением Красных рядов, постольку в нижнем этаже и размещались упоминавшиеся торговые помещения – четыре лавки со сводчатыми подвалами, а наверху – «жилые покои». Именно во втором этаже этого корпуса и проходили карточные бдения, ибо в полуразвалившихся одноэтажных дворовых постройках могла обитать разве что дворня, тут по обыкновению находились конюшни, каретный сарай, ледник, дровяной склад, нужные места и т. п.

Накануне продажи Портнов частично восстановил эти строения (кое-что, как мы видели, даже в принудительном порядке), однако они оставались ветхими, ибо расчетливый Лучич, конечно, не стал бы их кардинально реконструи-ровать накануне слома и постройки нового здания. Поэтому в первой половине 1820-х владения его поистине поражали «бесподобным и удивительным безобразием, так что и описать нельзя». Вот и выходит, что явно плачевное состояние апартаментов притерпевшегося ко всему в Кишиневе и на прочих задворках Александра Сергеевича нисколько не смущало – была бы игра и интересное общение.

И еще любопытный момент: выходит, поэт посещал экзотические, рельефные, пряные Красные ряды, где торговали мануфактурой, ювелирными изделиями, церковной утварью, «военно-офицерскими вещами», книгами, оптикой, стеклом, табаком, канцелярскими, москательными, колониальными и прочими элитарными товарами. Причем не только известные русские купцы Авчинников, Протасов, Андросов и др., но и греческие, немецкие, еврейские, армянские, караимские, молдавские коммерсанты.

Затем Лучич построил новый роскошный дом (1828 г.), по красной линии Почтовой улицы и отчасти Александровского проспекта, и с 1 октября 1838 г. в этом здании разместилась Херсонская духовная семинария.[27] После его кончины наследники продали семинарии дом и подсобные помещения, разумеется, вместе со всей землей.[28] Так или иначе, а мемориальный знак

тут был бы вполне уместен: Портнов, Лучич, Пушкин, Красные ряды, Духовная семинария – уж очень велика плотность меморий на этом перекрестке.

* * *

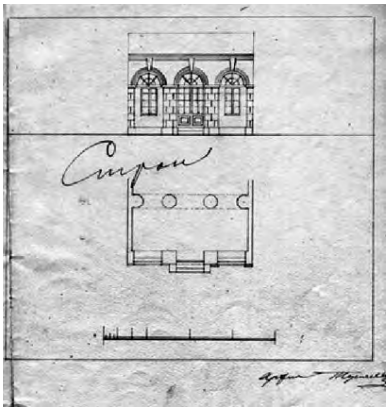
Далее по проспекту находились так называемые Гостиные (Красные) ряды, первый в истории Одессы центр элитарной торговли, за ними – Старый базар (Вольный рынок), исторически первый рынок города, далее – специализированные ряды (Резничный, Рыбный, Щепной) и Привозная площадь.

Гостиные (Красные) ряды

Формирование этого первого элитарного торгового центра Одессы мною тоже детально рассматривалось.[29] Основание его началось еще в 1797 году, после первичного устройства Вольного рынка. Старейший элемент, собственно Красный ряд, ограничен будущим Александровским проспектом, улицами Троицкой, Ев-

Часть перестроенного Авчинниковского ряда на углу Александровского проспекта и улицы Жуковского. Снимок Натальи Евстратовой, 2019 г.

рейской и Авчинниковским переулком. Но можно говорить и о Гостиных (Красных) рядах во множественном числе, ибо фактически их было три. С первым мы определились, он не обрел другого собственного названия, тогда как два других получили имена авторитетных купцов Авчинникова и Протасова.



Стандартная одноэтажная лавка со стороны Покровского переулка для владельцев примыкающих фасадных лавок в Протасовском ряду

Авчинниковский ряд находился по проспекту меж Еврейской, Почтовой улицами и одноименным переулком. Протасовский ряд располагался на противоположной стороне проспекта, меж улицами Троицкой, Еврейской и Покровским переулком. Позднее его также называли Немецким и Караимским (Еврейским). В четвертом квартале этих рядов, напротив Авчинникова, была построена единоверческая Покровская церковь – это связано с тем, что Гостиный ряд и его ближайшие окрестности были местом компактного проживания довольно мощной старообрядческой общины. И таким образом здесь сформировался не только коммерческий, но специфический социальный центр.

Старообрядческая община сыграла выдающуюся роль в градостроительстве Одессы, каковая тема сама по себе достойна отдельного исследования. Здесь только обозначу ее. Если говорить о персоналиях, некоторые подробно представлены мною в издании «Автографы Одессы» (2012). В числе прихожан Покровского храма – такие известнейшие персонажи ранней истории города, как Федот Бирюков, Иван Андросов, Семен Андросов, Яков Протасов, Василий Авчинников, Иван Авчинников, Мартин Католиков, Сидор Калашников, Иван Богданов, Иван Соколов, Феоктист Шокин, Федор Густов, Осип Сапожников, Евдоким Виноградов, Яков Струнин, Илья Орлов, Николай Лифинцов, Осип Прохоров и многие другие. Поразительна плотность старообрядцев в числе

первых городских голов: Илларион Портнов, Иван Мигунов, Иван Андросов, Семен Андросов, Яков Протасов, Иван Авчинников.

Приблизительно с 1797 по 1800-й планировалось построить три типовых отделения Гостиного ряда, из которых возведено одно. В 1800–1802 годах два других отделения формируются в несколько отличных обстоятельствах, однако в общих чертах Гостиные ряды в первые десятилетия своего существования выглядят относительно однородно. Наиболее презентабельно они смотрелись в 1820-х, после значимых улучшений в контроле типовой застройки «тематических рядов» при градоначальнике Н.Я. Трегубове. Именно тогда все три взаимосвязанных планировочно торговых центра на одной оси – Александровская площадь (включавшая два Бакалейных, Железный и Мелочный ряды), Гостиный ряд, Вольный рынок – постепенно обрели и общность архитектурного оформления. Все без исключения фасады, окаймлявшие проспект и площади, имитировали античную агору – колонны, галереи, портики. В 1821–1822 годах ОСК утверждает планы и фасады в классическом стиле многочисленных лавок в Гостиных рядах, принадлежащих одесским купцам Ивану Авчинникову, Семену Андросову, Алексею Попову, Гавриилу Протасову и др.

Окрестности Гостиного ряда по проспекту – одно из первых в городе мест, подвергшихся благоустройству. Это был, по существу, первый и единственный в то время бульвар. В принципе, по инициативе де Ришелье деревья высаживали по всем улицам центра, что отчетливо видно из упоминавшегося плана Фраполли 1807 года. Однако оградили лишь посадки по проспекту и на будущей Александровской площади. В журнале заседаний ОСК от 4 марта 1809 года отмечено предложение герцога Ришелье: «о сделании палисада по проспекту, для сбережения посаженных там на три отделения дерев». На три отделения – то есть против трех кварталов Гостиного (Красного) ряда. Фраполли поручили составить смету, а городской полиции вызвать желающих взять подряд – на торги.

Озеленение осуществилось настолько успешно, что 9 октября 1819 года городской садовник Ганс Герман по приказанию графа Ланжерона нанял «подводы для перевозки из бульваров, подле Красных рядов состоящих, выкопанных деревьев для рассадки оных в округе плац-парадного места», то есть на месте будущего

Пале-Рояля. Тогда единовременно пересадили 140 «лишних» деревьев. В 1812-1813 годах подрядчиками Иваном Еройским и Федором Монако под надзором адъютанта герцога Ришелье графа Рошешуара были замощены примыкающие к этому ряду тротуары.

На первом этапе функционирования Гостиные ряды фактически представляли собой площадь, подобную и соразмерную будущей Александровской. Но, в отличие от последней, они были выдвинуты ближе к оси проспекта, за счет чего примыкающие к ним с тыла переулки (улицы) оказывались шире. В том и другом случае застройщикам недоставало именно ширины отведенных под лавки мест, ибо они должны были дополняться двором, служебными и хозяйственными помещениями. Это обстоятельство объясняет постоянные обращения владельцев лавок о прирезке к их местам земли со стороны переулков. Уже 19 июля 1806 года одесский именитый гражданин Ларион Портнов от имени всех соседей просил де Ришелье прибавить хотя бы

Изнанка лавок с колоннами Красного ряда во дворе дома по Авчинниковскому переулку, № 13. Снимок автора, начало 2010-х

пять саженей из 15-ти «улицы за гостиными рядами, торгующими красным товаром». Однако последовал отказ со ссылкой на отклонение от высочайше утвержденного плана. Впоследствии такие прирезки все же санкционировались, в первую очередь – к Авчинниковскому ряду, далее – к соседнему, в результате чего тыльная улица и трансформировалась в переулок (Грязный, Авчинниковский).

Так или иначе, Гостиные ряды и весь проспект меж Греческим и Старым базаром в пушкинское время представляли собой довольно примечательное зрелище не только в историко-архитектурном отношении, но и по благоустройству. Надо полагать, несколько необычно вписывалась в этот «античный городок» единоверческая Покровская церковь. Впрочем, как мы говорили, она стояла в обособленном квартале.

Изначально в этих рядах торговали в основном качественными товарами российского производства, прежде всего, мануфактурой, «военно-офицерскими» и «церковными вещами». Характерно, что именно в здешних лавках совершал закупки и сам Строительный комитет: холст, бумагу, амбарные книги, нитки, тесьму, чернильницы, песочницы, ножницы, лопаты, грабли, тачки, печные комплектующие, уголь, кровельное железо, гвозди, свечи, подсвечники, краски, ножи, сургуч, многое другое. Здесь можно было приобрести церковные книги и утварь, ювелирные изделия, русское стекло, охотничьи принадлежности, кожаные изделия, столовые приборы и белье, самовары, подносы, медную посуду, заказать металлическую печать и т. д. В Протасовском ряду, да и в других, постепенно стали появляться предметы роскоши из Европы, вплоть до гравюр и эстампов. Правда, цены на хороший товар, даже отечественный, запрашивались немалые.

* * *

Ранняя история Покровского храма изложена мною в монографии «История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета» (2015). Что касается настоятеля протоиерея *Феодора Карасева* (1767–1833), то принадлежавшая ему недвижимость находилась рядом с церковью, на углу ны-

нешнего Покровского переулка (№ 5) и Еврейской улицы. Основное строение выглядело неказисто. 11 июля 1819-го архитектор Фраполли свидетельствует, что дом «без плана, в шесть окошек, из которых четыре сделаны верно, а два фальшиво». Место в 1802-м уступлено Карасеву прапорщиком Гавриилом Гурьевым.[30]

Здесь же уместно помянуть обитавшего неподалеку первого одесского пастыря протоиерея *Евдокима Сергеева* (1756 – 9.XI.1830) судьба которого после 1803-го неизвестна даже специалистам по церковной истории.[31] С 1794-го он находился в Одессе как полковой священник Нижегородского мушкетерского полка, с которым прибыл из Азова, а ранее служил в Ростове. В августе1795-го переведен к новостроящейся Екатерининской церкви; фактически временный храм располагался, как уже упоминалось, в отдельном строении «военного городка». В 1796-м назначен настоятелем временной Свято-Николаевской соборной церкви, о которой я тоже уже сообщал. В этом храме Сергеев служил до 1803 года.

Из журналов заседаний Одесского строительного комитета следует, что в 1795-м инженерная команда отвела ему место № 23 в III квартале Военного форштата. Ныне это территория застройки домом № 4 в переулке Нечипоренко (Авчинниковском). Сергеев выстроил дом «по тогдашнему плану», имел открытый лист, полученный непосредственно от Иосифа де Рибаса, однако в период чумной эпидемии 1812 года этот документ был утрачен. В январе 1819-го архитектор Дигби освидетельствовал эту недвижимость и нашел, что дом выстроен на шести саженях высотой в четыре сажени. Габариты всего места: 15 и две трети сажени по улице и 30 поперек. В принципе, в 1818-м было принято решение возводить в этом ареале дома не ниже двух этажей. Однако с учетом того, что данное одноэтажное здание существует с давних пор, оно может оставаться таким, как есть. И Сергеев получил новые владельческие документы.[32] 17 октября 1822 года протоиерей Евдоким Сергеев получил также и открытый лист на 25-десятинный хутор, который обзавел по правилам ранее.[33] Согласно архивным документам, он получил этот участок 15 апреля 1811-го.[34]

Старый базар (Вольный рынок)*

Трудно сказать, добирался ли когда-нибудь Александр Сергеевич до этого торжища, по тем временам весьма отдаленного. По нынешним меркам, подобная отдаленность – шесть кварталов от Дерибасовской – представляется смехотворной. Однако при тогдашнем состоянии мостовых, тротуаров, сточных канав, мостков (переходов) через улицы, всепроникающей пыли – это больше похоже на марш-бросок. Да и что бы ему делать на Старом базаре, окаймленном тогда архаичными лавками и лавчонками, устроенными в самом младенчестве Одессы? Правда, помимо продовольственного рынка тут функционировал «толчок», и среди подержанных вещей, всякого барахла можно было наткнуться на хорошую книгу или антикварный раритет. Уж не ведаю, могло ли такое послужить поводом к соблазну.

Возможно, кому-либо явится мысль, будто пушкинский «дядька» Никита Козлов бегал сюда за продуктами для своего господина. Шучу, конечно.

Разумеется, регулярно столоваться в ресторации Отона – непозволительная роскошь. Периодические посещения – дело другое. Но как же тогда устраивались с питанием? Очень просто: оно заказывалось в ближайших приличных трактирных заведениях, откуда доставлялось прислугой, либо, скажем с ухмылкой, потреблялось на месте «в компании таких же дружков». Обходилось это значительно дешевле. Подобная процедура неоднократно описана, даже князь Долгорукий не брезговал, причем «за разумную плату».[35] Скорее всего, таким заведением была недорогая греческая ресторация Димитраки, о которой мы уже говорили.

Был ли Пушкин на Вольном рынке, не был ли, но все же обозначу ареал, каким он видится, ссылаясь на свою монографию по истории градостроительства.[36] Без этого картина города была бы неполной.

Основываясь на материалах из Московского архива министерства юстиции, А. Орлов сообщает следующее: «В июле 1796 г. по-

* Более детально история этого рынка и специализированных торговых рядов прослежена в моей монографии «История градостроительства Одессы» (2015).

дано в Магистрат прошение за подписью 22 граждан о том, что на отведенном по плану месте построили они каменные лавки, по стоимости каждая от 400 до 500 руб., а с пристройками и погребами доходит каждая более 1.000 руб. Между тем иногородние промышленники для временной торговли построили между их лавками шалаши, и тем не только причиняют им подрыв в торговле, но и угрожают опасностью на случай пожара. А как ныне предположено отвести им особое место для постройки шалашей, то чрез это они как оседлые жители невольно должны будут нести постоянный убыток, а потому и просили не дозволять им стройку шалашей, а желающие торговать пусть строят каменные лавки или нанимают таковые у них». Магистрат донес об этом де Волану, и тот 27 июля 1796 г. предписал инженер-капитану Кайзеру приостановить отвод мест под шалаши иногородним промышленникам, уже выстроенные снести, а желающим строить каменные лавки обращаться с прошениями об отводе на общих основаниях.

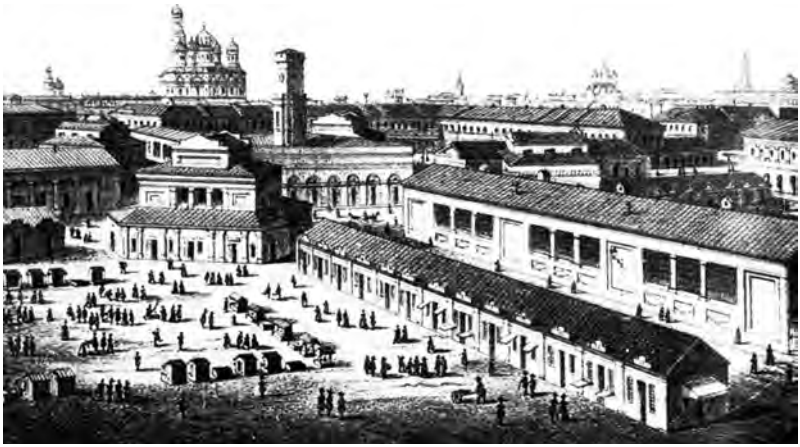
Сюжет этот можно подкрепить названием несохранившегося дела от 26–28 июля 1796 г., найденного в одной из описей фонда Одесского городового магистрата: «По прошению одесских жителей о уважении им преимущественно противо иногородних промышленников, торгующих промежду их лавок шалашами, в рассуждении понесенных оными жителями на востроение лавок убытков». По всему видно, что каменные лавки на момент конфликта уже некоторое время функционируют. Подобную датировку подтверждают и другие архивные материалы, в частности, связанные с дальнейшей перепродажей и вообще переходом означенных лавок в другие руки. В таких случаях нередко фиксируется предыстория означенной недвижимости.

О полноценном функционировании Вольного рынка, по крайней мере летом 1796 г., свидетельствует и наличие здесь института городских мер и весов, отданных в откуп городскому старосте – греческому купцу Ивану Беломорскому, прибывшему в нарождающуюся Одессу «из Архипелага», то есть Ионических островов, в 1794 году, с 1797-го купцу первой гильдии. О давности домов с лавками по периметру площади Вольного рынка говорит и то, что уже в конце XVIII века некоторые из них выставлялись на продажу.

Старый базар. Литография Карло Боссоли, 1836 г.

В первое десятилетие существования Вольного рынка тут построились по разным поводам фигурирующие в источниках по региональной истории: российские купцы и мещане Андросов, Тихов, Яловиков, Бодянский, Кухаревский, Струнин, Веремеевский, Соколов, Злобин, Нерубайский, прапорщик Добровольский, дворянин Лещенко, «цесарский дворянин» Дукович, греческие коммерсанты Мораити, Конис и другие. Одним из первых застройщиков был и белевский купец Суровцов.

Название *Старый базар* применительно к Вольному рынку появилось, разумеется, лишь после устройства Нового базара, да и то не тотчас, ибо сам Новый базар на первом этапе существования отождествлялся с Херсонской площадью, на которой находился. Название *Вольный рынок* оставалось в официальном обиходе, по крайней мере в начале 1830-х годов. Все четыре отделения (квартала) Старого базара и примыкающие к ним четвертушки рыночной площади впоследствии получили имена наиболее значимых локальных домостроителей – состоятельных купцов Черепенникова, Яловикова, Посохова (Кумбари) и Шишманова. Как видно из плана Одессы, составленного архитектором Торичелли в 1828 году, в каждом отделении рынка на-



Площадь Старого базара в 1860-х гг.

считывалось по 28 лавок (мест). Одно «рыночное место» было стандартным – 3 сажени по фасаду и 15 в длину, в направлении прилежащих переулков и улиц. Первоначально многие из них застраивались торговыми помещениями в один этаж, а жилые и хозяйственные постройки находились в тылу. Затем, в особенности после перепродажи более состоятельным фигурантам, надстраивались вторым этажом.

В принципе, история формирования ансамбля площади (точнее – четырех локальных площадей) Старого базара в 1830-е годы известна лучше, нежели многие другие ретроспективные градостроительные сюжеты. Но это уже другая эпоха. В интересующее нас время все отделения были одноэтажными, в архитектурном отношении невзрачными, некоторые лавки строились на скорую руку с использованием бутового камня. Но свое назначение – в самую первую, самую тяжкую годину основания города – они успешно выполнили.

Можно живо представить себе, сколько безобразия нашел бы Поэт, буде ему пришлось тут очутиться.

Продолжение следует

Примечания

[1] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье… – Одесса: Друк, 2001, с. 60.

[2] Одесса: 1794–1894. Издание Городского общественного управления. – Одесса, 1895, с. 791.

[3] «Новороссийский календарь на 1837 год». – Одесса, 1836, с. 113.

[4] Пушкин. Статьи и материалы. Под редакцией М. П. Алексеева. Выпуск III. – Одесса, 1926, с. 66.

[5] Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. – Ленинград: Наука, 1989, с. 243.

[6] Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. – Ленинград: Наука, 1991, с. 355, 440, 556.

[7] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 973. – 5 л.

[8] Согласно генеральному плану, составленному Торичелли в интервале 1827-1828 гг. – ОГИКМ, инв. № К-605.

[9] Застроение города Гаджибея, теперь Одессы, в 1794 году // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 593.

[10] ОГИКМ, инв. № К-600.

[11] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 127, л. 710-711.

[12] Там же, л. 713–714.

[13] Там же, л. 611–612.

[14] К. Н. Смольянинов. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 39.

[15] Олег Губарь. Новые вопросы о старой Одессе. – Одесса: Optimum, 2007, с. 145–146.

[16] А. Орлов. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. – Одесса, 1885, с. 50; Одесса: 1794-1894. Издание Городского общественного управления. – Одесса, 1894, с. XVIII, 72, 231, 232, 791; В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье… – Одесса: Друк, 2001, с. 28.

[17] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. XII. – Одесса, 1881, с. 461-462; Одесская старокладбищенская Всех Святых церковь. (Исторический очерк). Составил П. А. Т. – Одесса, 1899, с. 3; Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 309-310.

[18] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 18, л. 32.

[19] Там же, ф. 17, оп. 1, д. 20, 106 л.; К.Н. Смольянинов. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 60. Красные ряды, разумеется, обозначены и на упоминавшемся плане Ферстера.

[20] А. Орлов. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. – Одесса, 1885, с. 106, 123, 132.

[21] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 275, л. 35.

[22] Смотри, например, ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 20. –173 л.

[23] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 32, 86 л.

[24] Смотри, например, ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1573, 8 л.; оп. 2, д. 232. – 15 л.

[25] Одесский вестник. – 1837, 1 мая.

[26] План Дж. Торичелли, на который я уже ссылался, и план Ф. Фраполли 1814 года.

[27] Одесса: 1794–1894. Издание Городского общественного управления. – Одесса, 1894, с. 643.

[28] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 621. – 6 л.; Одесская старина. – Одесса, 1869, с. 52-53.

[29] Олег Губарь. История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета. – Одесса, 2015, с. 223-236.

[30] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 164, ч. I, л. 842, 843, 844, 845.

[31] Духовенство Одессы: 1794–1925. – Одесса, 2012, с. 416-417.

[32] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 275, л. 20.

[33] Там же, ф. 59, оп. 3, д. 46. – 6 л.

[34] Там же, ф. 4, оп. 3, д. 570А, л. 12.

[35] И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – М., 1870, с. 136, 174.

[36] Олег Губарь. История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета. – Одесса, 2015, с. 89-104.

Сергей Котелко

Шахский дворец*

Одна из немногих фотографий, где можно рассмотреть дверь и лестницу
(у двери стоят двое, один из которых, видимо, лакей)

Обратите внимание на окна дворца: они сделаны на английский манер – из двух половинок, верхней и нижней. Чтобы открыть окно, надо было поднять нижнюю половину вверх. Кстати, это также отличается от изначального плана Гонсировского – на представленном им в 1851 году плане окна обычной классической схемы.

* Окончание. Начало в кн. 79.

Вот на этом месте когда-то была дверь и лестница для выхода на террасу. Сейчас выхода из дворца на морском фасаде нет, нет ни двери, ни лестницы

На этом фрагменте более поздней фотографии, предположительно конца XIX века, видно, что все деревья с террасы убраны. Справа хорошо видна стена, отделявшая особняк Бжозовского от соседнего

А на этом фрагменте еще более поздней фотографии, сделанной уже после 1909 года, видно, что по периметру террасы установлена ограда

Фрагмент литографии Гросса. Видно, что терраса в середине XIX века была явно не мощеной, а засажена молодыми деревцами или кустарником

Об интерьере дома, к сожалению, можно сказать не так уж и много. Он сильно пострадал во время реконструкции, проводившейся архитекторским бюро Повстанюков для помещавшегося здесь некоторое

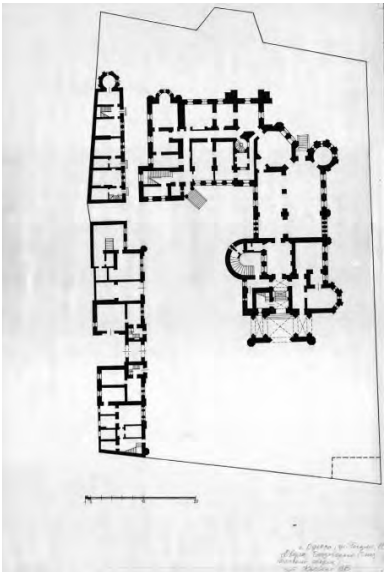
(Collection of Henryk Grocholski)

время банка. Известно, что в здании были бальный зал, домовой театр. В здании сохранились мраморные лестницы, некоторая отделка залов – например деревянными панелями, потолки со стилизованными крабами… Был также и зал, оформленный в модном тогда мавританском стиле. Именно этот зал – едва ли единственный, по которому удалось найти старые фотографии: они датируются 1870-м годом. На них изображен граф Тадеуш Генрихович Грохольский, помещик из Стрижавки, что в Подольской губернии, и по совместительству художник. Именно он участвовал в росписи «Мавританского зала» дворца и запечатлен во время этого процесса. Эти две фотографии мне прислал граф Генрик Грохольский, потомок графа Тадеуша.

Есть, правда, еще две фотографии, но о них несколько позднее.

Через три года, после того как были сделаны эти две фотографии, а именно 16 июля 1873 года наследник Зенона Карловича Белина-Бжозовского, Иван Зенонович (Jan Tadeusz Brzozowski z Brzozowa h. Belina (1844-1908)) женится на сестре графа Тадеуша Грохольского, графине Елене. А еще через два года, в 1875 году, Тадеуш Грохольский напишет тот самый очень образный портрет князя Тадеуша Сангушки, который вы могли видеть выше.

Приезжая из своей Соколовки в Одессу, Бжозовские жили достаточно обособленно от города и его суеты – вы нигде не найдете упоминания о каких-то балах или вечерах «у Бжозовских» в Одессе. Не найдете вы и Бжозовских среди чинов местного самоуправления или в общественных организациях. Но обособленность эта была польской, потому что для многочисленных проживавших в Одессе поляков дворец Бжозовских был своеобразным центром, где они могли встречаться. В современных нам описаниях дворца что наших, что польских (например, этим грешит польская Википедия), часто встречается указание на то, что в гостях у Зенона Карловича Бжозовского гостил его давний знакомый, польский поэт Юлиуш Словацкий, – возможно, он был бы и рад погостить, да вот только умер еще в апреле 1849-го, до начала строительства дома…



План здания по ул. Гоголя, 2, в г. Одессе. Рисунок, ватман, тушь. Чертеж С.Б. Косенко. ДНАББ, Г14653

Это план дворца, хранящийся в библиотеке им. Заболотного в Киеве. Он ценен тем, что на нем видна старая планировка внутренних помещений, есть даже винтовая лестница и лестница, о которой я говорил, – выходившая из башни на террасу.

1882

«Раскладочная ведомость» за 1882 год отражает случившийся в Одессе кризис – дом Бжозовского, и не только он один, вся недвижимость припала в цене. Теперь его налоговая стоимость

исчисляется не в 58800, а только в 39600 рублей. Впрочем, не имея намерения свой одесский дом продавать, Зенон Карлович от этого только выиграл, так как уменьшилась и сумма ежегодного налога. Сумма в 39600 рублей будет актуальна до 1885 года, когда дворец резко вырос в цене – в 1886 году его стоимость равнялась 60000 рублей.*

24 октября 1886 года Зенон Карлович Бжозовский, в апреле отметивший свое 80-летие, подарил свой одесский дом, или «двор», как тогда было принято говорить, своему сыну Ивану Зеноновичу. Иван Зенонович, кстати, по всей вероятности, проживал именно в Одессе, после того как оттуда съехал барон Унгерн-Штернберг. Он, видимо, любил дом в Одессе, раз они с друзьями даже расписывали в нем стены, что мы видели на фотографиях выше. По этой причине или из каких-то иных соображений, отец, к тому же, чувствовавший скорый уход, решил прежде подарить этот дом сыну. Дарственная эта сохранилась.** Расскажу кратко о том, что в ней говорится. Об этой дарственной я упоминал в самом начале как о документе 1886-го года, в котором упомянуты документы 1849, 1851 и 1866 годов, проливающие свет на историю покупки Бжозовским данного участка земли. Старые документы о переходе собственности ценны как раз этим – в них обязательно будет хотя бы как-то отображена предыстория участка – как он попал в руки тому, кто его продает или дарит. А если это целое «дело», то в нем могут быть и копии этих старых документов. На этот раз только Зенон Карлович действовал через поверенного – им выступал наш старый знакомый «коллежский секретарь Викентий Людвигович Звеногродзкий» (теперь его фамилия написана так. – **С. К.**), – тот самый, кому было доверено забрать у нотариуса бумаги на право собственности, о покупке Бжозовским земли у князя Сангушко. Сделка состоялась 29 сентября 1909 года в конторе одесского нотариуса Онуфрия Осиповича Хайновского на Дерибасовской, 9. В контору к Хайновскому пришли этот самый Звеногродзкий и лично «дворянин Иван Зенонович Бржозовский, жительствующий в Одессе, Бульварного участка, по Надеждинской

* Раскладочная ведомость, 1886, с. 2.

* ГАОО 35-1-33772. О продаже двор. Владиславом и др. Бржозовскими графу Иосифу Шембеку двора в I части г. Одессы.

улице, в доме Бржозовского, в сопровождении лично ему известных свидетелей: дворянина Владислава Карловича Домбровского и отставного писаря унтер-офицерского звания Константина Венедиктовича Сикорского», причем Домбровский проживал в доме Бржозовского, был то ли приятелем, то ли служащим у Ивана Зеноновича. Нотариус записал, что пришедшие «совершают следующую дарственную запись: «Из нея доверитель Викентия Людвиговича Звенигордзкого, дворянин Зенон Карлович Бржозовский, владея собственно ему принадлежащим благоприобретенным недвижимым имуществом, двором состоящем Херсонской губернии городе Одессе, первой части, по Надеждинской и Приморским улицам, […] дарит вышепрописанный двор со всем к оному принадлежащими строениями, обзаведениями, службами и землею, как выше сказано, или сколько таковой земли в натуре окажется, без остатка, родному сыну своему дворянину Ивану Зеноновичу Бржозовскому в полную его собственность».

В документе указана и общая площадь владения, а именно «две тысячи семьдесят восемь и семьдесят шесть сотых квадратных сажен», или 9463 кв. м. При этом там очень подробно и очень непонятно расписаны длина, ширина участков, ну а потом моя любимая приписка: «или сколько таковой земли в натуре окажется» – потому что никаких чертежей этих самых участков практически никогда не было, поэтому «сколько в натуре окажется» часто могло отличаться от того, сколько было на бумаге записано. Даритель указывает (а нотариус, естественно, это проверял), что владение «никому не продано, не заложено, никому по закону не передано и не отписано», что было, в общем, не частым явлением – ведь нормальной практикой тогда были именно заложенные и перезаложенные дома и имения. Но, видимо, то, как вел хозяйство Зенон Карлович Бжозовский, позволило ему обойтись без этого.

Далее в доверенности следует тоже интересная фраза: «Цену даримому недвижимому имуществу даритель по совести определяет в сто шестьдесят пять тысяч рублей серебром». То есть по совести это 165000 серебром, а по закону – 60000… Были уплачены все пошлины, причем достаточно большие: «Акт сей, совершенный одесским нотариусом Хайновским утвержден старшим

Иван Зенонович Белина-Бжозовский
(Collection of Henryk Grocholski)

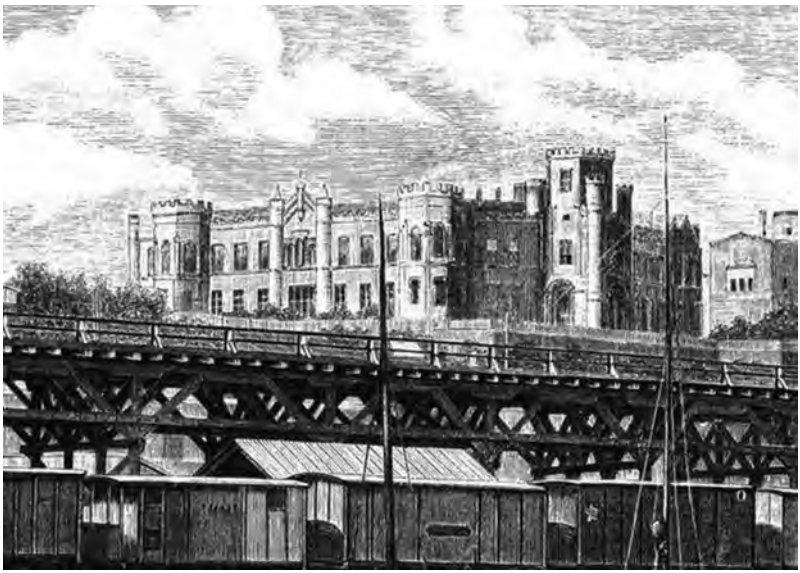
нотариусом седьмого ноября сего года, причем взыскано пошлин: актовых три рубля, крепостных тысяча шестьсот пятьдесят рублей, за выпись двадцать копеек, за печать десять копеек и на публикацию три рубля, и определил выдать главную выпись на листе гербовой бумаги шестьсот-двадцатипятирублевой цены дворянину Ивану Зеноновичу Бжозовскому [...]. Выпись [...] выдана дворянину Ивану Зеноновичу Бржозовскому восьмого ноября тысяча восемьсот восемьдесят шестого года».

Таким образом, 8 ноября 1886 года дворец перешел в собственность Ивана Зеноновича Бжозовского.

1887

5 апреля 1887 года Зенон Карлович Бжозовский умер. Он был похоронен в семейной усыпальнице Бжозовских, которая, как ни странно, находилась не в их собственном имении, в Соколовке, а в соседнем имении их родственников Собанских – Ободовке. Вот такая еще одна межсемейная связь двух родов.

Судя по всему, Иван Зенонович Бжозовский, став хозяином одесского дома, провел некоторую его переделку, модернизацию. Но должен сказать, что то, что эти изменения провел именно Иван Зенонович, – лишь логическое рассуждение, не подкрепленное документами, так как, к сожалению, точной датировки того, когда произошли эти изменения с домом Бжозовских, нет, как и нет документов, подтверждающих, что их провел именно Иван Зенонович. Их можно отследить



Фрагмент фотографии гравюры М. Рашевского «Вид пристани одесского Ллойда», сделанной после 1872 года. Малой башни нет

только по старым изображениям, и предположить, что это Иван Зенонович в связи с обычной практикой, когда новый хозяин переделывает все под себя. Что ж, посмотрим старые фотографии разных лет внимательнее. Первоначально здесь было три здания – главный Г-образный корпус и располагавшиеся за

А здесь она уже есть. Обратите внимание на конусное навершие башни – изначально оно было только здесь. В ходе упоминавшейся реконструкции для нужд банка его отсюда зачем-то сняли, зато почему-то установили на главной, угловой башне дворца. Чудны дела твои, современный архитектор!

Фрагмент фотографии «Одесса, портовый рынок»; датировано: XIX век. Из собрания ОИКМ, Ф1292. Обратите внимание на то, что остроконечный купол у малой башни – светлый. Можно предположить, что она была крыта железом.

дворцом два служебных корпуса. Однако позднее появляется еще один корпус, тоже служебный, но с башней, представляющей собой уменьшенную версию ба-

Так этот корпус выглядит ныне. Как видим, архитектура башни повторяет архитектуру основного здания. Сам новый корпус расположился так же, как и два предыдущих, вдоль западной границы участка, примыкая к брандмауэрной стене соседнего участка. Все три дворовых корпуса между собой связаны никак не были, оставаясь отдельными зданиями. Это можно увидеть на приведенном выше плане строений.

шен основного дома. Все было решено в общем стиле с главной постройкой. Башня нового корпуса выходила на морской фасад.

1888

Через год Иван Зенонович снова сдал свой дом, и снова Рафаловичу – только другому, но из той же семьи. В нем поселился писчебумажный фабрикант Андрей Давидович Рафалович, член Императорского Российского технического общества (ИРТО). Интересно отметить, что, как пишет один из годовых отчетов ИРТО, «В 60-х… годах возникает первая в Одессе писчебумажная фабрика, по инициативе г-на Питансье, принадлежавшая сначала барону Унгерн-Штернбергу, а затем перешедшая к г-же Рафалович».* Мы с вами помним, что первым известным постояльцем в доме Бжозовского был барон Унгерн-Штернберг, и как раз в 1860-х гг. И фабрику он свою продал Рафаловичам. И вот следующий постоялец у Бжозовских – Рафалович, писчебумажный фабрикант. Этакая писчебумажная связь.

Елена Генриховна Бжозовская, ур. графиня Грохольская, супруга Ивана Зеноновича Бжозовского. (Collection of Henryk Grocholski)

* Отчет Одесского отделения Императорского Российского технического общества за 1895 год, с. 22.

1894

Последним годом издания «раскладочных ведомостей» был 1894. В том году дом Бжозовского был по-прежнему оценен в 60000 рублей. Кстати, интересно отметить, что так называемое Городское раскладочное присутствие, то есть ведомство, эти самые публикации делавшее, находилось прямо напротив дома Бжозовского – на Надеждинской, 1.

1899

Начиная с 1898 или 1899 года дом Бжозовского можно было смело называть домом Сухомлинова – Николай Федорович Сухомлинов поселился здесь на долгие годы. Очень интересная личность. Родился Николай Федорович 9 марта 1852 в семье крупного землевладельца Херсонской губернии. От отца он получил в наследство 21400 десятин земли. Сам же Николай Федорович смог более чем вдвое увеличить отцовское наследство, приобретя в Херсонской губернии еще 23000 десятин земли, а в Бессарабской – 488. Его владения превышали размерами таковые у Бжозовских. Огромные земельные наделы позволяли ему вести разнообразное хозяйство, в котором преобладало виноградарство, скотоводство, соляной промысел и, конечно, выращивание различных агрокультур. Его практический опыт ценили в Петербурге, куда он был неоднократно приглашаем правительством для участия в работе различных комиссий и совещаний по сельскохозяйственным, финансовым и торговым вопросам. А в 1894-1896 годах он состоял членом сельскохозяйственного совета при министерстве земледелия и государственных имуществ. В Одессе с 1884 года Николай Федорович состоял одесским уездным, а с 1896 года – херсонским губернским предводителем дворянства и занимал эту должность до 1917 года. В дом Бжозовского он переехал с квартиры в Земском банке Херсонской губернии, что находился на Садовой улице, дом 3. Этот банк

был основан отцом Николая Федоровича,* а сам он был председателем правления этого банка с 1884 по 1896 года. На момент переезда Николай Федорович занимал в Одессе следующие должности: почетный мировой судья, директор от правительства в одесском Комитете попечительного о тюрьмах общества, гласный Городской думы (начиная с 1889 года), херсонский губернский предводитель дворянства, президент Императорского Общества сельского хозяйства Южной России, член Одесского особого Комитета попечительства о народной трезвости. Имел чин действительного статского советника. Будучи предводителем дворянства, Николай Федорович в доме Бжозовского же разместил и свою канцелярию.**

Николай Федорович Сухомлинов

Откликнувшись на неудачную войну 1904-1905 гг., Николай Федорович вошел в Комитет по призрению детей, чьи родители погибли в войну с Японией. Позднее состоял в Одесском отделении Попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых и был председателем попечительского совета женской гимназии С.И. Видинской.

Начавшие в 1899 году регулярно издаваться справочники «Вся Одесса» позволяют нам проследить, что Николай Федорович проживал в доме Бжозовского как минимум до 1906 года, когда он переезжает в дом барона Михаила Александровича Рено на Французском бульваре, 15. Кстати, первое, что сделал Николай Федорович, переехав в дом Рено, было проведение туда электричества. Проживая же здесь, в доме Бжозовского,

* wikipedia.org/wiki/Сухомлинов, Николай Федорович.
** Вся Одесса, 1901 год. Издание Фельдберга, с. 206.

Николай Федорович Сухомлинов в 1901 году был пожалован в камергеры высочайшего двора, 7 апреля 1906 года избран в члены Государственного совета Российской империи от дворянских обществ, а 7 октября 1909 года его переизбрали на девятилетний срок. В 1906-1917 годах входил в Постоянный совет Объединенного дворянства. В 1908 году был пожалован в гофмейстеры.

С 1909 Николай Федорович жил уже в собственном доме на Лидерсовском бульваре, 5.

В годы Первой мировой войны Сухомлинов входил в Романовский комитет для воспособления делу призрения сирот сельского населения. После октября 1917-го эмигрировал, умер в Париже в 1934 году.

На мой взгляд, очень достойный и интересный человек, незаслуженно забытый в истории Одессы, но почему-то дворец в его честь Сухомлиновским не стал, а стал «Шахским».

1906

Сухомлинов, по всей вероятности, был последний арендатор дома Бжозовского. Ивану Зеноновичу больше не удалось сдать свой одесский дом кому-либо, во всяком случае, это более не отслеживается по публикациям или иным документам.

1908

27 марта 1908 в Кракове умирает Иван Зенонович Бжозовский. Ему было 62. О нем, к сожалению, очень мало сведений, известна только упоминавшаяся уже его супруга Елена Генриховна, ур. графиня Грохольская. Кстати, ее мать тоже была Белина-Бжозовской, только из другой ветви рода. Детей у них было в общей сложности семеро, но две старшие девочки умерли в раннем возрасте, выжили Ядвига, Владислав, София, Анна и Тадеуш, или, по-русски, Фаддей.

1909

Со смертью Ивана Зеноновича связан конфликт в семействе – увы, из-за наследства. Дело в том, что духовного завещания Иван Зенонович не оставил, но было заключено некое соглашение, по которому три сестры Бжозовские отказываются от наследования одесского дворца, получая взамен оговоренную сумму в качестве приданого, а одесский дом наследуют в равных долях Владислав и Фаддей Ивановичи. Отказ от притязаний сестер был соответствующим образом оформлен каждой путем подписания так называемых «рядных записей» – в 1896, 1899 и 1903 гг. соответственно. Все три сестры получили причитавшиеся им суммы. Ядвига вышла замуж за графа Михаила Роникера, Анна – за графа Броель-Пляттера, а София осталась незамужней. Но отец умер, не оставив завещания, и «4 февраля сего года поступили в суд два прошения от поверенного графини Ядвиги Ивановны Роникер и присяжного поверенного Миодушевскаго, в которых он заявляет, что верительнице его выдел не произведен, что она от наследства никоим образом не отказывается и что, как видно из приложенной копии определения Седлецкого окружного суда по ипотечному определению, его верительница наравне с другими наследниками признана судом в правах наследства в $^1/_5$ недвижимого имения в Царстве Польском».* Суд состоялся тогда же, в феврале, дело рассматривал Каменец-Подольский окружной суд. Приговор гласил следующее: наличие подписи Ядвиги об отказе от имущества подтверждено, таким образом, отказ подтвержден документально, а дальше – даже забавно: «что же касается признания графини Роникер в $^1/_5$ недвижимого имения в Царстве Польском, то таковое признание, как состоявшееся… на основании Кодекса Наполеона, не имеет никакого значения». И правильно, Наполеон нам не указ. Суд указал, что братья Владислав и Фаддей Ивановичи Бжозовские «являются единственными наследниками умершего отца их Ивана Бржозовского».

В сентябре того же года спор был окончательно завершен определением Одесского окружного суда:

* ГАОО 35-1-33772. О продаже двор. Владиславом и др. Бржозовскими графу Иосифу Шембеку двора в I части г. Одессы. Лист 7.

Исполнительный лист

По указу его величества

Тысяча девятьсот девятого года, сентября 10 дня Одесский окружной суд [...]

Ввести Владислава-Ивана-Зенона-Генриха-Фаддея-Губерта Ивановича Бржозовского и Фаддея-Ивана-Станислава-Иосифа-Губерта Ивановича Бржозовского в общее владение унаследованным ими после умершего их отца Ивана-Евангелиста-Фаддея-Адама Зеноновича Бржозовского, имением находящимся в г. Одессе и заключающемся в дворовом месте с постройками, причем ввод с переводом запрещений произвести на основании настоящего определения и определении Каменец-Подольского окружного суда от 10/17 февраля 1909 г. по дарственной, утвержденной старшим нотариусом Одесского окружного суда 7 ноября 1886 г. по реестру № 1799. Определение это на основании 1426 ст. Уст. гражд. суд. изд. 1883 подлежит исполнению в шестнадцатый день сентября 1909 г. по указу его императорского величества, Одесский окружной суд приказал всем местам и лицам, до коих сие может относиться, исполнить в точности настоящее определение, а властям местным полицейским и военным оказывать содействие исполняющему определение судебному приставу надлежащее по закону без малейшего отлагательства».

Так мы, собственно, плавно подошли к концу эпохи Бжозовских в истории построенного ими в Одессе дома. Не найдя какого-либо клиента-арендатора для сдачи ему дворца на длительный срок и, видимо, не имея планов или деловых интересов в Одессе, братья Бжозовские решили одесский дом продать. Причем, судя по датам имеющихся документов, дом уже практически был продан к тому самому 16-му сентября, когда по указу его величества стал собственностью братьев Бжозовских.

Все произошло даже не в Одессе, а в Киеве:

«Тысяча девятьсот девятого года сентября двадцать второго дня явились ко мне, Николаю Григорьевичу Кольчевскому, киевскому нотариусу, в контору мою, находящуюся Дворцового участка, на Крещатике, в доме № двадцать пятый, лично мне известные и законноправоспособные к совершению актов: дворянин Владислав Иванович Бржозовский и австрийский подданный

Антон Людвикович Задора, живущие в городе Киеве: первый – по Крещатику, в гостинице «Франция», а второй – по Пушкинской улице, в доме № пятый». Доверенности имели оба. Доверенность Фаддея старшему брату начинается прелестно: «Любезный брат Владислав Иванович». В ней написано, что «Всему же, что вы на основании сей доверенности законно учините, я верю, спорить и прекословить не буду». Дана, кстати, эта доверенность в Проскурове 30 августа. Проскуров нынче – Хмельницкий. Доверенность от покупателя, графа Шембека, дана «в императорском российском консульстве во Львове восьмого/двадцать первого августа тысяча девятьсот девятого года». Из этого определенно видно, что уже в августе «покупщик» – именно так, а не «покупатель», – был известен.

Фаддей и Владислав Бжозовские
(Collection of Henryk Grocholski)

Для совершения подобных сделок по закону должны были присутствовать свидетели. Они, конечно же, были, и показались мне любопытными: к киевскому нотариусу пришли Владислав Иванович Бжозовский и г-н Задора «в сопровождении лично мне (нотариусу. – **С. К.**) известных свидетелей: козака Макария Алексеевича Гордиенко, крестьянина Ивана Кондратьевича Иванова и мещанина Семена Михайловича Глушакова» – вот такие демократичные свидетели. Итак, эти господа-товарищи пришли «с объявлением, что они [...] совершают купчую крепость в нижеследующем»: дворовое место, в полном оного составе, с количеством земли, как выше сказано, две тысячи семьдесят восемь целых и семьдесят шесть сотых квадратных сажен, более или менее, сколько окажется в натуре, со всеми на оном жилыми

и нежилыми постройками, обзаведениями и службами, без всякого исключения», продают графу Иосифу Адамовичу Шембеку. Как видим, моя любимая приписочка «более или менее, или сколько в натуре окажется» с годами никуда не делась. Ну и, наконец, самое интересное – за сколько ж дом был продан: «А взял он, Владислав Бржозовский, для себя лично и для доверителя своего Фаддея Бржозовского от покупщика за то проданное ему недвижимое имущество триста тысяч рублей».*

Для совершения сделки были представлены документы о том, что «никаких фабрично-заводских или промышленных предприятий» на продаваемом участке «не существует». Интересно также, что для самого графа Иосифа Адамовича Шембека (Józef Szembek ze Slupowa h. wł. (13 XI 1858, Kulczyce – 1929, Poreba) эта покупка представляла, видимо, немалое значение, так как из доверенности, выданной во Львове г-ну Задоре, следует, что граф хорошо «распродавался» – он поручал продать целых шесть своих имений в Киевской губернии (причем одно даже вместе с сахарным заводом) и одно в Полтавской губернии. Эти имения достались ему после смерти его брата Цезаря Адамовича и, видимо, оказались ему не нужны.

К сожалению, мне нечего особо рассказать о новом владельце дома Бжозовских. Известно, что его родителями были граф Адам Шембек (1820-1865) и София Шимановская (1824-1862). Прожили они, как мы видим, совсем не долго, в отличие от деда, тоже Иосифа, прожившего 96 лет. Сам Иосиф Адамович в 1889 году женился на графине Людвиге Велопольской (Ludwika hr. Wielopolska z Zabelcza h. Starykoń). У них было трое детей – по семейной традиции, старшего звали Адам, кроме него были еще Александр и София. Согласно польской генеалогической базе данных «Genealogia potomków Sejmu Wielkiego», жены Владислава Бжозовского и Иосифа Шембека – четвероюродные сестры, а они между собой – многократные родственники по разным линиям родства, в том числе и пятиюродные братья. Еще можно сказать, что граф Иосиф Адамович был удачлив. Но об этом позже.

* ГАОО 35-1-33772. О продаже двор. Владиславом и др. Бржозовскими графу Иосифу Шембеку двора в I части г. Одессы. Лист 3 – 4 об.

Кстати, согласно документам, сопровождавшим сделку, стоимость дома для уплаты налогов по-прежнему равнялась 60000 рублей. Сама же сумма налоговых платежей составляла 3002 рубля. Там же есть «удостоверение» от Одесского главного представительства «Варшавского страхового от огня общества», о том, что «строение г. Ивана Зеноновича Бржозовского, находящееся в г. Одессе по Гоголя (Надеждинской) и Приморской улице под № 2 представляют стоимость, по оценке Главного представительства, сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре (188524) рубля и застрахованы в сто восемьдесят тысяч (180000) рублей сроком по 30-е июня 1911 года» – вот и третья стоимость дома.

Как говорится, «а в это время на другом краю Земли…». В то же самое время, когда Бжозовские продавали Иосифу Адамовичу Шембеку свой родовой дом, в далеком Иране разгневанные жители свергали того самого персидского шаха Мохаммеда Али, благодаря которому в будущем, собственно, и родится всем известный народный топоним «Шахский дворец». 13 июля 1909 г. повстанцы вступили в Тегеран, 16 июля собрался Чрезвычайный национальный совет, который объявил о низложении Мохаммеда Али и о передаче власти его 11-летнему сыну Ахмаду. Мохаммед Али был вынужден скрыться в российской миссии в Зергенде, а затем и вовсе уехать в Россию.

О нем и его предшественнике со сказочным именем Насреддин-шах пишет в своих воспоминаниях Сергей Юльевич Витте: «О приезде в Петербург шаха персидского Наср-Эддина. Когда я был министром, в царствование императора... кажется, тоже его сын, который вследствие революции должен был покинуть престол и теперь живет в Одессе». Оказавшись в России, свергнутый шах решил обосноваться в Одессе. Он, кстати, не сразу выбрал себе резиденцию – вот что писала, например, харьковская (!) газета «Утро» от 14 августа 1909 года.

«Одесса. Резиденция б. шаха.

Вероятной резиденцией шаха персидского Мамеда-Али (именно так его назвали в газете. – **С. К.**) будет Одесса. В настоящее время (выбирается подходящая резиденция). Осматривались, между

Публикация в журнале «Огонек»

прочим, дворец Воронцова на бульваре, дома Фальц-Фейна и Бжезовского на Надеждинской улице».*

Таким образом, у дома Бжозовского были достойные конкуренты. Но, вообще-то говоря, мне кажется, что вся эта срочная покупка графом Шембеком дома Бжозовских была, как бы мы сейчас сказали, «бизнес-идеей» – покупал он его именно с целью сдать бывшему шаху Ирана. В июле у того случились проблемы, в августе он уже был в Одессе, и в августе же Шембек выкупил

* «Утро», № 817, от 14.09. 1909, с. 5.

дом. Почему этим не захотели заниматься сами братья Бжозовские – не знаю. К сожалению, попытка выяснить что-либо у современных потомков Бжозовских ни к чему не привела.

«Известия Одесской городской думы», писали: «Окончательно нанято помещение для бывшего шаха Персии, о приезде которого в Одессу у нас на днях сообщалось. Бывшего шаха ожидают в Одессу в 20-х числах текущего августа вместе со своей свитой».

Вполне возможно, что не обошлось и без некоторой драматургии – например, заглянем в журнал «Огонек» за те же даты конца лета 1909: он публикует материал «Дом в Одессе, меблируемый для бывшего персидского шаха», о том, как бывший шах въезжает в свою новую резиденцию в Одессе. Но на фотографиях в качестве «общего вида дома» приведена фотография дома Фальц-Фейна, о котором говорили и в заметке газеты «Утро». При этом фотография с подписью «Везут мебель…» показывает портик парадного въезда дома Бжозовского. Так и видится, как шах со всей своей свитой и пожитками прямо перед домом Бжозовского, где его уже ждут, вдруг велит всей кавалькаде поворачивать направо, к Фальц-Фейнам. Управляющий Шембека или даже он сам бежит к шаху и скидывает цену. Шах, потеряв власть в Персии, одерживает маленькую победу в Одессе. Кавалькада заезжает в дом Бжозовского, и начинается разгрузка мебели…

Ну конечно, на самом деле никакого шаха и свиты вместе с мебелью не было, все решалось через уполномоченных лиц, и шах приехал лишь тогда, когда все было готово. Вот тут-то и появляются еще две фотографии интерьеров дома, о которых я упоминал ранее, – кабинет и спальня б. шаха.

Приехав в Одессу, как вы думаете, куда отправился свергнутый шах? Правильно, в тюрьму: «Сегодня бывший персидский шах Магомет Али подробно осматривал тюрьму. Его сопровождали градоначальник И.Н. Толмачев, камергер Г.Д. Батюшков, евнух и свита. Недавний повелитель Персии заявил, что русские тюрьмы красивее персидских дворцов. Магомет Али был очень удивлен, когда узнал, что в России арестантов кормят за счет казны…».*

1911

Шах развернулся в Одессе основательно. Помимо дома на Гоголя он еще снял себе дачу на Французском бульваре и, видимо, был не прочь провести здесь длительное время. Об этом говорит, например, следующая заметка в газете «Одесские новости» за февраль 1911 года.

«Проживающий во дворце персидского экс-шаха Магомета-Али (по улице Гоголя) бывший министр двора Сааб-Джан внес управляющему этого дома М.С. Мончевскому наемные деньги (5 т. р.) за второе полугодие.

Бывший шах, находящийся в настоящее время с семьей в Мерране, предполагает вернуться в Одессу с наступлением теплой погоды, в начале апреля».**

Таким образом, понятна годовая сумма аренды, которую экс-шах платил графу Шембеку: 10000 рублей. Впрочем, шах был при деньгах, так как русское правительство решило платить ему пенсию. Но ему явно не сиделось на месте. Незадолго до этого, 26 октября 1910 г., он тайно выехал из Одессы в Вену, затем уехал в Италию и Францию, а 24 декабря прибыл в Берлин. И обещал вернуться. Но в это же самое время другая газета, «Одесские новости» писала совсем иное:

«К поездке бывшего шаха.

Лицо, близко стоящее к бывшему шаху Магомеду-Али, подтверждая наше сообщение о том, что бывший шах больше в Россию не возвратится, передает нам некоторые соображения,

* «Русское слово» от 20 (7) ноября 1909 года.
** «Одесские новости». 20.02.1911.

в силу которых Магомед-Али принял такое решение. После своего низложения бывший шах, получив приглашение поселиться в России, рассчитывал на содействие в определенном направлении дипломатических сфер в России. В действительности его надежды и ожидания не оправдались. Были моменты, когда, по мнению экс-шаха, русская дипломатия могла многое сделать для него, особенно во время свидания в Потсдаме, где, однако, интересы его были совершенно игнорируемы. Путешествие по Европе дало повод Магомеду-Али убедиться, что в лице Германии он может рассчитывать на расположение к его особе и судьбе. Кроме того, Европа произвела на шаха колоссальное впечатление в смысле культуры, благоустройства и всяческих удобств, о существовании которых он не имел представления. Все это вместе взятое привело шаха к решению оставить Россию.

Вероятнее всего, что бывший шах поселится либо в Дрездене, либо во Франкфурте. Договор на снимаемый им в Одессе дворец оканчивается в мае, и к этому времени бывший шах освободит занимаемое помещение.

За несколько месяцев своего путешествия бывший шах побывал в Австрии, Франции, Германии и Италии.

Окончательное решение оставить Россию бывший шах принял только в последнее время, когда уже был за границей».***

Эта заметка скорее похожа на мелкий шантаж со стороны шаха. На самом деле шах поехал любоваться не благоустроенностью Европы, а искать тех, кто поможет ему вернуть трон. Для русского правительства он был всего лишь одним из вариантов того, кто будет править Персией, – русские войска и так уже два года были в Иране, но его попытки вернуть трон грозили испортить отношения с другими странами. В том же феврале 1911 года британское правительство обратило внимание на попытки Мохаммеда Али вернуть трон. «Тогда министр иностранных дел С.Д. Сазонов заявил, что «его величество повторно предупрежден русским представителем, что если он будет замечен в интригах этой природы, он будет лишен пенсии». Он также обещал, что компетентные органы «повысят бдительность в присмотре

*** «Одесские новости» № 8334 от 2.02.1911.

за Мохаммедом Али».* Однако с помощью России или с чьей-либо другой, но в том же году в июле шах высадился в Астрабаде (порт на юго-восточном побережье Каспийского моря) с военным отрядом и попытался пройти в Тегеран восстановить свою власть. К нему даже примыкали некие сторонники, но осенью 1911 его отряды были разбиты. Шах снова появился в Одессе, потому что благоустроенная Европа ему отказала.

1914

В 1914 году Одессу посетил император Николай II. Случилось это незадолго до начала общеевропейской катастрофы – Первой мировой войны, 2 июня 1914 года. Государь прибыл на своей яхте, красавце «Штандарте». Сопровождал императора командующий войсками округа. Окончив объезд пехоты и кавалерии, на обратном пути император проехал мимо приветствовавшей его криками «Ура!» публики. В дневнике императора осталась запись об этом дне: «Проснулся до 9 час. дивным утром, море было как зеркало… Почетный караул 59-го Люблинского полка… В нашем поезде проехали до главной станции, где был прием гражданских властей и депутаций… Войска представились в бодром и блестящем виде. Такая радость была увидеть снова чудные войска Одесского воен. окр. Вернулся с детьми на вокзал, где принял бывшего шаха персидского, и затем проехал по улицам Одессы в порт. Весь город и порт были красиво иллюминованы».

1915

В одном из документов, сопровождавших сделку, к которой мы подойдем чуть позже, была небольшая справка, в которой говорится следующее «На Иосифе Шембеке оказался наложен секвестр по постановлению главного начальника Одесского военного округа и генерал-губернатора от 18 января 1915 года за № 319.

* «Вестник Санкт-Петербургского университета: История, языкознание, литературоведение». Выпуски 1-4, с. 127.

Ст. … 814». Никаких подробностей, увы, нет. Возможно, как это часто бывало, здание было занято под военный госпиталь – ведь шла Первая мировая… Во всяком случае, никаких последствий для будущей сделки это не имело.

1917

Неумолимо надвигалась смута. Бывший шах Ирана пережил переворот, лишивший власти приютившего его Николая II. Некоторое время он оставался в Одессе и даже организовывал самооборону. Вот что писали об этом Виктор Файтельберг-Бланк и Валерий Шестаченко: «21 декабря 1917 года на дворец персидского шаха Магомет-Али напало 20 вооруженных грабителей. Однако шах был предупрежден о нападении и организовал засаду из милиционеров. Так что бандитов встретил ружейный залп, который отбил у них охоту соваться во дворец».**

Тут я должен сделать некое отступление, указав, что я не могу с точностью сказать, что бывший шах персидский в это время продолжал проживать на Гоголя, 2. Вполне вероятно, что, оставаясь в Одессе, он переехал на новый адрес или имел еще один адрес помимо дачи и дворца. Новый адрес шаха – особняк Гижицкого, что на углу Белинского и Лермонтовского переулка. Во всяком случае, именно этот адрес приводит в качестве адреса шаха персидского справочник «Вся Одесса» за 1914 год.*** Так что где именно в эти годы проживал шах и где именно он организовывал оборону – вопрос дальнейших исследований.

1918

Было и так: «В памятные дни Январского восстания... 17.01.1918 отряды рабочих смелым штурмом взяли дворец».****

** Виктор Файтельберг-Бланк, Валерий Шестаченко. Бандитская Одесса. Двойное дно Южной Пальмиры. – Одесса: Астропринт, 1999, с. 398.
*** Вся Одесса на 1914 год. – Издательство «Одесские новости», с 453.
**** К. Саркисян, М. Ставницер. Улицы рассказывают… (3-е изд., перераб. и доп.) – Одесса: Маяк, 1972, с. 104.

Надо сказать, что на этой фотографии, подписанной на немецком «Одесса. Замок графов Шембек», сам «замок» выглядит явно нуждающимся в хорошем ремонте как минимум фасадов. Здесь привожу ее фрагмент, чтобы можно было увидеть явные повреждения, возможно, случившиеся из-за описанного штурма.

Но нас в 1918 году куда больше заинтересует то, что произошло в октябре. А произошла, на мой взгляд, показательная история. Об удачливом графе и незадачливом бывшем студенте. Итак, по всей видимости, Иосиф Адамович граф Шембек, после того, что произошло в Петрограде и стало происходить в Одессе, решил, что ему хватит ждать дурных вестей оттуда. Польша к тому времени уже стала вновь независимой, и он себя прекрасно чувствовал в своем родовом имении в Порембе. Поэтому он решил продать свой дом, будучи в июне 1917-го в Киеве, зашел к своему знакомому и дальнему родственнику графу Плятеру, который – мельчает аристократия! – подрабатывал киевским нотариусом, и выписал доверенность на некоего господина Евгения Захарьевича Зотова, поручив ему продать его недвижимость. Поиски «покупщика», однако, затянулись почти на полтора года, пока наконец Евгений Захарьевич Зотов не нашел некоего молодого господина по имени Арнольд Владимирович Гальперин.

Об этом господине нельзя сказать ничего, кроме того, что ему можно посочувствовать. Что же мы все-таки о нем знаем? В купчей крепости, которая была подписана на Екатерининской, 2, в конторе у нотариуса Персицкого (шах, наверное, удивился его фамилии), говорится, что он пришел совершать сделку лично, что проживает он в гостинице «Пассаж» и что он… «окончивший курс юридических наук», то есть вчерашний студент. И вот этот самый студент покупает у графа прекрасный дом за – внимание! – «Продажа эта учинена за один миллион пятьсот тысяч рублей».* Да еще студент согласился оплатить почти все расходы по оформлению сделки… Что тут скажешь… Граф счастливо избавился от актива, который рано или поздно у него бы отобрали. А отобрали его уже у г-на Гальперина вместе с добровольно отданными полутора миллионами рублей. Студента, наверное, жаль.

Если абстрагироваться от незадачливого студента, то из документов по последней продаже дома видно, что участок земли под ним остался таким, как прежде, – две тысячи семьдесят восемь и семьдесят шесть сотых квадратных саженей, то есть ничего не докупалось и не продавалось. Именно об этой сделке я говорил, цитируя записку о том, что дом секвестрирован военными в 1915-м году. Там же есть последняя оценка его налоговой стоимости – 101200 руб. на 1 июля 1918 года, сами налоги исчислялись в совокупности в 3550 р. 92 к. Ну а Одесское главное представительство Варшавского страхового от огня общества сообщало, что дом застрахован у них на сумму в те же 180000 рублей, что и раньше, «сроком с 30 июня 1917 по 30 июня 1922 г.».

1919

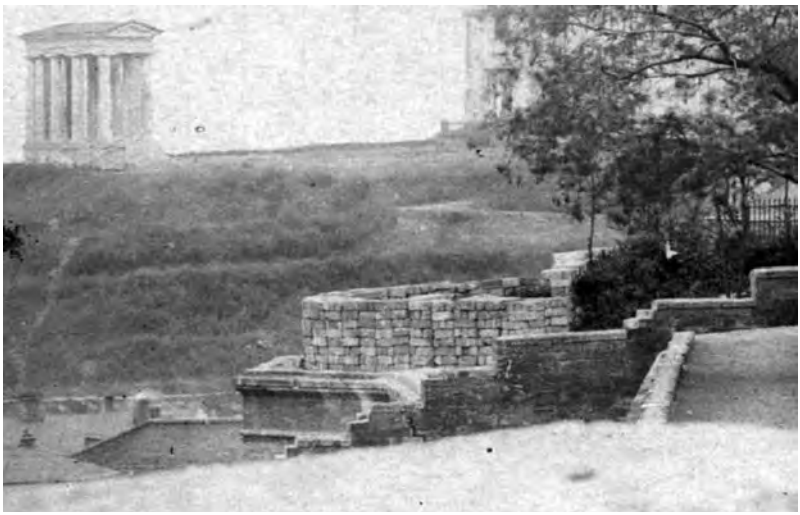
В 1919 году в здании размещался профсоюз моряков торгового флота. Организацией руководил Анатолий Григорьевич Железняков**.

* 35-1-63748. Дело Одесского нотариального архива. О продаже Иосифом Шембеком Арнольду Гальперину им. в Одессе.

** Н.П. Пустовойтенко. Увековечено в граните. Страницы истории революционной Одессы. – Одесса: Маяк, 1977, с. 41.

1920

На фрагменте фотографии, датируемой 1920-м годом, на террасе перед дворцом видны сложенные стеной камни, повторяющие обводы трапециевидного выступа террасы, – возможно, это некое военное сооружение для обороны. А возможно, просто стройматериалы привезли…



Фрагмент. 1920-й год. ОКМ Ф1455

Интересно сказать, что Мохаммед Али продолжал оставаться в Одессе вплоть до 1920 года. Но где он жил, когда там шли боевые действия, или моряки держали свой профсоюз, непонятно. Впрочем, в Одессе тогда все быстро менялось.

* * *

На этом, собственно, и заканчивается история дома Бжозовского – Шахского дворца как частного владения. Дальше была новая история Дома народного творчества, банка. Кому он при-

надлежит ныне, и какая его судьба ждет – неизвестно. Но это, как говорят, «другая история».

P. S. Покинув Одессу, Мохаммед Али вначале переехал в Стамбул, откуда затем переселился в Италию. В 1924 году в Сан-Ремо Мохаммед Али умер в возрасте 52 лет.

Через пять лет, в 1929 году, в родовом имении Поремба в тишине и спокойствии умер наш удачливый граф Иосиф Адамович Шембек. Другой бывший владелец дома, тот самый Фаддей Иванович Бжозовский, или, по-польски, Тадеуш Бжозовский, который наряду со старшим братом Владиславом был последним владельцем дома из семьи Бжозовских, погиб в 1944 году во время Варшавского восстания, умерев от полученных ран…

Судьба Арнольда Владимировича Гальперина, последнего владельца дома на Гоголя, мне неизвестна.

Владимир Смирнов

Воспоминания детства

К 75-летию Победы в Великой Отечественной

Когда началась Великая Отечественная война с немцами, мне шел 6-й год. Летом 1941 года мы с бабушкой Татьяной Романовной Заградской жили на даче в дачном кооперативе научных работников государственного университета. Первым председателем кооператива, добившимся организации строительства кооператива, был мой отец Александр Тимофеевич Смирнов – преподаватель политэкономии, одно время, как помнила моя мама Лидия Васильевна Заградская, исполнявший обязанности завкафедрой и профессора Одесского университета.

Отец мой умер, когда мне было два года. Из партийных документов тех лет, которые мне помог найти в архиве Игорь Леонидович Комаровский, стало известно, что отец мой после окончания института народного хозяйства в 1930 году был принят кандидатом в члены партии, но, несмотря на большую лекционную нагрузку и общественную работу, его не принимали в члены партии до самой смерти в 1938 году. Из разговоров с бабушкой Таней я узнал, что отец много ночей, особенно во время ежовщины, не спал и все ожидал, что и к нему подкрадется «черный ворон». Из архивных партийных документов мне стало известно, что прежде чем поступить в институт народного хозяйства, отец два года работал маляром, ибо в вузы принимали только «классово подходящих» людей.

Отец жил с матерью, которую я называл, когда она приходила к нам, бабой Женей. Они вдвоем очень нуждались, и отец обращался к ректору института Арнаутову с просьбой о выплате ему стипендии в связи с тем, что он болел гемофилией и не мог обеспечить себя и мать деньгами, необходимыми на пропитание и ле-

чение. Как видно из документов, ректор Арнаутов распорядился выплачивать моему отцу спасительную для него с матерью стипендию. Моя мама в то время была солисткой балета оперного театра и собиралась поступать в индустриальный институт. С моим отцом она познакомилась, будучи студенткой индустриального института. Как говорили мне коллеги моего отца, на его лекции по политэкономии приходили студенты всех факультетов института. (Об этом мне рассказывали завкафедрой физики в институте связи Елена Леонидовна Иванова, а также автор многих статей, посвященных разоблачению сталинских репрессий, кандидат химических наук Н.М. Лакинская.) Будучи первым председателем правления ДСК, отец мой ездил в Киев и хлопотал об организации всех каменных работ по строительству дач научных работников университета. Там поселились работники университета С.О. Голуб, М.Н. Крейн, Д.С. Гончаров, Г.А. Машталер и многие другие.

Умер отец мой от генетической болезни гемофилии, получив заражение крови после неудачной перевязки операционного шва, оставшегося после операции по удалению гематомы, которую ему делали в Москве. Моя мама, помню, после смерти отца объясняла мне, что ей необходимо выйти замуж. После окончания индустриального института мама работала на одесской электростанции в качестве химика-технолога. Там она познакомилась со своим будущим вторым мужем.

В квартире, где жила наша семья, на втором этаже круглого здания на Греческой площади, вскоре поселился со своим письменным столом и полкой с книгами по электротехнике новый мамин муж Леонид Гаврилович Ковалев, который вначале аккуратно клеил с помощью клея-гуммиарабика для меня из плотной бумаги корабли. Леня – так я называл своего отчима – был совершенно апатичный мужчина, на все, что возможно, он говорил презрительно: «Пхе, чепуха!». Однажды, когда я почему-то громко плакал, он запихнул мне в глотку сухую тряпку, и я чуть не задохнулся. Кто-то успел вытащить тряпку из моего горла. Думаю, что моей спасительницей была приехавшая на заработки из деревни девушка Гандя. Она была моей нянькой. Она меня брала на руки, и мы гуляли на Соборной площади, где в 1936 году был разрушен городской собор, также ходили в Городской садик, недалеко

от дома, где мы жили, и там слушали городской оркестр, который выступал на специальной открытой веранде.

Интересно, что из камня разрушенного собора была построена в начале улицы Толстого четырехэтажная школа, где уже после войны разместилась на верхнем этаже школа «имени мене» – имени профессора Петра Соломоновича Столярского, где волею судьбы я десять лет проучился, посещая уроки фортепиано у Розалии Соломоновны Коган-Шварцман, а на первом году обучения – у Татьяны Леонидовны Достойновой. Окончив эту школу, я получил серебряную медаль. Но это произошло всецело благодаря тому, что после неудачных посещений детского сада, после которого я постоянно болел всеми детскими инфекционными заболеваниями, моя мама еще до начала войны отвела меня на Екатерининскую площадь, которая тогда носила имя Карла Маркса, хотя после уничтожения памятника Екатерине Великой установленный памятник Карлу Марксу свалился во время грозы, и остался один постамент памятника Екатерине (ныне памятник восстановлен одесским мэром Гурвицем). Там жила моя родная бабушка, которая требовала, чтобы я всегда ее называл по имени – Таней, ибо не хотела быть «бабушкой». У Тани я перестал болеть, и она выходила меня от моих хворей, и приезжала летом со мной на дачу, где также летом жили моя мама с отчимом Леней, а также квартиранты.

Мою няньку Гандю к тому времени выгнали якобы из-за поведения. Когда мама уходила на работу, я оставался один, обычно больной, и следил за временем по песочным часам, когда она должна была вернуться с работы. Позднее со мной оставалась уже более пожилая по сравнению с Гандей женщина. Она мне запомнилась тем, что показывала якобы интересную забаву. Она прикладывала к свей голове иголку, стучала по ней молотком и потом находила эту иголку у себя в туфле, объясняя, что иголка совершила путь от головы через нее в туфлю, и просила меня повторить. Неужели она не понимала, что ребенку нельзя было поручать такие небезопасные игры?

Когда были праздники, везде шумели оркестры, а я сидел в комнате у окна, которое выходило на Греческую улицу, и наблюдал различные номера трамваев, на Греческой площади имевших

конечную остановку: я научился называть трамвайные номера 17, 25, 1 – кроме № 23, который шел до Нового базара. Я иногда пел песни про Москву, называя ее «моей мамимой», также «Катюшу» и др. Мне нравилась песня «Чубчик кучерявый», которую исполняли гости моей мамы на какой-то вечеринке, а уже во время оккупации и сам автор песни Петр Лещенко, выступавший в своем ресторане в Театральном переулке. Когда в двухкомнатной квартире, причем одна из комнат была без окон со слуховым окном в потолке, кто-то подметал пол, я часто находил подметенными какие-то свои игрушки и кричал: «Это мене ядо (надо)!».

Но наиболее часто во время болезней я был увлечен самым любимым занятием – перебирал купленные мне несколько книжечек, среди которых были «Мистер Твистер», «Чук и Гек», украинский сборник каких-то загадок и др. Вспоминаю, как мне было страшно, когда мама, когда я почему-то не слушался, закрывала меня в проходной комнате, которая располагалась между кухней и светлой комнатой с окном на Греческую улицу. Я стучал кулачками по двери и исступленно плакал, но мне долго не открывали дверь, пока я почти полностью не терял силы.

Но однажды вместо детского сада, который я не любил за безвкусный рисовый суп и строгих нянь с неприветливыми лицами, мама повела меня на Екатерининскую площадь, где жила бабушка Таня. И оставила там меня навсегда. Но для меня переход к бабушке Тане оказался спасительным. Бабушка Таня, когда я ее не слушался, говорила мне: «Я тебя отведу к маме!». Я начинал плакать и умолял этого не делать. У моей родной бабушки число моих болезней сократилось до минимума, я окончил у нее муздесятилетку имени профессора Петра Соломоновича Столярского, а потом и университет, вступив в почти полноценную жизнь. Помнится, когда война только началась, к нам на дачу приезжал мой единственный двоюродный брат Толик, сын тети Оли и ее мужа – погибшего на войне летчика. Толик увлекся ловлей бабочек сачком, чем и я часто занимался в те годы. Он явился одной из первых жертв военной бойни. На него упало бревно во время немецкой бомбардировки, и он погиб – невинная жертва жаждущих мирового господства «вождей».

Весной, когда на даче, которую строил мой отец, на улице Тенистой, 18, поспевала первая скороспелая черешня, мы с бабушкой

отправлялись на дачу. Ехали трамваем № 17 от Греческой площади, где оставалась квартира, где жила мама с отчимом, в которой я больше никогда не бывал, так как при оккупации мама с отчимом нашли себе другую квартиру в переулке Некрасова, 9, и бабушка туда не ходила. Когда трамваи не ходили, мы шли на дачу пешком. Отдыхая, сидели на заборах, мимо которых проходили. Надо отдать должное: моя мама каждый месяц приходила после получения зарплаты к бабушке и приносила ей «деньги на жизнь», а бабушка умудрялась весь месяц ходить на базар, выкраивать деньги на продукты и приготовляла нам пищу.

Однажды мама пришла очень взволнованной. Она рассказала, что проходила мимо еврейского гетто, где сначала содержались в районе Молдаванки измученные одесские евреи. Зимой пришельцы заставили и стариков, и детей пешком добираться до далекого селения Березовки. Только немногим удалось спастись.

На даче, особенно после переезда на все лето, было гораздо лучше, чем в городе. Почему-то бабушка никогда в городе не выпускала меня во двор, и я «дышал свежим воздухом» только при походах в школу и обратно. Она очень заботилась о моем воспитании и делала все, чтобы я болел как можно реже. На даче я все время находился на воздухе. Перевозил нас на дачу с пожитками мой дед, которого звали Базиль. Для этого в те годы, во время оккупации, нанимались дрожки с лошадкой, которой «рулил» дед Базиль. Помнится, однажды он дал вожжи и мне. Он был мужем сестры моего родного дедушки, отца моей мамы, который был до революции царским чиновником и прятался от ГПУ, переехав жить в столицу Казахстана Алма-Ату, что означало по-русски «Отец яблок». Сестру деда Васи, которого я увидел впервые только после войны, звали Сашей. У них с Базилем Лосевым не было детей, и они свою несостоявшуюся заботу о детях перенесли на меня, когда я жил у бабушки Тани.

* * *

Помнится, в один из первых дней войны, когда стемнело, мы все – Базиль с Сашей, моя мама с отчимом Леней, бабушка и я – вышли на самую большую открытую террасу и смотрели на небо, думая, что под Одессой происходят армейские ученья, когда все

небо было испещрено трассирующими пулями, огромными свечами, достающими до облаков, – прожекторами, которые непрерывно рыскали по небу в поисках самолетов, на фоне разрывов зенитных снарядов, под аккомпанемент тяжелого гуденья немецких бомбардировщиков, ищущих свою добычу в мирном городе. Мы, конечно, впервые услышали близкую стрельбу зениток и рисковали быть раненными осколками. Но мы были уверены, что это учения. Помнится, как по городу были подвешены на довольно большой высоте в виде колбас надутые воздухом огромные мешки для ловли бомбардировщиков, регулярно бомбивших Одессу. Как рассказывала мне моя жена Нина, их дом возле Нового базара также был полностью разрушен бомбой. Их семье удалось спастись в подвале соседнего дома.

Полыхавшая война вместе с ужасом и смертью показывала свое страшное величие, несущее поголовную беспощадную смерть в одновременно своеобразной роскошной своей красе. В дальнейшем мы узнали об опасности, которой подвергались, и прятались в довольно глубоком погребе, в который спускаться нужно было по вырытым в глине ступеням. Помнится, мы сидели с бабушкой во время бомбежки, о которой предупреждала громкая сирена воздушной тревоги. Я бабушку спрашивал, чувствуя после взрывов бомб довольно сильное вздрагивание почвы: «Таня, а что будет, если нас засыплет земля после взрыва бомбы?». Бабушка невозмутимо отвечала мне: «Есть лопаты, будем откапываться!». Меня ее ответ успокоил и заставил сомневаться только в том, сумеем ли мы с бабушкой откопаться из глубокого погреба.

На другой день, выйдя на главную аллею нашего дачного кооператива, я увидел две довольно большие ямы, в которых что-то отрывали незнакомые мне мальчишки. Оказалось, что это были две воронки от бомб, сброшенных почему-то на наш дачный кооператив. Люди говорили, что немецкие самолеты промахнулись, так как военная часть была в санатории имени Семашко. Говорили, что какие-то диверсанты давали сигналы самолетам, и поэтому они сбросили бомбы здесь. Все стены ям были утыканы металлическими осколками взорвавшихся бомб. Мальчишки с интересом их рассматривали и показывали людям, стоящим поблизости. По моим современным представлениям эти осколки очень

напоминали осколки большого железного метеорита. Потом возле забора нашей дачи показались военные, которые начали допрашивать взрослых, знают ли они, кто во время бомбежки давал сигналы самолетам. Никто ничего не мог сказать, и военные с ожесточением говорили: «Смотрите, если узнаем, повесим на первой же ветке!». Почему-то их подозрения падали на нашу сторожиху Долинскую. Конечно, для всех нас такие угрозы были в диковинку.

От бомб люди придумывали себе убежища. В Аркадии прямо у пляжей в обрывах ракушечника выдалбливались ниши, и там во время бомбежек прятались люди. Недалеко от входа в парк и на пляж Аркадии, от аллеи, которая вела к морю, в обрыве, состоящем из камня-ракушечника, был вход в катакомбы. На ночь в один из дней начала войны мы пошли туда, чтобы спрятаться от возможных попаданий бомб. Надо сказать, что бомбежка города, где жили старики, дети, находились больные, – представляла собой особо жестокое действие. Дело в том, что на бомбы при их запусках с самолетов подвешивались специальные ревуны для еще большего запугивания населения, когда все люди просто не понимали, откуда и зачем против них пришельцы из-за границ государства – немцы со своим идиотом фюрером – направляют свое смертоносное оружие. Бомбы при полете издавала звуки, которые вначале были высокие по частоте, а потом, приближаясь к земле, становились все более низкие и угрожающие. В конце, во время взрыва, как уже отмечалось здесь, слышался страшный громоподобный звук, и вздрагивала почва, как во время землетрясения.

В катакомбы на ночь мы пришли с пожитками – едой, примусом, постелью. Помнится, мы шли по длинным каменным коридорам. Вокруг на более просторных площадках везде ютились люди, освещая каменные своды светом свечей, фитилей, разных лампадок и коптилок. Некоторые готовили пищу на примусах и грецах и ужинали. Мы также нашли место, где можно было расположиться на ночлег. Меня уложили спать. Я всегда засыпал на привычной для меня подушечке, которую называл «побуха». Но сон на этот раз был далеко не безмятежный. Как мне рассказывали, в катакомбах вдруг начали гаснуть все свечи и коптилки. Оказывается, кто-то от воров закрыл бывшую в то время у входа в катакомбы дверь, и при множестве в этой страшной пещере

людей все начали задыхаться: не хватило кислорода. Меня, как говорят, вынесли из катакомб на воздух без сознания и с трудом откачали. Больше мы в катакомбы не ходили.

Помнится, при оккупации у входа в катакомбы, которыми мы так неудачно воспользовались, оккупанты установили какой-то агрегат. Как мне объяснили, такими специальными аппаратами в катакомбы качали отравляющие газы для умерщвления партизан, которые умудрялись жить в катакомбах и участвовать в войне с оккупантами. Некоторые партизаны умирали в катакомбах голодной смертью. Вышедших и сдавшихся партизан судили, но румыны к партизанам относились более мягко по сравнению с немцами, которые всех уничтожали. Румыны некоторых специально отобранных прилюдно отпускали на свободу. Зато после освобождения уже наши «компетентные органы» их снова арестовывали и значительную часть расстреливали якобы за предательство во время войны. То же самое происходило с пленными. Помнится, как нашего соседа по квартире бухгалтера маслозавода Алексея вызывали на допросы до самой его смерти и объясняли ему, что во время боя под Севастополем он должен был себя взорвать вместе с врагами, но не сдаться.

Однажды летом 1941 года к нам на дачу приехала из города моя бабушка Женя – мать моего отца, вместе со своим внуком Толиком, моим двоюродным братом. Это был мальчик лет одиннадцати, который имел большой сачок для ловли бабочек. В то время в нашем дачном кооперативе было еще очень много довольно редких насекомых, которые впоследствии из-за загрязнения окружающей среды и воздействия человека в основном полностью вывелись. Вспоминаются жуки, названные в имевшихся у нас бабушкой Таней книгах Брэма, красотелом пахучим. Книги Брэма «Жизнь животных» достались мне во время прогулки с бабушкой по улицам занятого румынами города в первые дни после оккупации. На углу улиц Греческой и Ришельевской на тротуаре была сложена большая куча книг, выброшенных из расположенной вблизи библиотеки «Медсантруд». Приглашались прохожие для разбора этих книг, для сортировки. Вместо денег вознаграждали книгами. Так мы обзавелись небольшой, но интересной библиотекой, которую мы читали вслух с бабушкой

и ее подругой доктором Павловой во время долгих зимних вечеров при коптилке. Книги для чтения брались и у специальных арендаторов. Особой популярностью пользовались книги Дюма («Три мушкетера»), Гюго, также приключенческие и «захватывающие».

Мой двоюродный брат Толик был сыном тети Оли – сестры моей тети Нюры. Обе тетки были родными сестрами моего отца. Первый муж моей тети Оли, летчик, погиб в начале войны на фронте. Тетя Оля еще до войны познакомилась с немецким колонистом Штольцем. По оценкам приезжавшего по моему приглашению через много лет в Одессу сына немецкого консула Пауля Рота, перед войной под Одессой жило не менее 200 тысяч немецких переселенцев, которым Гитлер собирался отдать славянские земли. Помнится, как приехавший, когда еще ходили трамваи, к нам на дачу с нашей с ним общей родной бабушкой Женей Толик ловил сачком бабочек, веселился. Но примерно через месяц, летом 1941 года, мы узнали печальную новость.

Во время бомбежки баба Женя вместе с Толиком прятались от осколков в их квартирке на улице Манежной, № 52. В этом доме жили и мы с женой впоследствии, после рождения дочки. Туалеты в этом доме находились во дворе, а все выходы из маленьких квартирок дома были связаны большим общим коридором с деревянными полами и железной лестницей, ведущей во двор. Судьба распорядилась так, что бревно с чердака при взрыве упавшей невдалеке бомбы рухнуло прямо на Толика и убило его. Это было на глазах у бабушки Жени, как она рассказывала. При этом лицо ее искажали появившиеся глубокие морщины. Так мой двоюродный брат Толик оказался одной из миллионов жертв кровавой мировой бойни. Фамилия его отца, как и его самого, в семье не сохранилась. Сколько людского горя принесла эта бойня, затеянная несколькими вождями в целях своего возвеличивания во всем мире! Конечно, Толик не заслуживал такой участи. Могила его осталась нам не известной.

Что касается ловли бабочек, то я этим делом очень увлекался в те годы, когда их было так много! Я собирал все летние месяцы коллекцию насекомых – в основном бабочек и жуков. Собирал также гербарий. Ничего этого сохранить мне не удалось. Помнится, как в родниках, стекавших в Аркадии из расщелин с обрывис-

того берега, плавали большие жуки-плавунцы. Вода в родниках в то время была очень чистая. Когда в то время прекращала из кранов поступать вода, мы ходили на берег и набирали для питья воду из этих родников, которые потом иссякли и загрязнились. Благодаря родникам воду в Одессе можно было раздобыть на берегу моря. А жуком-плавунцом я пополнил свою коллекцию насекомых, не сохранившуюся после моего отъезда из Одессы на работу.

* * *

Так вокруг нас разыгрывалось побоище, названное войной. Надо сказать, что одесситы при обороне города проявили действительно истинный героизм. Повсюду перед сдачей города были расклеены плакаты с лозунгами: «Не сдадим солнечной Одессы!». И это не были пустые слова. Оказывается, что, несмотря на то, что немецкая армия ушла далеко вперед и захватывала все большие территории, под Одессой шла ожесточенная борьба с врагом. В сражениях при обороне города многих румын брали в плен. Оказалось правдой, что на фронте оружия и боеприпасов катастрофически не хватало. Одна винтовка была, как правило, не меньше чем на троих человек. И на передовой многие ждали, пока освободится эта единственная на троих винтовка и перейдет из рук погибшего или раненого к его товарищу. Поэтому сдача города 16 октября 1941 года была для многих совершенно неожиданной, ибо оборона Одессы эффективно продолжалась. Правда, перед уходом из Одессы, вместо того чтобы раздать оставшемуся населению (примерно 300 тысяч человек) продукты, их сбрасывали в море, у нас с бабушкой на глазах сжигали большие магазины с одеждой, а когда город был сдан, была взорвана дамба Хаджибеевского лимана. Были затоплены Куяльник и Пересыпь. Никакой военной необходимостью этот взрыв дамбы не оправдывался. Были жертвы среди жителей.

Осуществлялись и провокационные действия. Взрыв здания НКВД на Маразлиевской произошел 22 октября в 17 часов 30 минут, по данным свидетеля тех лет Сметанина, нашего коллеги по книжной секции при Доме ученых, через полчаса после начала очень серьезного совещания румынской военной верхушки.

Взрыв погубил большие чины румынской армии, находившиеся в Одессе, за что оккупанты начали мстить всему населению города. В отместку за одного погибшего уничтожалось не менее ста человек из населения. Как говорят свидетели, на всех деревьях проспекта Мира были трупы повешенных людей.

При сдаче Одессы румынские пленные в количестве нескольких тысяч человек были расстреляны, а трупы сожжены в бывших артиллерийских складах. Склады тянулись от нынешней площади Толбухина до 3-й станции Люстдорфской дороги. Пылающие крыши сараев рухнули уже тогда, когда в городе были румыны. В этих же сараях, особенно после взрыва на Маразлиевской, 22 октября были, вероятно, в отместку сожжены десятки тысяч евреев и советских пленных. Поэтому наступили дни преследований, в первую очередь евреев, а также всех, кто попадался под руку. И только письмо руководства университета (профессор Часовников), адресованное губернатору Алексиану, написанное по-румынски с выражением соболезнования, положило конец страшному террору.

Жестоко поступили и свои после отступления армии из Одессы. В те дни, пользуясь объявленной свободой торговли, какая в СССР была запрещена, на Новый базар приехали крестьяне из деревень, чтобы что-то продать и купить, что спасало горожан от голода. В это время была очень жестокая бомбардировка уже нашими Нового базара, откуда, как говорили очевидцы, трупы вывозились грузовиками.

* * *

Несмотря на чудовищные преследования евреев, расправы с партизанами и всеми не угодными оккупационному режиму, в Одессе при оккупации открылись новые частные магазины, рестораны, издавались газеты, журналы, работали школы, лицеи, работал университет и другие вузы, бывшие в подчинении университету, открылась консерватория, оперный театр, а также русский театр и еще несколько частных театров, кинотеатры, рестораны и бодеги.

Центральная аллея Аркадии, по которой мы ходили на пляж, была всегда ухожена. Посреди клумб, тянувшихся по аллее, в лет-

нее время были высажены пальмы, на грядках было много цветов – анютины глазки, флоксы, маргаритки, петунии, гвоздики и др. На нашей даче мы посадили юкки и розы, которые цвели, порождая новые корневые отростки, в рассаживании которых и я принимал участие. Конечно, купанье на пляже в Аркадии было самым любимым занятием. Мы с бабушкой в летнее время отправлялись на пляж рано утром. Тогда на центральном пляже сравнительно близко к берегу часто можно было видеть барахтающегося в воде дельфина. Когда муж бабушки Саши Базиль вместе с ней приезжал к нам на дачу, мы с ними ходили на море. Дедушка Базиль сажал меня на плечи, и мы догоняли стайки маленьких рыбок, которые быстро подплывали и уплывали от берега.

Людей на пляже было мало. Тогда еще по берегу можно было в воде встретить раков-отшельников, множество крабов, рыбу-иглу, рачков, которые использовались для наживки при ловле бычков. Вспоминаются пахучая скабиоза, растущая на тропинках по берегу моря, незасыхающие цветы бессмертники, букеты которых уже после войны из Одессы так любили увозить туристы, так что эти полевые цветы здесь совсем исчезли.

* * *

Вспоминается другое событие того времени. Однажды мы с бабушкой проснулись на даче, а кушать у нас ничего не было. Бабушка не знала, что ей делать. В нашей дачной местности вблизи Аркадии по краям широких проезжих дорог и улиц люди сажали огороды, в частности, выращивали картошку. Бабушка попросила меня пойти на такую близлежащую дорогу и выкопать пару картофелин. Я согласился, хотя и боялся идти один, без бабушки. Когда я вышел на обочину дороги, где был посажен цветущий картофель, я начал копаться в земле. Вдруг я увидал человека, который явно с угрожающим видом приближался ко мне. Я хотел убежать, но ноги от ужаса буквально приросли к земле, и я не мог даже сдвинуться. Он подошел, схватил меня за руку и грозно сказал: «Идем в полицию». И потащил меня за руку. Тут я заорал во все горло. Мой крик услышала бабушка и прибежала, начав уговаривать этого мужчину, что она ему может показать, что у нас дома

нет ни единой его картошки. Он согласился, а я побежал домой. Человек действительно осмотрел нашу комнату, где мы жили, сделал пару наставлений и ушел. Так окончился этот эпизод. Потом я слышал, что за воровство румыны сажали в клетку и выставляли напоказ людям, потом избивали и даже отрубали руку.

Однажды из окна комнаты в квартире № 20, где мы жили на Екатерининской площади, при оккупации носившей имя Гитлера, я наблюдал довольно неприглядную картину, оставившую след в памяти. Дело в том, что в большом доме № 5, где жили мы с бабушкой, разместился румынский отряд и, как говорили, румынский штаб. У ворот дома в специальной будке всегда дежурил часовой. Из-за этого или по каким-то другим причинам из комнаты, где вначале жила бабушка Таня вместе со мной, нас выселили в симметрично расположенную в другом углу дома, тоже на третьем этаже, равную по метражу комнату. Эта комната были плотно уставлена бабушкиными вещами – старинным буфетом, пианино фирмы «Kaps», небольшим письменным столом и ломберным столиком с тремя зеркалами, у которого ежедневно моя бабушка делала себе завивку и прическу, находясь у зеркала иногда несколько часов. Эта привычка у нее осталась с дореволюционных времен.

Комната была перегорожена очень аккуратно рукотворной ширмой, которую, как говорила бабушка, из двух досок сделал дед Вася, живший в то время в Алма-Ате. За ширмой была спальня, где стояла большая кровать с периной бабушки и моя лежанка с достаточно твердым основанием. Над кроватью бабушки, где вначале я тоже спал, висела вышивка, сделанная руками бабушки, – с русалками и цветущими водяными лилиями, кувшинками, как их называла бабушка. Над кроватью висела маленькая иконка Божьей Матери, а в углу комнаты – икона побольше. В этой импровизированной спальне находился портрет отца бабушки – худощавого пожилого человека с бородой. Видно, на этот портрет уставился пришедший в эту комнату перед нашим переселением немецкий офицер, ища у отца бабушки сходство, возможно, с евреем. Бабушку этот взгляд на портрет, видимо, очень взволновал. Но никаких замечаний ей сделано не было. И в том же порядке вместе с большой картиной художника Капустина, изображающей берег моря, и большой картиной с девушкой с кувшином вся мебель была

перенесена через проходную квартиру по этажу дома, где мне с бабушкой предстояло жить и учиться еще многие годы.

Так вот, как-то в период оккупации, проснувшись и подойдя к окну, выходящему во двор дома, я увидел любопытную картину. Во дворе вокруг не действующего дореволюционного фонтанчика, обнесенного изгородью и небольшой клумбой, где тогда росла обыкновенная трава и вырос куст сирени, выстроились одетые в желтоватую форму цвета спелой кукурузы румынские солдаты. Офицер ходил по двум выстроившимся рядам и что-то рассматривал на каждом солдате, отбирая некоторых из них. Отобранные солдаты, сбившись в небольшую кучку, стояли отдельно от остальных. Потом офицер снял с себя длинный ремень, которым мужчины опоясывают брюки, и что-то приказал стоявшим отдельно солдатам. Они по одному подходили к офицеру, скидывали до земли свои штаны и изгибались, подставляя ягодицы офицеру, который с размаху стегал их по задам, а они воспринимали эту процедуру как должное. Позднее мы с бабушкой догадались, что так проходило в румынской армии наказание за какие-то проступки: не была застегнута пуговица или что-то другое в таком же роде. Я, конечно, испугался этого зрелища, а потом смотрел без особых эмоций. Так ко всему привыкает любой человек.

На религиозные праздники, которые широко отмечались во всех открытых при румынах храмах, нас к себе приглашали бабушка Саша с мужем Василием (Базилем) Лосевым. Оказывается, бабушка Таня с Сашей и Базилем решили меня крестить, что было фактически запрещено в СССР – государстве воинствующих безбожников. Саша и Базиль стали моими крестными. Помню, как мы в церкви на Малой Арнаутской, которую впоследствии мне потом так и не удалось разыскать (церковь, наверное, была уничтожена или перестроена), ходили со свечами вокруг большого сосуда с водой. Была зима, и меня не окунали в холодную воду. Другой раз при посещении моих крестных, на Пасху, мы с Базилем ходили ночью в церковь. По городу люди ходили с цветными фонариками, в качестве которых использовалась свечка, окруженная картоном с вырезами, заклеенными цветной бумагой. Мне было очень интересно и весело. Когда мы с Базилем вернулись к ним домой, я даже вздумал сочинять стихи, в которых были, как

помнится, такие слова: «Как лебедь белыми крылами он вверх ушел – то был Христос». Конечно, в условиях коммунистического эксперимента все это мне пришлось забыть.

Помнится, у бабушки Саши была большая библиотека приложения к журналу «Нива» – сочинения многих русских писателей: Вересаева, Лескова и др. Запомнился один рассказ из этих книг, которые Базилю пришлось использовать для растопки печки. В рассказе говорилось о маленьких друживших друг с другом мальчике и девочке, которые оба болели сердцем. Они сообщали друг другу, когда каждый из них умрет, – на елку или после нее… Недавно, в уже совсем другое время, мне пришлось как бы заново пережить события, описанные, как помнится, Вересаевым.

К зиме 1944 года наступило время, когда была пора идти в школу. Единственным лицеем, расположенным напротив дома, где я жил с бабушкой, был лицей в помещении школы Столярского, где при оккупации размещалась и консерватория. Директором консерватории был дирижер Чернятинский. Когда я пришел с бабушкой на занятия в лицей, я узнал, что первой нашей учительницей была Галина Саввишна Мисько. У нее оба сына были в Красной армии. Она удивительно хорошо умела объяснять совсем малым детям, даже что такое бесконечность. А ведь мы все перенесли бомбежки и жестокие военные действия под Одессой. Мы с Юрой Некрасовым по музыке занимались вместе у одной учительницы, Татьяны Леонидовны Достойновой. Юра Некрасов был назначен дирижером нашего детского шумового оркестра. Я играл на тарелках. У Некрасова, как я потом узнал по архивно-следственному делу, отец имел совсем другую фамилию – Дечев, и был репрессирован НКВД. Из лагерей домой он так и не вернулся.

На уроки в лицей к нам приходил священник, но из его проповедей мне ничего не запомнилось. Преподавательница румынского языка не знала русского, и ее уроки были посмешищем. Я не знал тогда, что и наша учительница по музыке Татьяна Леонидовна Достойнова была жестоко репрессирована, а арестованная вместе с ней двоюродная сестра была расстреляна как дочь русского генерала.

На уроках по музыке я играл одной рукой самые легкие песенки и упражнения для пальцев. Учившийся со мной Юра Некрасов занимался музыкой, безусловно, более успешно. Помню выступ-

ление нашего шумового оркестра на сцене оперного театра на Рождество 1944 года. На сцене возвышалась огромная елка. Была прекрасная музыка оперы композитора Ребикова. Помнится, при выступлении нашего оркестра одна из исполнительниц на сцене пустила лужу. Видно, от испуга.

Нам аплодировал весь зал оперного театра.

В оперном ставились русские оперы, балеты. На сцене блистал баритон Савченко, тенор Топчий, великолепный премьер балета Лесневский. Спектакли театра, помнится, все приезжие военные и публика уже после освобождения Одессы продолжали хвалить. И театр не пустовал никогда.

Мы с бабушкой бывали довольно часто после школы в детском театре, расположенном в бывшем ресторане П. Лещенко в Театральном переулке. Бывали и в оперном театре, один или два раза в русском театре Василия Вронского. Смотрели «Анну Каренину». Я никак не мог понять в спектакле, как все время за окном на сцене «шел снег».

* * *

И вот снова настали грозные времена. Линия фронта уже отступавшей армии фюрера снова приближалась к Одессе. По Преображенской шел непрерывный поток всяких повозок, машин и людей в сторону Николаева. На этот раз бомбили нас уже наши. Мы надеялись, что «свои» бомбы нас не тронут. Но однажды в дом, где жили бабушка Саша и дед Базиль, попала бомба, которая пробила все потолки и полы с четвертого этажа до первого, а жертв вроде не было. Только у двух женщин при пролете этой бомбы на голове сгорели тюлевые платочки. Интересно, что впоследствии бомбивший нас летчик приходил в этот дом и интересовался результатами своего бомбометания. Удивить его было нечем.

Опять наступили голодные дни. Румыны на носилках выносили на площадь страшный на вид, но съедобный хлеб. В день моего рождения 5 апреля к нам прибежала моя мама. Они с отчимом жили на своем кустарном предприятии, которое они намеревались закрыть, поскольку при коммунистическом эксперименте владение частной собственностью считалось преступлением.

Мама мне принесла целую горку всевозможных игрушек. Там был и вращающийся паяц, и машинки. Когда она бежала к нам, думая, что наш дом разбомбили, по дороге увидела не убранный труп женщины. Мама горько плакала, вероятно, от радости, что застала нас с бабушкой невредимыми.

В последние дни при наступлении Красной армии в Одессе был настоящий ад. Взрывы громыхали без всякого перерыва. От этого непрерывного гула взрывов можно было оглохнуть. Только взрывы бомб, которые выпускали наши самолеты, выдавали себя сотрясением почвы. Немногочисленные жильцы нашего дома прятались в квартирке у дворника. Я как-то, будучи в дворницкой, побежал в квартиру к бабушке. Меня охватил ужас, и я кричал и плакал. Бабушка испугалась, что я пробежал через двор, где меня могло убить осколком. К ночи, когда мы все сидели у дворника Алеши, который продолжал работать в течение всего периода оккупации, внезапно все стихло. Выглянув через щель в воротах, мы увидели, как на нашу площадь приехала машина типа бензовоза, и вокруг нее крутились два человека – наверное, немцы из специальных отрядов.

Было впечатление, что вокруг нас дома все были совершенно пустые. Люди у бензовозов начали подготавливать поджог зданий на площади и тянули шланги к зданию напротив нашего дома, через дорогу. Оставшиеся жильцы нашего дома готовились рубить стену, ограждавшую наш двор от двора в Театральном переулке, где жила Янина Поржезинская, моя будущая жена, в то время маленькая и болезненная, как и я. Но я тогда с ней не был знаком. Они с матерью приходили к нашей соседке Марии Константиновне Шепелевич, и та просила меня давать Янине для прочтения детские книжки.

В ночь на 10 апреля 1944 года рубить стену у нашего дома не пришлось. Немцы подожгли только соседский дом и уехали. Ветер был от нас в сторону Сабанеева моста. Искры на ветру летели к соседним домам, и все эти дома, включая крышу школы Столярского, где я еще зимой учился в лицее, тоже загорелись. Наш дом остался цел, и только на чердаке, как говорили, нашли потом около десятка зажигательных бомб, которые не взорвались. Между тем в ту ночь к нам во двор пришел пешком отряд немцев с какими-то знаками на рукавах. Мы боялись их, а они начали

раздавать консервы, которые им было тяжело нести. Консервы давали старикам и детям. Мария Константиновна, наша соседка, получила какой-то компот, а мне достался компот из абрикосов, показавшийся мне удивительно вкусным.

В городе воцарилась тишина, но площадь продолжала гореть. Наш дом остался цел.

На другое утро, 10 апреля, мы вышли на нашу площадь. Со стороны Сабанеева моста часов в десять утра появились наши танки. Лица танкистов были обветренные и даже загоревшие. Они постояли минут десять, мы их приветствовали. Потом они поехали дальше, а мы вернулись в наш дом.

Предстояли нелегкие годы после войны, которые для нас, жителей освобожденной Одессы, уже наступили, хотя война еще продолжалась. Жить пришлось впроголодь. Нас, бывших учеников лицея, зачислили в школу Столярского осенью 1945-го года и поместили сначала в здание музучилища, а потом на улицу Толстого, на четвертый этаж углового здания, построенного при советской власти из камней разрушенного собора. В этом здании разместились целых четыре школы. Первый класс при румынах нам не засчитали, и пришлось с нашей Галиной Саввишной Мисько учиться второй год в первом классе. Но, думаю, что обучение под руководством Галины Саввишны нам всем принесло только пользу. До сих пор помню предварительные планы решения задач по арифметике, записи истин, которые могла сообщить только учительница младших классов. Она говорила нам: «Самого большого числа нет. Если к «самому большому числу» прибавить единицу, то оно увеличится на единицу». Помню разные правила на определение числа дней в месяце, всевозможные исключения из грамматических правил и многое другое. Галина Саввишна, у которой внезапно тогда доктора по ошибке определили саркому легкого, для всех нас осталась любимой учительницей навсегда.

Виталий Оплачко

К 100-летию рейса парохода «Руслан»

Как велико должно быть их отчаянье,
Как огненна их безнадежность, чтобы они решили
Оставить страну, в которой пустили глубокие корни
Клевета и наветы… Погромы и пытки…
Истребление имущества и оскорбление святынь.

К. Бархин. Одесские новости, 12.11.1919

В этом году холода наступили рано. Море парило. Стрелки часов на башне возле Нового мола застыли ровно на трех. Их неподвижная отрешенность была особенно странной среди сумятицы, царившей на причале. Посадка была окончена еще третьего дня, но по неизвестным причинам капитан порта не давал разрешение на отход, и только сегодня все разрешилось. Редкая цепь солдат ВСЮР* и таможенных стражников, стоявших вдоль ограды у линии причала, отделяет отъезжавших от огромной толпы. Люди все прибывают, кажется, на причале собрался весь город. Цветы в руках, слезы и слова прощанья с теми, кто решился навсегда покинуть Россию. Вдруг начинается дождь. На палубе группа сионистов в канотье, в котелках с бело-голубыми ленточками затягивает «Ха-Тикву»**. Многотысячная толпа на причале подхватывает гимн:

Еще не угасла надежда,
Надежда двух тысяч лет–

* Вооруженные силы юга России под командованием генерала А.И. Деникина.
** Гимн «Надежда».

Быть свободным народом
На нашей земле,
Земле Сиона и Иерусалима.

Доктор Клаузнер, придерживая пенсне, поднимается на спардек. Над ним взвивается бело-голубой флаг. От имени отъезжающих он произносит речь. Его почти не слышно из-за гула голосов. Неожиданно прибывает группа хасидов из Прилук. Крытые атласом бекеши, плоские шапки «чернобл», отороченные мехом куницы, черные шали с золотыми нитями их жен, рыжие пейсы детей выделяют их из толпы преимущественно городского люда. Протискиваются к трапу, седобородый глава семьи протягивает бумагу – разрешение. Небольшая заминка, вздох облегчения – пропустили! Последним поднимают на носилках раненного бойца еврейской самообороны. Кто-то передает вдогонку его фуражку с бело-голубым околышем. Аплодисменты провожающих. Напряжение и на палубе, и в толпе на причале нарастает – слишком долго ждали этого момента. Наконец убирают сходни, солдаты

помогают отдать швартовы, и под долгий тоскливый прощальный гудок пароход «Руслан» отходит от причала.

1.

Ранней весной 1919 года около 150 жителей Палестины, главным образом из Цфата и Тверии, спасаясь от преследований турецких властей, добрались через Сирию и Константинополь в Одессу. И попали из огня да в полымя. Об их прибытии стало известно только через пару дней, и семьи с детьми провели это время на морском берегу. Затем местные евреи перевезли их с пляжа на Большом Фонтане в пустующие склады, организовали раздачу продовольствия, денег и одежды. Но жить так постоянно, без работы и средств к существованию, в стране, раздираемой гражданской войной, было невозможно.

Палестина освобождена британскими войсками от турецкого владычества, опубликована «Декларация Бальфура» о благожелательном отношении правительства ее величества к созданию национального очага еврейского народа на территории подмандатной Палестины. А в приютившей их стране сменяющие друг друга власти, разгул бандитизма, грабежи и нехватка продовольствия. И мысли о возвращении на родину овладевают беженцами. Кроме них в городе было много людей, приехавших в Одессу по торговым делам или навещавших родственников и застрявших здесь в связи с прекращением регулярного пароходного сообщения.

Очень скоро в городе был создан «Комитет по делам беженцев из Эрец-Исраэля» во главе с Давидом Хахамовичем и его заместителем Моше Гольдиным-Захави. У комитета возникла идея зафрахтовать пароход и отправить на нем в Палестину не только реальных беженцев, но и всех желающих эмигрировать, в том числе молодежь из организации «Ге-Халуц»*. Были отпечатаны на трех языках – русском, иврите и французском – удостоверения беженцев следующего содержания: «Данное удостоверение выдано предъявителю сего в том, что он – беженец из Эрец-Исраэль,

* Ге-Халуц (пионер, первопроходец) – молодежные сионистские кружки, ставившие своей целью подготовку юношей и девушек к поселению в Палестине, приобретению рабочих профессий.

из города (поселения)… и зарегистрирован в «Палестинском комитете»… и в «Комитете беженцев» среди подлежащих возвращению домой». Этот документ заверялся подписями председателей Комитета беженцев и Одесского палестинского комитета**. Но для получения подписи последнего требовалось сдать нечто вроде экзамена – продемонстрировать знание географии и обычаев «родины-Палестины». Немедленно возникли курсы палестиноведения, на которых псевдобеженцы получали пакет необходимых сведений.

В конце 1918 года на Версальской мирной конференции, помимо прочего, решался вопрос о переселении евреев в Палестину. В работе конференции приняли участие ряд видных сионистских деятелей, в том числе руководитель Палестинского комитета Менахем Усышкин. Делегация получала регулярную информацию

** Палестинский комитет – российская организация, способствовавшая эмиграции евреев в Палестину.

ВААДЪ
БѢЖЕНЦЕВЪ ПАЛЕСТИНЫ
ОДЕССА
№ 191

УДОСТОВѢРЕНІЕ.

Предъявитель сего Кахум Хесъ бѣженецъ Палестины зарегистрированъ въ Палестинскомъ Ком. за № въ Плѣн-бѣж. за № и состоитъ на учетѣ за № 191 въ Ваадѣ для немедленной эвакуаціи на родину. Документы хранятся въ канцеляріи Ваада.

Предсѣдатель
Секретарь

LE VAAD
des refugie de Palestine
pour la névacuation pour la patrie.
ODESSA
Septembre le 1 jour 1919
№

CERTIFICAT.

Le porteur du certificat refugié de Palestine Hess de la ville Jaffa est enregistré dans le comité de Palestine № dans le comité des refugiés et des prisonniers № et dans le Vaad № pour être évacué immédiatement pour la patrie. Ses documents sont gardés dans le bureau du Vaad.

Le président
Le secrétaire

о положении дел в России и, в частности, в Одессе. В октябре 1919 года по просьбе делегатов в Одессу был направлен специальный консул, гражданин Великобритании, еврей по национальности. У него на приеме побывали представители еврейской общины города и заявили, что в Одессе собралось более 500 палестинских беженцев, испытывающих ужасные лишения и желающих немедленно вернуться на родину. Консул вполне сочувственно отнесся к просьбе и обещал всяческое содействие. К счастью, в одесском порту находилось несколько судов, возвращенных командованием Белой армии бывшим владельцам. И один из них, пароход «Руслан», принадлежавший компании «Российское транспортное и страховое общество» («Ространс»), был зафрахтован для перевозки беженцев из Одессы в Яффо.

Однако посадка пассажиров и отход судна все время откладывались. Газеты называли разные причины задержки и новые даты отхода. Сначала это был якобы запрет капитана порта из-за возможной перегрузки и нехватки имевшихся на судне спасательных средств, потом понадобился «небольшой ремонт». Вероятно, причина заключалась главным образом в отсутствии необходимой коммуникации между штабом ВСЮР и представителями английского правительства.

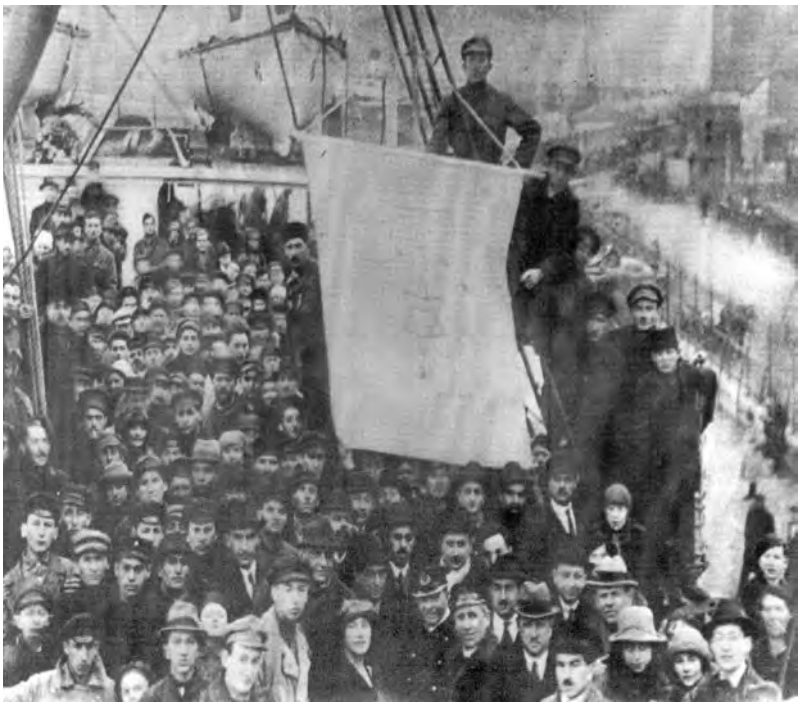
Нигде в воспоминаниях не упоминается о противодействии отправке беженцев со стороны местных властей. Все они, вне зависимости от цвета флагов, были рады избавиться от лишних жителей в трудные времена. С письмом от английского консула глава одесской еврейской общины доктор М.С. Шварцман и представитель

беженцев Л.В. Роках обратились к командующему войсками Новороссийской области генералу Н.Н. Шиллингу. Их просьба была подкреплена звонком командующего генерала А.И. Деникина, информированного представителями Антанты о желательности срочно отправить еврейских беженцев домой, в Палестину. К этому времени смогли получить разрешение на выезд в Палестину около 650 человек. Причем среди них были не только жители города. Приехали евреи изо всей Украины и даже Польши. Пробрались через фронты солдаты и офицеры из Первого ударного еврейского куреня Армии ЗУНР*, уходили командиры и бойцы Еврейской самообороны. В дальнейшем именно из них составились отряды Хаганы – прообраза Армии обороны Израиля.

2.

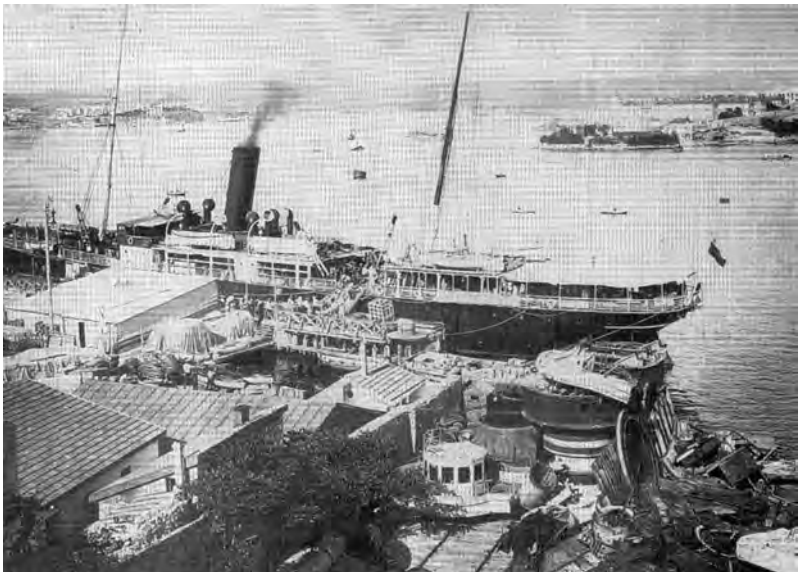
Если вы наберете в поисковике слова «п/х Руслан», то почти все ссылки дают текст такого содержания: «Руслан отплыл из Одессы и после пяти недель плавания, 19 декабря 1919 года, на третий день праздника Ханука, стал на якорь в порту Яффы». Пять недель? Почти невероятная продолжительность рейса для судна, имевшего скорость 12 узлов. В путеводителях для право-

* Регулярная армия Западно-Украинской Народной Республики.



славных паломников по Святой земле маршрут по круговой александрийской линии из Одессы с заходами в Константинополь, Смирну, остров Хиос, Мерсин – Латтакия – Триполи – Бейрут – Яффа и далее Порт-Саид и Александрия занимал 12-14 дней в одном направлении. Ропитовские суда, стоявшие на этой линии, «Одесса», «Россия» и др., имели скорость, как и пароход «Руслан», не более 12 узлов.

День прихода на рейд Яффы отмечен во всех воспоминаниях как день зажжения третьей свечи, то есть на 27 день месяца кислев 5680 года. И это действительно совпадает с 19 декабря по григорианскому календарю на 1919 год. Хуже обстоят дела с датой отхода из Одессы. Почти как с Октябрьской революцией, которую отмечали в ноябре.



«Еврейская мысль»: «Отъезд палестинских беженцев. В четверг, 14 ноября с. г., в 5 с пол. час. веч. с Нового мола отплыл пароход «Руслан», увезший палестинских беженцев. Уехало в Палестину 644 человека, томившихся в ожидании отъезда в Одессе долгие месяцы… Пароход отчалил при раздававшемся из тысяч уст пении «Ха-Тиква»… При отходе парохода был поднят бело-голубой флаг».

Там же: «Палестинские беженцы. От выехавших из Одессы палестинских беженцев получено сообщение. Палестинцы благополучно прибыли в Константинополь. На «Руслане» по выходе из Одессы была устроена маленькая дешевая столовая, причем беднейшие пассажиры получали горячую пищу бесплатно. В К-ь эмигранты были встречены представителями палестинского информационного бюро и местного еврейского населения».

«Вечерние одесские новости» 14 ноября 1919 года: «На палубе громадного парохода «Руслан», отходящего сегодня в Палестину, суета…».

«Одесские новости», 15/28 ноября: «Отъезд палестинских беженцев наконец состоялся 14/27 нояб. Всего на пароходе отбыло 644 пассажира. Посадка была произведена еще третьего дня».

Чехарда с датами вполне понятна: с 1 марта 1918 года в Украине начал действовать новый стиль (григорианский календарь), отличный от старого на 13 дней. Но одним из первых распоряжений коменданта города, когда в августе 1919 года Одессу заняли белые (ВСЮР), было требование перевести летоисчисление снова на старый стиль. Поэтому путали и газетчики, зачастую выставляя две даты – старого стиля и в скобках нового, и позднейшие исследователи, для которых долгое путешествие в пять недель добавляло драматизма всей этой истории. Полагаю, определенно можно считать, что рейс парохода «Руслан» длился 22 дня.

3.

В «Кратком путеводителе по Палестине для туристов евреев», изданном в городе Вильне в 1911 году, его составитель Сай Фрумкин писал: «Удобнее всего попасть в Яффу пароходом из Одессы, который отбывает каждую субботу и плывет туда через Константинополь, Смирну и Бейрут. Стоимость путешествия в первом классе– 74 руб. 95 копеек (включая питание), в третьем классе, на палубе, – 55 руб.45 копеек (без питания). Пассажирские суда в портах Хайфа или Яффа становятся на якорь на расстоянии приблизительно версты (1,06 км) от берега. Пассажиры доставляются на берег лодками».

Именно так и произошло. Пароход «Руслан» прибыл на рейд Яффо и стал на якорь при относительно спокойной погоде. Поэтому часть пассажиров и багажа лодочники успели перевезти на берег, где их встречали под дождем с зонтами и ханукальными свечами местные жители и представители Сионистской комиссии во главе с Менахемом Усышкиным. Было подано угощение, произносились приветственные речи. «От суеты и возбуждения упал замертво один из пассажиров, не по своей воле ставший первой жертвой алии на «Руслане» (Журнал «Кафедра», апрель 2003 г. Автор – Гур Альрон).

Из-за разыгравшегося шторма капитан парохода «Руслан» был вынужден сняться с якоря и уйти в Порт-Саид с оставшейся частью пассажиров. Через пару дней погода улучшилась, и судно вновь подошло к Яффо. Подоспевшие гребные лодки перевезли отчаявшихся пассажиров на желанный берег Эрец-Исраэль. Долгие дни морского перехода закончились.

В распоряжении исследователей тех событий очень мало свидетельств очевидцев, некоторые из них (воспоминание доктора Клаузнера «Дорогой возрождения и освобождения», книга А. Рефаэли (Ценципера) написаны на иврите и недоступны для русскоязычного читателя. Художественная литература представлена двумя романами: «Тысяча сердец» Дана Цалка и «Свидетельство» Йохи Брандес. Достоверность описания в этих книгах вызывает много вопросов, а приведенные факты не внушают доверия. Так в первой из них Цалка пишет: «В действительности «Руслан» был убогим грузовым суденышком. 4 каюты на корме, каюта красноглазого капитана, каюта его заместителей – изредка трезвого лоцмана (?) и вечно пьяного механика, каюта господина Усышкина и каюта богатого торговца Йекутиэля Шубова и его толстой жены. Помимо этих кают на «Руслане» не было ни единой кровати». Ладно с нетрезвым портовым лоцманом, оказавшимся в штате экипажа. Но вот точно известно, что Усышкин отплыл с семьей на французском корабле «Амазон» еще 8 января 1919 года.

Не жалеет темной краски и Брандес: «Великий корабль» «Руслан», открывший третью алию в Эрец-Исраэль – был просто поломанным корытом. Мы заходили в Турцию и Грецию, но отнюдь не для того, чтобы полюбоваться красотами, а чтоб помыться…». Действительно, путешествие для такого числа пассажиров и отсутствие элементарных гигиенических удобств – четыре деревянных туалета на палубе и ограниченный запас пресной воды – не выглядели роскошным плаванием. Особенно для тех, кто описывал мучительные тяготы по прошествии десятков лет, оценивая их с точки зрения современного человека, живущего в комфорте.

«Руслан» не был круизным лайнером. Небольшое судно длиной всего 78 метров и шириной по миделю 10,8 м. При постройке

в Бельгии (завод «Cockerill», город Hoboken) заказчик, «Российское транспортное и страховое общество», предусмотрел 60 мест в каютах первого и второго класса и 459 для пассажиров третьего класса, то есть на палубе. Такого типа грузопассажирские суда были вполне типичны на Средиземноморской линии.

В 1914 году с начала Первой мировой войны пароход «Руслан» был мобилизован и включен в состав военного флота России на Черном море в качестве военного транспорта под номером 95. Вполне вероятно, были произведены некоторые изменение в судовой архитектуре, в том числе обустройство нар на твиндеках во всех трюмах. Для военной операции по высадке десанта на побережье близ входа в Босфор, которую союзники требовали от России, было необходимо мобилизовать все грузопассажирские суда частных компаний и соответственно переоборудовать их для перевозки пехоты. В 1918 году после недолгого пребывания у властей советских, немецких, во флоте «Украинской державы» гетмана Скоропадского пароход «Руслан» стал штабным кораблем командующего Транспортной флотилии белых контр-адмирала А.А. Хоменко. Скорее всего, для размещения штаба понадобились дополнительное переоборудование кают и кубриков.

Выходившая в Одессе газета «Еврейская мысль» до своего закрытия советами в 1920 году публиковала в нескольких номерах впечатления одного из пассажиров «Руслана», Наума Хесса под названием «Письма с пути». Он, в отличие от позднейших романистов, дает детальную характеристику условий на судне, настроения пассажиров. Вызывает восхищение способность к самоорганизации нескольких сотен прежде незнакомых друг с другом людей:

«Целуются, поздравляют. Открывают бутылки вина, пьют за светлое будущее, за счастливую поездку, за оставшихся. Чувство грусти от оставления близких, Одессы вытесняется буйной, вырывающейся наружу радостью. Мы все-таки выехали и едем в Палестину. Что еще нужно? Нет нужды, что начинается качка. Веселье, крики радости, тосты, пение и танцы. В кают-компании второго класса молодежь празднует отъезд в Палестину. «Ха-Тиква» сменяет палестинские песни. Радостно и торжественно».

«…Сконструирована наша «республика» следующим образом. Высшей дискреционной властью среди беженцев является комитет. Председатель его доктор И.Л. Клаузнер. При комитете несколько комиссий – медицинская из нескольких врачей и сестер, багажно-хозяйственная, контрольная над кухней. Имеется кошерная кухня, которой ведает частное лицо, но она находится под контролем судового комитета. Есть аптека, дежурные врачи и сестры, и оказывается постоянная медицинская помощь. В нашем распоряжении 4 помещения: 2-й класс и 3-й класс, и 2 полукубрика – верхние части трюмов. В каждом помещении свой ко-

мендант, следящий за порядком у себя… На пароходе довольно тесно. Едет 650 человек, уместить же «Руслан» может в расчете на столь продолжительное путешествие не более 400-500 человек. Приходится тесниться, заполнены все свободные уголки, все проходы, всякое место, где можно прилечь, уложить свои вещи».

Конечно, кроме кают и кубриков использовались и твиндечные помещения, никто не оставался на открытой палубе в штормовом зимнем море.

4.

Недостаток припасенной провизии некоторым образом объясняет не только продолжительную стоянку в Константинополе, но и заход в Пирей. В своей записке начальник отдела эвакуации при штабе ВСЮР в Одессе просит министерство промышленности и торговли разрешить «650 беженцам из Палестины, отправляющимся на родину на пароходе «Российского общества», беспрепятственный вывоз из гор. Одессы провизии на 10 (!) дней и багажа, состоящего из носильного платья, домашнего имущества и ручного инструмента». В своем третьем письме тот же Наум Хесс сообщает: «Благодаря энергии д-ра Райснера, председателя ашкеназийской общины и председателя Американского комитета помощи эмигрантам, нам было доставлено 900 кило хлеба, маслины, сыр, сахар». Эта провизия была получена накануне отхода из Константинополя, и поэтому без особых роскошеств ее должно было бы хватить на два-три дня перехода. Тем не менее в воспоминаниях д-ра Клаузнера и других упоминается заход в Пирей.

Однако заход в порты Греции с большим отклонением от прямого маршрута совсем не предусматривался. Более того, перед отходом военный командир порта Константинополь англичанин Эллис дал формальное заверение судовому комитету, что пароход «Руслан» отправится в Яффу без каких бы то ни было остановок по дороге, при этом «вы должны следить за тем, чтобы капитан судна выполнил это распоряжение, в противном случае вы должны сообщить об этом английским властям первого же порта». Поэтому о причинах захода в Пирей мы можем только гадать. Встречающиеся

в мемуаристике упоминания, что на пароходе «Руслан» кроме беженцев-евреев и их багажа было погружено некоторое количество пшеницы, которую капитан якобы рассчитывал продать по дороге, вызывает большое сомнение. Ситуация с продовольствием в Одессе того времени была до предела напряженной, и вряд ли командование ВСЮР позволило бы владельцам загрузить судно пшеницей и получить дополнительный барыш к тому огромному фрахту, который они потребовали за перевозку на условиях «люмпсум» пассажиров и их багажа. В очень хорошо документированной статье на русском языке историка Ури Миллера приводится такой текст фрахтового договора между «Российским транспортным и страховым обществом» и Комитетом палестинских беженцев: «Настоящим сообщаем, что, согласно состоявшемуся между нами и Вами соглашению, мы приняли на себя перевозку шестисот пятидесяти палестинских беженцев на одном из наших пароходов от порта Одесса до порта Яффо, причем за означенную перевозку пассажиров и их багажа в количестве шести тысяч пудов Вы имеете внести в кассу нашего общества 3.000.000 (три миллиона рублей) до отправления парохода».

К сожалению, мы можем только предполагать, какими рублями хотели получить фрахт судовладельцы. На юге Украины наиболее востребованной валютой в 1919 году был бумажный романовский рубль, выпущенный еще до февральской революции. Его можно было свободно обменять за границей на иностранную валюту, он котировался на иностранных биржах и был основным денежным знаком для внешней торговли. За один рубль золотом давали 10 бумажных романовских, на черном рынке цена доходила до 16-17 рублей. Керенки и думки (денежные знаки, выпущенные Временным правительством) котировались на 15-20% ниже номинала. Еще хуже котировались деникинские «колокольчики». Для мелкой торговли использовались так называемые «разменные билеты города Одессы». Не думаю, что контора «Ространс» могла бы согласиться на альтернативу романовским рублям. В то время в России за один американский доллар давали около 72,5 романовских рубля, то есть сумма фрахта в долларах составляла более 41000. Довольно сложно дать эквивалент этой суммы в современных долларах из-за того, что котировки менялись.

Получено отъ Г. Хесса Наума
по порученію д-ра З. Г. Темкина и
и за счетъ " Л. В. Рокаха
четыре тысячи двѣсти рублей
въ чемъ и даны сія квитанціи.
Одесса, 31го Октября 1919.
Руб. 4200

Но вот информация, приводимая в отношении помощи, оказанной «Джойнтом» европейским евреям за годы Первой мировой войны, дает цифру в 16,4 млн долларов и добавляет, что это составляет примерно 236 млн современных долларов. Принимая такой условный коэффициент, сумма, которую запросили судовладельцы, – 589000 долларов, кажется на сегодняшний день совершенно невероятной. Для судна подобного тоннажа фрахтовая ставка вряд ли превысила бы 100-120 тысяч долларов. Естественно, собрать такую сумму было непросто. Среди беженцев было значительное число неимущих или потерявших деньги в результате погромов и грабежей. Для такого случая производился сбор пожертвований на того или иного человека или даже на целую семью. Так, например, на возвращение Рахель Блувштейн, ставшей впоследствии знаменитым народным поэтом Израиля, деньги были собраны на благотворительном вечере в одесской синагоге. Тем не менее собрать такую сумму еврейская община города не смогла бы без помощи европейских и американских сионистских организаций.

Израильская историография в отношении этого рейса парохода «Руслан» и его пассажиров отражает внутренние политические противоречия в оценках значимости этого события для будущего страны. Так для сионистов и левых партий пароход «Руслан» открыл новую страницу в истории возвращения –

третью алию. Его торжественно сравнивают с кораблем английских пилигримов «Мэйфлауэром». Другие, в числе которых упоминавшийся историк Гур Альрои, сомневаются в обоснованности столь трепетного отношения к пассажирам и рейсу «Руслана» и считают, что на нем ехали не столько халуцим, мечтавшие возродить древнюю родину, сколько эмигранты, бежавшие из разоренной гражданской войной России.

Как считает Ури Миллер: «Это событие совершенно не нуждается в привязывания к той или иной группе. Поскольку обладает самостоятельной, непреходящей исторической енностью». Этот Ноев ковчег вмещал такое количество замечательных ученых, философов и врачей, художников и поэтов, что перечень их имен занял бы несколько страниц. Их прибытие в Эрец-Исраэль, как благотворный дождь, оплодотворило землю полудикой Палестины и во многом определило будущее Государства Израиль.

Судьба легендарных кораблей всегда печальна. В 1623 году после смерти капитана Кристофера Джонса галеон «Мэйфлауэр» был разобран и продан на дрова в лондонских доках. Владельцы парохода «Руслан» в 1921 году продали его английской фирме, и под именем «Minadora», затем «Virginia May» судно продолжало бороздить моря и океаны вплоть до окончания Второй мировой войны. Затем его покупает пакистанская компания, и под именем «Pakistan Progress» в 1953 году он совершает свой последний рейс в Гонконг, где его разделывают на металлолом.

В честь подвига моряков и пилигримов «Мэйфлауэра» сооружены монументы в Великобритании и США. Ничто, кроме названия маленького переулка в Тель-Авиве, не напоминает о рейсе «Руслана». Хотелось бы, чтоб на Новом молу в одесском порту был сооружен мемориал судну и его пассажирам с короткой надписью: «Отсюда на пароходе «Руслан» они отправились через моря искать свободу и счастье в Землю отцов».

Анатолий Горбатюк

«Исаак, слушай сюда!», или Ностальгическое путешествие в дождливое лето 1963 года

Летом 1963 года состоялась заключительная гастрольная поездка Одесского молодежного эстрадного ансамбля (ОМЭА). С тех пор прошло ровно 56 лет (эти строки пишутся в 2019 году), по понятным и неотвратимым причинам значительная часть героев этого повествования в разное время отошла в лучший мир, и Автору (так я себя обычно называю) будет ой как нелегко самостоятельно выудить из памяти события, связанные с этими гастролями, и расположить их в правильном, с точки зрения хронологии, порядке.

Впрочем, у меня есть замечательный помощник. Он не пытается лезть с глупыми советами и терпеливо ждет, когда я его о чем-либо спрошу. Ответы он выдает безошибочно и мгновенно. Если таковых он не имеет – сразу же в этом признается: мол, на меня здесь не рассчитывай. Не буду тебя, Читатель, интриговать и сразу назову этого удивительного помощника: сохранившаяся старая гастрольная афиша…

Конечно, в этом приблизительно месте нетерпеливый Читатель обязательно спросит: «А что это за эстрадный ансамбль такой, когда он появился, сколько просуществовал?..». Мне кажется, Читатель вправе немедленно получить ответы на все интересующие его вопросы. А потому – немного истории*…

…Безусловно, затеянная Н.С. Хрущевым «оттепель» не могла не коснуться и музыкальной сферы. Начиная с середины 1950-х гг., то есть сразу после смерти главного тирана И.В. Сталина, Советский Союз начали интенсивно посещать гастролировавшие по Европе джазовые коллективы. И хоть по-прежнему джаз являлся наполовину

* Здесь я далее Автор будет периодически использовать как первоисточник его же книгу «Хоть джаз и не родился в Одессе…», выдержавшую три издания.

запрещенным музыкальным продуктом с прилепленным еще в 1930-х гг. ярлыком от великого пролетарского писателя Максима Горького («в девичестве» Алексей Пешков) «Джаз – музыка толстых», эта «толстая музыка», несмотря на истерики партийных боссов, прочно входила в быт советских людей. А пропагандистские стишки типа «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст» ничего, кроме саркастических улыбок, уже у трудящихся не вызывали.

Очень быстро («телеграфно» – так, кажется?) расскажу о посетивших Одессу в указанный отрезок времени джазовых коллективах – зарубежных и отечественных.

Первая ласточка – приезд в Одессу после ссылки зимой 1954 года оркестра под управлением Эдди Рознера. Как его встретила Одесса! Оркестр был великолепен. Большой музыкант Рознер пополнил свой «ветеранский» состав (Цейтлин, Маркович и др.) талантливой молодежью, среди которой особенно ярко сверкали новые звезды джаза – барабанщик Борис Матвеев и певица Нина Дорда (вся Одесса запела тогда вслед за Дордой «Моя родная Индонезия»). Да, это был выдающийся коллектив! Но сыграй Рознер сотоварищи в десять раз слабее – все равно прием был бы таким же: одесские любители джаза, одесские музыканты хорошо представляли себе, через что прошел легендарный «предводитель джаза» и его друзья, какие муки они испытали и какое мужество надо было иметь, чтобы как ни в чем не бывало снова после ссылки появиться на сцене, чтобы снова на фоне возрожденного оркестра зазвучала серебряная труба Рознера…

А как всколыхнулась джазовая жизнь Одессы с приездом знаменитого «Голубого джаза» из Польши! Сколько трубачей – наших земляков – сразу же взяло на вооружение немеркнущий «Вишневый сад»!.. Одним из наиболее ярких исполнителей этой пьесы (и не только в Одессе) был мой друг Аркадий Астафьев…

…Летом 1956 года, впервые после долгих лет изоляции, в Одессу пришел красивейший пассажирский теплоход «Бретань» с французскими туристами на борту. Как совершенно точно вспоминал впоследствии тонко разбиравшийся в джазовой музыке Юрий Зюкин*, рассыпавшиеся по городу французы продемонст-

* Мой друг Юрий Петрович Зюкин, профессор Одесского инженерно-строительного института, безвременно скончался на 72-м году жизни летом 2010 г.

рировали страстное желание познакомиться с одесситами, узнать, как живет этот прекрасный приморский город, о котором они знали очень мало. Никакое вмешательство КГБ не могло остановить стихийный обмен сувенирами на Приморском бульваре и Дерибасовской, на Пушкинской и в парке им. Шевченко… Все были ошеломлены: без знания языка (за очень редким исключением) люди общались, прекрасно понимая друг друга и получая от общения истинное наслаждение. Через год, в 1957 году, такая же ситуация повторится в Москве, на Всемирном фестивале молодежи и студентов…

Кстати, о парке имени Т.Г. Шевченко. Здесь одесситов ожидал главный сюрприз: возле центрального входа в стадион, в старенькой (еще довоенной) эстрадной «ракушке» состоялся «феерический», как утверждает Зюкин, концерт силами судового оркестра теплохода «Бретань». Многотысячная толпа благодарных одесских любителей музыки, рассевшаяся кто на скамьях, кто на бордюре стоящего напротив «Александрийского столпа», а большая часть – прямо на асфальте, жадно впитывала в себя волшебные звуки джаза.

Так называемый «шведский» состав, состоящий из профессиональных музыкантов, просто здорово отыграл свой репертуар, куда входили популярные джазовые мелодии, с трудом доходящие до советских любителей джаза от «Голоса Америки» через «глушилки» или благодаря «музыке на костях» – кустарным образом записанным на рентгеновских снимках популярным джазовым пьесам. Концерт, в котором бисировался каждый номер, затянулся далеко за полночь. Многие, очень многие присутствовавшие на нем одесские музыканты получили прекрасный мастер-класс.

Как не вспомнить оркестр из «братской» в то время Румынии под управлением Малагамбы (делавший в то время первые робкие шаги в джазовой музыке одесский барабанщик Сэм Казацкер получил от своего учителя Бориса Шпирта почетную кличку Малагамба – в честь замечательного румынского джазмена). Концерты этого коллектива, проходившие летом 1958 года в Зеленом театре, собирали под его стенами огромное количество поклонников.

А удивительный – и по составу, и по звучанию – джаз-квартет Густава Брома из Чехословакии (саксофон-баритон, труба, контрабас, ударные)?

А концерты оригинального оркестра «Электрокорд», где звучали малознакомые нам электроинструменты в сочетании с традиционными духовыми инструментами?..

Однако, как это ни странно прозвучит, наибольшее впечатление произвел на одесситов приезд самодеятельного коллектива. Представители моего поколения вспомнят сами, может быть, о ком идет речь. Людям помоложе подскажу: в Одессу с длительными гастролями прибыл симфоджаз из Ленинграда – ЛЭМА (Ленинградский эстрадный молодежный ансамбль) под руководством Анатолия Бадхена.

Во-первых, всех нас, до предела заполнивших Зеленый театр в парке им. Шевченко, где выступал этот коллектив, потряс размах: раскрывается занавес, а на сцене – оркестр из 50 (!) музыкантов, мужской и женский вокальные квартеты, большая танцевальная группа, группа солистов… Во-вторых, мы впервые увидели воочию, что при профессиональном отношении к музыке (в частности, к джазу) самодеятельность поднимается на столь высокую ступень, что сразу же забываешь: для тебя играют и поют будущие врачи, строители, журналисты…

Впрочем, многие из участников ЛЭМА вскоре перешли в профессиональные коллективы, их имена узнала вся бывшая держава (Колкер, Суханова, Волков и др.). И, в-третьих, что, очевидно, самое главное и в нашем повествовании: приезд ЛЭМА стал толчком к созданию Одесского молодежного эстрадного ансамбля. Для этого понадобились: время (два года), место (город Одесса), энтузиасты (очень большая группа), во главе которых стоял Евгений Болотинский, и, конечно же, меценаты (правление Дворца культуры им. Леси Украинки во главе с незабвенным Генрихом Григорьевичем Пинским). А кроме того, прогрессивное руководство одесского комсомола (большая редкость!): первый секретарь обкома Владимир Бондарчук, первый секретарь горкома Николай Бабин, секретарь горкома Тамара Холонгот (Сазонова), нашедшее поддержку у секретаря обкома партии мудрой Лидии Всеволодны Гладкой…

Прошу обратить внимание на следующее: создание симфоджаза в Одессе вовсе не было слепым копированием ленинградского коллектива. Была использована идея, касающаяся формы, которую успешно наполнили одесским содержанием, в котором на фоне музыки одесских композиторов звучал добротный интеллигентный, чисто одесский юмор.

И нужно, наконец, рассказать о главном энтузиасте задуманного в Одессе – Евгении Наумовиче Болотинском. Скажем сразу: будучи старше основной группы задействованных двадцатилетних музыкантов на «целых» десять лет, Болотинский как непререкаемый авторитет в вопросах музыкальной культуры был в полном смысле «своим парнем», разрешал называть себя Женей, на «ты»… Он начинал свою трудовую музыкальную деятельность еще юношей в джаз-оркестре кинотеатра «Бомонд» под управлением Рудольфа Свирского в 1946 году. В середине 1950-х Евгений Наумович, выпускник Одесской консерватории, кларнетист, руководил оркестром кинотеатра «Серп и молот». Для нас тогда было загадкой – как самый рядовой исполнитель, играющий партию *второго* кларнета в «своем» же оркестре, может совершенно без всякого нажима руководить довольно крепкими, известными не только в Одессе музыкантами? Почему именно к нему, Жене, так тянется молодежь?

Параллельно с работой в оркестре кинотеатра Болотинский начал руководить самодеятельным оркестром Одесского института инженеров Морского Флота – еще будучи студентом консерватории.

Напомню, что в те годы в одесских учебных заведениях существовало несколько довольно крепких оркестров с составом, близким к «биг-бенду», – медная группа из 6-7 человек, группа саксофонов из 4-5 музыкантов и т. д. Руководили ими подвижники частично вышедшего из запрета джаза – Петр Семенович Розенкер, Евгений Федорович Танцюра, Петр Иванович Киселев, Юрий Николаевич Степанов, Альберт Михайлович Шиндеровский в содружестве с Эдиком Мелик-Мурадяном…

С приходом в оркестр «Водного» Жени Болотинского в одесском джазе сразу же появился безоговорочный лидер на долгие годы. Да, далеко не все звучало чисто, сказывался неровный профессиональный уровень музыкантов (здесь играли и быстро

растущие молодые «профессионалы», в будущем ставшие известными в огромной тогда стране, – Виктор Грицаев, Виктор Буздес, Аркадий Астафьев, и самодеятельные исполнители из числа студентов). Но этот неповторимый запал, энергия и желание сыграть, «как Бесси», творили чудеса!..

В году, дай Бог памяти, 1957 с этим оркестром случилась беда: коллектив потерял бдительность. Это произошло в славном городе Николаеве, куда оркестр «Водного» был отправлен в поощрительную командировку одесским горкомом комсомола. Оркестр очень успешно выступил перед молодежью Николаева, аплодисменты были такими бурными и продолжительными, так ярко демонстрирующими дружеские чувства к одесскому студенческому оркестру, что, к радости оркестрантов, Болотинский решил сыграть – для друзей! – «Ночь в Гарлеме». По большому счету, ничего в этой джазовой пьесе особенного не было, и все бы осталось незамеченным, если бы конферансье, как это обычно делалось в то стремное время, прочитал небольшой доклад о рабской жизни черного населения США, а тут – расслабился (мол, чего друзьям голову морочить?) и просто объявил: «Американская джазовая пьеса «Ночь в Гарлеме»…

Вы понимаете, *что* он, этот умник, сказал? Мало того, что джазовая, так еще и американская!.. Нашелся-таки настоящий комсомолец (а может, и не один), написавший в одесский горком партии гневное письмо по поводу буржуазных нравов, насаждаемых одесскими студентами среди населения Николаева. Очень быстро Одесса отреагировала: оркестр был расформирован, Болотинский, естественно, с позором уволен, причем секретарь парткома института произнес с мечтательным выражением лица загадочную фразу: «Эх, попадись ты мне лет семь назад!..».

…Учитывая явную неблагонадежность Евгения Наумовича, когда в 1958 году руководство дало добро на создание симфоджаза (по типу, между прочим, ленинградского, где, как считалось, никаких идейных колебаний быть не могло), так вот, учитывая неблагонадежность Болотинского, о руководстве будущим коллективом он и мечтать не мог, так что спасибо бы сказал, что доверили ему должность второго дирижера. Когда же по прошествии нескольких месяцев представительная делегация начавшего

репетиции коллектива добилась приема у первого секретаря обкома комсомола (он же – член бюро обкома партии!), то привела неопровержимые доказательства того, что Болотинский осознал свои грубые идеологические заблуждения, а потому коллектив просит назначить именно его художественным руководителем и главным дирижером ОМЭА. Так Евгений Наумович возглавил довольно сложное соединение музыки и юмора и с утроенной энергией занялся своим детищем.

Забегая чуточку вперед, отметим: коллектив просуществовал до осени 1963 года, то есть что-то порядка пяти лет. За это время произошла частичная, но в качественном отношении значительная смена музыкантов во всех группах, и было создано две театрализованных программы. Первая называлась «У самого синего моря», вторая – «Как пройти на Дерибасовскую». Обе имели колоссальный успех – и на одесских площадках, и на выезде. Вот о последней гастрольной поездке коллектива я и хочу рассказать, для чего обращаюсь к сохранившейся афише.

Сразу предупреждаю читателя: это не основная, а *дополнительная* афиша, связанная с продлением гастролей в Ленинграде. Первая афиша, по содержанию ничем не отличавшаяся от дополнительной, рекламировала – вы не поверите! – 29 (двадцать девять!) концертов на самой вместительной летней концертной площадке Ленинграда – концертном зале в Саду отдыха, что на Невском проспекте. Представляете: 29 концертов и 29 аншлагов, что и подвигло организаторов концертов на продление гастролей ОМЭА – еще на восемь концертов начиная с 5 августа (предыдущие заканчивались 4 августа). Но (вот незадача!) согласно расклеенным по городу афишам, 6 августа в Саду отдыха должны были начаться концерты чрезвычайно популярной греческой эстрадной певицы Иованны… Принимается беспрецедентное решение: Иованну переводят на второстепенную летнюю площадку в Измайловский парк, а в Саду отдыха оставляют *самодеятельный* коллектив из Одессы! А теперь почитаем афишу театрализованного эстрадного концерта в двух отделениях: художественный руководитель и главный дирижер Евгений Болотинский, художник Михаил Ивницкий, концертмейстер Людмила Фирябова; оркестр (симфоджаз) в составе

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНИНГРАДЕ
ГАСТРОЛИ ЦИРКА
США
САД ОТДЫХА
18, 19, 20, 21
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ЛЕНИНГРАДЕ
ОДЕССКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ
КАК ПРОЙТИ
НА ДЕРИБАСОВСКУЮ
ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР
21
22
23
Измайловский сад
ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР
ЭСТОНИИ
Театр ЛенСовета
ЧЕРТОВА МЕЛЬНИЦА
ЛЕНИВЫЙ МОНАСТЫРЬ
ЛЕНИВЫЙ МОНАСТЫРЬ
ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР
ХОЧУ ВЕРИТЬ
ЭЛИГМАЛИОН
Эстрадный
ОРКЕСТР

50-ти человек (дирижер Станислав Калинин, музыкальный руководитель Александр Красотов, оба выпускники Одесской консерватории); группа солистов-вокалистов: Алиса Джамагартян, Жан Чаликян, Руфим Гасанов, Валентина Олейникова, Наталия Розанова, Серафима Шумиловская, Виталий Толстых; женский и мужской вокальные квартеты; эстрадный балет – 12 самых длинноногих одесских красавиц (балетмейстер – заслуженный артист МолдССР Виктор Рыжиков); артисты оригинального жанра; исполнители ролей: Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко, Роман Кац (впоследствии, у Райкина, он стал Карцевым), Лидия Зайцева, Евгений Оршулович, Давид Макаревский, Валентина Мельник… Не могу не вспомнить зав. постановочной частью Владимира Капаровского и зав. радиоузлом Евгения Ивина. К сожалению, многих из названных уже нет с нами, потому так подробно я передаю текст старой афиши…

А если еще учесть, что тексты разыгрываемых сцен из жизни Одессы писались молодыми одесскими авторами Михаилом Жванецким, Виктором Ильченко, Александром Лозовским, Борисом Лобковым, легко понять причину бурных оваций и бесконечных бисовок…

…Неожиданно весь коллектив собирают за 3 часа до начала последнего, как все мы думали, концерта в Ленинграде 4 августа, и не где-нибудь, а в недавно открывшемся на Невском проспекте ресторане «Нева». Оказывается, мы приглашены на восьмидесятилетие организатора гастрольной поездки Исаака Михайловича Руммеля, знаменитого в прошлом импресарио, возившего в гастрольные поездки Изабеллу Юрьеву, молодого Леонида Утесова… Нет, все-таки Исаак Руммель стоит того, чтобы ему посвятить небольшую отдельную главу…

* * *

…Абель Абрамович Зильбер и его супруга Ханна Гиршевна являлись известными и уважаемыми музыкальными деятелями Пскова. Абель Абрамович служил капельмейстером 96-го пехотного Омского полка, а Ханна Гиршевна получила известность как удачливый антрепренер, приглашавший на гастроли

в Псков популярных артистов – отечественных и зарубежных. Впрочем, к этому времени Ханна Гиршевна стала называться Анной Григорьевной, что никакого значения для нашего расследования не имеет. Кроме того, супружеская чета Зильберов давала частные уроки музыки. Усердный труд в течение многих лет позволил им открыть в 1900-м году магазин, продававший музыкальные инструменты и ноты, а через двенадцать лет, в 1912-м году, – второй музыкальный магазин со звучным названием «Граммофон». Его хозяйкой значилась старшая дочь Зильберов Мирра Абелевна, несколько перепрофилировавшая деятельность своего магазина, через некоторое время начавшего успешную торговлю пишущими машинками. Вторая дочь Зильберов, Лея (Елена) Абелевна, вышла замуж за близкого друга своего брата Льва – выпускника Псковской мужской гимназии Юрия Николаевича Тынянова, ставшего знаменитым писателем. А сам Лев Абелевич Зильбер – академик, известный вирусолог.

В 2002 году газета «Псковская губерния» опубликовала двенадцать глав истории семьи Зильберов – к 100-летию со дня рождения их сына, известнейшего писателя Вениамина Каверина, автора популярнейших «Двух капитанов». Здание Псковской средней школы № 1, где когда-то размещалась мужская гимназия, украшают мемориальные доски в честь Юрия Тынянова, Вениамина Каверина и Льва Зильбера.

Так вот, *рассказ о семье Зильбер связан исключительно с тем, что наш герой – Исаак Михайлович Руммель – женился на старшей дочери Абеля Абрамовича и Ханы Гиршевны*, предприимчивой, как оказалось, коммерсантке Мирре Абелевне Зильбер…

…В 1886 году в Пскове Гилель Аронович Руммель открыл типографию с литографией. Через некоторое время типография была оборудована пятью печатными машинами, снабженными электрическими приводами, которые обслуживались тридцатью квалифицированными рабочими. Проходит два года, и при типографии открывается универсальный писчебумажный магазин. Им управляла супруга Гилеля Ароновича Лея Давидовна.

Хаим Аронович, брат Гилеля Руммеля, имел менее престижный, но вполне доходный бизнес, занимаясь сбором так называе-

мого вторсырья, для хранения которого был оборудован вместительный подвал в его собственном доме.

«Наш» Руммель, Исаак Михайлович, являвшийся родственником этих уважаемых предпринимателей, в наступившую советскую эпоху успешно руководил в Пскове Коммунальным театром, открывшемся в помещении Пушкинского дома. 21-22 мая 1920 года он успешно провел здесь гастроли Федора Ивановича Шаляпина, о чем сам написал рассказ «Концерты в Пскове». Рассказ этот вошел в трехтомник воспоминаний о великом певце Шаляпине.

Затем в России наступил нэп – «новая экономическая политика». Проявив предприимчивость, Исаак Михайлович Руммель становится владельцем кинотеатра «Коммуна» (бывший «Модерн») и остается таковым до 1928 года. Вовремя и, главное, с немалой личной выгодой избавившись от «Коммуны», Исаак Руммель переквалифицируется в импресарио…

* * *

Поскольку уже давно никого из организаторов этих гастролей во главе с Исааком Руммелем нет на этом свете, могу позволить себе задуматься над тем, сколько наварили Руммель сотоварищи, имея при этом в виду, что после Ленинграда мы еще дали 4 концерта в Риге и по 2 – в Вильнюсе и Таллине. Фокус заключался в том, что это был – по документам – *самодеятельный* коллектив, и кроме суточных (аж 2 руб. 60 коп. в день на человека) мы ничего не получали, и жили, как правило, в самых дешевых гостиницах, по сути дела – в общежитиях. А билеты на концерты, позволю себе напомнить, продавались не на самодеятельность, а вполне «профессиональные». Представляете – всего 45 концертов на вместительных летних площадках Ленинграда и Прибалтики! Молодец, Исаак Михайлович!..

…После объявления о продлении гастролей слово для приветствия юбиляра предоставляется Михаилу Жванецкому. Миша достал из кармана брюк вчетверо сложенный лист бумаги, развернул его и задумался. Мы приготовились услыхать что-то вроде «Дорогой Исаак Михайлович! Разрешите от имени…». Миша

резко разворачивается в сторону юбиляра, одетого в элегантную «тройку» с галстуком-бабочкой, и по притихшему залу, как гром среди ясного неба, разносится: «Исаак! Слушай сюда!..».

Повторюсь: с тех пор прошло 56 лет, но это обращение, а еще больше – реакцию на него юбиляра представляю так ясно, будто произошло все вчера. Мы ведь еще и не догадывались, что перед нами выступал не механик 2-го района Одесского морского порта, а без пяти минут литературный классик, дружбой с которым будем ужасно гордиться! И Миша, слава Создателю, не зазнался, всегда со всеми приветлив, потому что понимает: мы его любим!..

Евгений Деменок

Отшельник из Духцова

Судьбы совершенно различных и, казалось бы, далеких друг от друга людей часто переплетаются самым немыслимым и неожиданным образом.

Распутывать эти хитросплетения – увлекательнейшее занятие.

Одесса и одесситы во многом пропитались еврейским духом и характером. Любимое занятие многих моих друзей – искать, а кто же еще из знаменитых людей «наш». То же – у одесситов. Мы всюду ищем своих.

И, как ни странно, находим.

А теперь – немного истории.

В 1785 году по приглашению графа Вальдштейна в богемский замок Духцов – тогда он назывался Дукс – приезжает жить и работать скандально известный во всей Европе Джакомо Казанова. Ему было тогда шестьдесят лет.

В 1912 году из Одессы во Флоренцию уезжает учиться Марк Слоним. Перед этим он окончил 3-ю мужскую гимназию. Среди знаменитых ее выпускников – Василий Кандинский, Александр Козачинский, Сергей Королев.

Именно Марк Слоним – писатель, критик, переводчик, издатель, живший в 1922-27 годах в Праге и работавший литературным секретарем «Воли России», – предложил Марине Цветаевой опубликовать в еженедельнике «Приключение» ее драму в пяти картинах, основанную на материале четвертого тома «Истории моей жизни» Джакомо Казановы, кавалера де Сейнгаля. Пьесу «Феникс» о последних днях Казановы Цветаева переписала специально для «Воли России». А сам Слоним перевел для берлинского издания «Нева» первый том воспоминаний Казановы

и написал к нему предисловие. Это издание сейчас является библиографической редкостью.

В 1919 году из Одессы вместе с семьей уезжает в Ялту, а оттуда через Стамбул, Софию и Вену в Берлин Вера Слоним, будущая жена Владимира Набокова (она жила в Одессе на нынешней улице Белинского, 22, – там сейчас стоит Театр музыкальной комедии). Их союз называют одним из удачнейших и плодотворнейших союзов в мировой литературе; сам Набоков называл этот союз «божественным пасьянсом». Героиню самого нашумевшего романа Набокова, Лолиту, часто сравнивают с Заирой, юной русской возлюбленной Казановы.

Когда в 1937 году Набоковы решают уехать из Германии – оставаться там было небезопасно, Вера с сыном Дмитрием перебирается на несколько месяцев в Прагу, где много лет жила мама Владимира Набокова Елена Ивановна, его брат Кирилл и сестры Ольга и Елена. Свои последние годы Елена Ивановна Набокова прожила в доме на улице Коуловой, 8. Буквально на соседней улице живет сейчас журналист и писатель Иван Толстой, чей прадед, Борис Михайлович Шапиров, почетный лейб-медик двора его императорского величества, председатель лечебной комиссии Главного управления Российского общества, приятель Сергея Юльевича Витте и Даниила Кирилловича Заболотного, родился в 1851 году в еврейской семье в Одессе.

Одесса, Одесса… Всюду Одесса. Неужели и Казанова?

Увы, нет, Казанова в Одессе не жил и даже не бывал. Он умер вскоре после основания города, в 1798-м. Хотя, конечно, мог бы и успеть… Но дела в Духцове были важнее. Нужно было работать над мемуарами. Хотя… был один случай, когда судьба свела Казанову на дуэли с одним важным для Одессы человеком.

Об этом – чуть позже. А пока – Духцов.

* * *

От Праги до Духцова – чуть меньше часа езды.

Первое письменное упоминание о крепости Духцов датируется 1385 годом. Она сгорела в 1425 году и не была восстановлена. После 1473 года Павел Каплирж из Сулевиц построил новый

замок, который позже купил Вацлав Попел из Лобковиц. В 1642 году замок стал собственностью семьи Вальдштейнов.

Вальдштейны и Лобковицы – самые, пожалуй, знатные роды в Богемии. Известнейший из Вальдштейнов – генералиссимус Альбрехт фон Валленштейн (фамилию изменили для благозвучия на немецкий манер), воспетый множеством писателей, в первую очередь – Фридрихом Шиллером. В XVI-XVII веках существовало шесть основных ветвей рода Валленштейнов с резиденциями в Бртнице, Добровице, Духцове, Детенице, Ломнице и Степанице. Но нас интересует именно духцовская ветвь, которая была примечательна четырьмя бездетными братьями, жившими в эпоху наполеоновских войн. Старший, Йозеф Карл фон Вальдштейн, и приютил в Дуксе Казанову, назначив его своим библиотекарем – хотя прав и обязанностей у него было гораздо больше. Казанова являлся достопримечательностью замка и был блестящим собеседником во время организуемых графом

балов, скачек и других мероприятий. Освоившись в Духцове, он стал давать графу советы по усовершенствованию жизни и хозяйства в замке – да так, что нажил себе врагов в лице мажордома и его друзей. Ему пришлось претерпеть немало унижений, но все вознаградилось сторицей – в конце концов Йозеф Карл попросту уволил всех обидчиков Казановы.

Другие братья Вальдштейны были не менее интересны – Фердинанд Эрнст покровительствовал Бетховену, за что тот посвятил ему Вальдштейновскую сонату. Франц Адам был мальтийским рыцарем, путешественником и ботаником. Четвертый брат стал аббатом.

Тот замок в Духцове, который мы видим сегодня, был построен в 1675-1685 годах Яном Бедржихом Вальдштейном по проекту архитектора Яна Баптиста Матея. Оба были знаменитостями – Вальдштейн был шестнадцатым пражским архиепископом и великим магистром единственного чешского рыцарского ордена – Ордена рыцарей креста с красной звездой. Француз Матей построил множество знаковых зданий – это и храм Святого Франциска Ассизского на площади Крестоносцев в Праге – главный храм ордена, и Тосканский дворец на Градчанской площади, и летний дворец Трою, и Манеж Пражского Града.

В 1707 году барочный замок в Духцове был расширен двумя боковыми крыльями. Во дворе установили четыре статуи из мастерской знаменитого скульптора Матиаша Бернарда Брауна, главного скульптора тогдашней Праги. Три скульптуры на Карловом мосту – его работы. Он же создал скульптуры, украшавшие построенную к 1722 году в Духцове дворцовую церковь Благовещения Девы Марии, строительство которой первоначально было начато Арноштом Йозефом Валленштейном по планам итальянского архитектора Марко Антонио Каневале. В украшении церкви, соединенной с южным крылом замка, участвовал один из лучших художников того времени, Вацлав Вавринец Райнер, работавший вместе с архитектором Франтишеком Максмилианом Канькой, ставшим вскоре придворным архитектором императора Карла VI.

С расширением комплекса в 1731 году, после того как были построены подпорные стены, появился и княжеский сад с бассей-

нами и фонтанами, созданный как уменьшенная копия Версаля. Период барокко в замке завершился строительством графской больницы с церковью Успения Пресвятой Девы Марии, украшенной фреской Вацлава Райнера. Всех своих работников Вальдштейны лечили бесплатно.

В середине XVIII века расположенный по соседству курорт Теплице приобрел необычайную популярность. А с ним – и Дукс. Здесь театральные и музыкальные представления, банкеты и торжества. Среди известных посетителей были знаменитый либреттист Лоренцо да Понте, князь Шарль де Линь, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг фон Гете, Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен и другие выдающиеся личности. Останавливался в Духцове и российский император Александр I.

Вот в таком вот замке и провел последние тринадцать лет своей жизни Джакомо Казанова.

Приехавший в Духцов Казанова был уставшим шестидесятилетним мужчиной, давно познавшим неудачи на любовном фронте. Кстати, по современным меркам он был вполне целомудрен – исследователи подсчитали, что за свою жизнь он имел близкие отношения со ста тридцатью примерно женщинами. То есть с тремя женщинами в год. Число вовсе не шокирует, правда?

К моменту приезда в Духцов за спиной Казановы были тысячи километров путешествий по Европе, знакомство с сильными мира сего – европейскими монархами, папами, кардиналами, общение с Вольтером, Гете и Моцартом, скандалы, тюремные заключения и побеги – собственно, первая слава пришла к нему после побега из венецианской тюрьмы Пьомби. И тихий провинциальный Духцов казался ему чуть ли не темницей. Он порывался убежать, уехать – в Дрезден к родным, в Вену, Прагу, – но обязательно возвращался. Все же годы были уже не те, да и не ждали его нигде. А у Вальдштейнов были кров, стол, книги… И постепенно Казанова свыкается. Что еще делать в тихом городке с долгими зимами, как не вспоминать и писать?

А писать было о чем.

Он видел множество людей и стран и перепробовал множество профессий. Родившийся в семье актера и танцовщика Гаэтано Джузеппе Казановы и актрисы Дзанетты Фарусси первенец был

не только вундеркиндом – в двенадцать лет он поступил в Падуанский университет и в семнадцать его окончил, – но и, как сказали бы сейчас, мультипотенциалом. То есть человеком, который при благоприятных условиях может по своему выбору развить до высокого уровня столько компетенций, сколько захочет. Начав с церковной юриспруденции и даже будучи посвященным в послушники, он вскоре бросил это занятие и пробовал себя в медицине, был одно время офицером Венецианской республики, подрабатывал скрипачом, был референтом сенатора, организовал во Франции первую лотерею, продавал в Голландии облигации, основал свою мануфактуру, занимался коммерческим шпионажем и работал на инквизицию. А еще был масоном, оккультистом, выдавал себя за розенкрейцера и алхимика…

Правда, многие современники считали, что амбиции Казановы были велики, а достигнутые им успехи второсортны. Лоренцо да Понте, либреттист Моцарта, которому, возможно, Казанова давал советы, касающиеся либретто оперы «Дон Жуан», писал о нем: «Этот необычный человек никогда не любил оказываться в неловком положении». А князь Шарль де Линь, австрийский фельдмаршал и дипломат, служивший одно время у Потемкина и друживший с Казановой, писал о нем: «Единственными вещами, о которых он ничего не знал, были те, где он считал себя знатоком: хороший вкус, правила танца и устройство мира. Только его комедии не смешны; только его философским сочинениям не хватает философии – все остальные наполнены ею; там всегда есть что-то веское, новое, пикантное, глубокое. Он – кладезь знаний, но цитирует Гомера и Горация до тошноты. Его ум и его остроты подобны аттической соли. Он чувственен и щедр, но огорчи его хоть чем-нибудь – и он становится неприятен, мстителен

и мерзок… Он ни во что не верит, но только лишь в невероятное, будучи суеверным во всем. К счастью, у него есть честь и такт… Он любит. Он жаждет получить все… Он горд, потому что ничего из себя не представляет…». И, несмотря на все это, де Линь признается: «Это самый интересный человек нашей эпохи. Кажется, что на свете нет ничего, на что бы он не был способен».

Внешность Казановы де Линь описывал так: «Он был бы красив, когда бы не был уродлив: высок, сложен, как Геркулес, лицо смуглое; в живых глазах, полных ума, всегда сквозит обида, тревога или злость, и оттого-то он кажется свирепым. Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеется, но любит смешить; его речи занимательны и забавны, в них есть что-то от паяца Арлекина и от Фигаро».

Казанова был высок, очень высок. Особенно для своего века. А женщины всегда любопытны…

Казанова, кстати, умел дружить. И находить покровителей. А еще – постоянно пробовал свои силы на литературном поприще. Собственно, писали в то время очень и очень многие. Тот же князь де Линь оставил после себя тридцать четыре тома записок. Другой друг Казановы, французский министр иностранных дел, кардинал Франсуа Иоаким Пьер де Берни, писал стихи и поэмы, да так много, что хватило на два собрания сочинений.

Казанова не отставал. Его главное сочинение, «История моей жизни», насчитывает двенадцать томов и более трех с половиной тысяч страниц. А до этого были написаны: комедия «Молюккеида», трехтомная «История смуты в Польше», пятитомный утопический роман «Икозамерон» – одно из самых ранних научно-фантастических произведений, сделан ряд переводов на итальянский, в том числе «Илиады» Гомера. Первым значимым переводом стала трагедия Каюзака «Зороастр», которая была поставлена в феврале 1753 года в Королевском театре Дрездена итальянской труппой. Дрезден был городом для Казановы важным и близким – там жили его мать, два брата, Франческо Джузеппе и Джованни Баттиста, и сестра Мария Маддалена. Оба брата стали художниками. Франческо Джузеппе – знаменитым баталистом, Джованни Баттиста – профессором Дрезденской академии художеств, а после и ее руководителем.

В этой самой итальянской труппе в Дрездене выступала и мама Казановы. Дзанетта Фарусси сделала успешную артистическую карьеру. Сам Карло Гольдони написал для нее комедию. Правда, у нее ничего не получилось в России – как и у ее знаменитого сына, зато она успешно гастролировала в Лондоне и Варшаве и пользовалась популярностью в Дрездене. А во время Семилетней войны она нашла себе убежище не где-нибудь, а в Праге.

Может быть, склонность к флирту и адюльтеру у Казановы – от матери? Поговаривали, что сам он был на самом деле сыном Микеле Гримани, владельца театра в Венеции, богатого патриция, сенатора, а отцом родившегося в Лондоне его брата Франческо был принц Уэльский, ставший вскоре королем Георгом II…

Как бы там ни было, вспоминая первый контакт с Беттиной Гоцци, которая ласкалась с ним, одиннадцатилетним мальчиком, он вспоминал: «Девушка мне сразу понравилась, хотя я не совсем понимал, почему. Именно она постепенно разожгла в моем сердце первые искры того чувства, которое потом стало моей главной страстью».

Эта главная страсть принесла Казанове множество неприятностей, но удовольствия гораздо больше. И, в конце концов, разве мы сейчас помнили бы о нем, если бы он этой самой страсти не предавался? А главное – не описал бы ее в своих воспоминаниях?

Начинаются они так: «Я начинаю, сообщая своему читателю, что судьба уже воздала мне по заслугам за все то хорошее или плохое, что я совершал в течение своей жизни, и потому я вправе считать себя свободным… Вопреки возвышенным моральным началам, неотвратимо порожденным божественными принципами, укорененными в моем сердце, всю жизнь я оставался рабом своих чувств. Я испытывал наслаждение от того, что сбивался с пути, я постоянно жил неправильно, и единственным моим утешением было лишь то, что я осознавал свои прегрешения… Мои безрассудства суть безрассудства юности. Вы увидите, что я смеюсь над ними, и если вы доброжелательны, то позабавитесь над ними вместе со мной».

Экскурсовод в Духцове рассказал нам, что к моменту приезда туда Казанова изрядно подрастерял свое обаяние. А характер у него был непростым всегда. Поэтому мелкие пакости от при-

слуги были нередки. Пришлось учить немецкий – по-французски или по-итальянски эта самая прислуга не говорила. Для более легкого «вхождения» в язык Казанова попросил приставить к нему молоденькую девушку, дочь привратника Анну Доротею Клеер. Вскоре она забеременела. Но… не от него, а от жившего неподалеку молодого художника Шетнера.

Оставалось одно – всецело отдаться интеллектуальному труду. Который он любил не меньше. Ну ладно, немного меньше.

Но переписывать сорок тысяч томов библиотеки Вальдштейна было скучно. И Казанова взялся за сочинительство. Сначала он описал самый звездный момент своей биографии – побег из венецианской тюрьмы Пьомби, из которой до него, да и после, бежать не удавалось никому. Писал на французском – самом популярном тогда языке Европы. Попав в Пьомби, он страдал не только от тяжелых условий содержания и от одиночества – он был там лишен в первое время возможности писать, ему попросту не давали пера и бумаги. «Если узник причастен к изящной словесности, дайте ему письменный прибор и бумаги: горе его станет на девять десятых меньше», – напишет он позже в своих «Мемуарах». Кстати, воспоминания о побеге перевел позже на русский брат Достоевского, Михаил Михайлович, а сам Федор Михайлович написал к ним предисловие.

На титуле книги указано, что она была издана в Лейпциге в 1788 году. На самом деле печатали ее в Праге – так же, как и написанную после этого сатирическую фантастическую утопию «Икозамерон, или История Эдуарда и Элизабет, проведших восемьдесят один год у мегамикров, коренных жителей Протокосмоса в центре земли». Многотомный «Икозамерон» был написан в подражание великим утопистам прошлого (Сирано де Бержераку, Кампанелле, Мору) и рассказывал о подземной империи мегамикров, двуполых людей, питавшихся грудным молоком и сумевших создать цивилизацию по последнему слову тогдашней техники. Скучнейший роман ожидал полный провал. «Чтобы дочитать «Икозамерон», чудовище среди утопических романов, надо обладать овечьим терпением в ослиной шкуре», – написал в очерке о Казанове Стефан Цвейг, который ему, в принципе, симпатизировал.

Ну а потом он принялся за мемуары. Они описывают жизнь Казановы только до 1774 года, хотя полностью называются «Histoire de ma vie jusqu'à l'an 1797».

Написание мемуаров скрасило его последние годы – годы, наполненные мелкими склоками с прислугой замка, особенно с мажордомом Фельдкирхнером, подступающей немощью, болезнями и одиночеством. Он писал их – и возвращался в свое прошлое, блестящее и увлекательное.

Эти мемуары стали для него пропуском в бессмертие.

В Духцове и сейчас можно увидеть библиотеку, в которой работал Казанова. За книжными полками – тайная дверь, которая внезапно открывается, и за ней можно увидеть фигуру его самого, сидящего с пером над рукописью. А еще – бильярдный салон и стол, на котором играл Казанова. Его комнаты – кабинет, спальню с кроватью. В библиотеке – последнее письмо, написанное им 26 мая 1797 года Элизе фон дер Рекке, жившей тогда в Дрездене немецкой писательнице и поэтессе, судьба которой была также потрясающе интересной: она дружила с Гете и Шиллером, а еще – с «коллегой» Казановы по цеху, авантюристом графом Калиостро. Поначалу мистически настроенная, она вскоре разочаровывается в Калиостро и в 1787 году публикует в Санкт-Петербурге свою первую книгу с разоблачениями его афер «Описание пребывания в Митаве известного Калиостра на 1779 год и произведенных им тамо магических действий, собранное Шарлотою Елисаветою Констанциею фон дер Реке, урожденной графинею Медемской».

Вильгельм Кюхельбекер, посетивший ее в Дрездене, писал в своих «Отрывках из путешествия»: «Элиза фон дер Реке, урожденная графиня Медем, величественная, высокая женщина, она некогда была из первых красавиц в Европе; ныне, на 65-м году жизни, Элиза еще пленяет своею добротою, своим умом, своим воображением – фон дер Реке была другом славнейших особ, обессмертивших последние годы Екатеринина века: великая императрица уважала и любила ее, уважала особенно, потому что ненавидела гибельное суеверие, которое Каглиостро и подобные обманщики начали распространять уже в последние два десятилетия минувшего века».

Калиостро был не так удачлив, как Казанова, – за чернокнижничество и мошенничество он был приговорен к сожжению заживо, но папа Пий VI заменил смертную казнь пожизненным заключением. Бежать из тюрьмы ему не удалось, и, просидев в ней четыре года, он умер – то ли от эпилепсии, то ли от яда, подсыпанного тюремщиками. Он вообще существенно отличался и от Казановы, и от графа Сен-Жермена, третьего главного авантюриста XVIII века, – Калиостро не был силен ни в науках, ни в творчестве. А вот граф Сен-Жермен был необычайно одаренным – активно участвовал в политике, сочинял музыку, разбирался в медицине. Казанова даже немного завидовал ему – и писал с негодованием и восхищением: «Этот необычайный человек (Сен-Жермен), прирожденный обманщик, безо всякого стеснения, как о чем-то само собою разумеющемся, говорил, что ему 300 лет, что он владеет панацеей от всех болезней, что у природы нет от него тайн, что он умеет плавить бриллианты и из десяти-двенадцати маленьких сделать один большой, того же веса и притом чистейшей воды».

В мемуарах Казанова даже описал случай, когда ему пришлось в последний раз встретить Сен-Жермена. Это произошло в доме самого графа. Граф попросил у Казановы монету, тот дал ему двенадцать су. Бросив на нее маленькое черное зернышко, Сен-Жермен положил монету на уголь и разогрел его с помощью паяльной трубки. Спустя две минуты раскалилась и монета. Через минуту она остыла, и Сен-Жермен дал ее Казанове. «Я стал рассматривать монету. Теперь она была золотой. Я ни на миг не усомнился в том, что держал в руках свою монету <…> Сен-Жермен просто не мог незаметно подменить одну монету другой». Затем добавляет: «Та монета действительно выглядела золотой, и два месяца спустя в Берлине я продал ее фельдмаршалу Кейту, проявившему большой интерес к необычной золотой монете в 12 су».

Вроде бы Сен-Жермен даже предлагал Казанове помощь в превращении в юношу маркизы д'Юрфе, финансовой помощью которой тот долго и успешно пользовался. Казанова отказался, но и сам провалил эту аферу, после чего многолетняя покровительница окончательно в нем разочаровалась.

И все же Сен-Жермен вызывал у Казановы уважение: «Как ни странно, как будто помимо моей воли, безотчетно граф изумляет меня, ему удалось меня поразить…». Или вот еще: «Он был высоким, ученым, говорил отлично на большинстве языков, был великим музыкантом, великим химиком и лицом был приятным».

Смерть всех троих – Казановы, Калиостро, Сен-Жермена – завершила собой эпоху. Галантный XVIII век, позволивший выбиться на самый верх таким ярким личностям, уходил, и итог ему подвела безжалостная Французская революция, которая так ужаснула Казанову.

Прошло буквально двадцать лет, и появился миф об утерянном золотом времени… Так что книга Казановы, начавшая печататься в 1822 году, поспела вовремя. Казанова шагнул с нее в этот новый век, век рантье, в великолепии своих бессчетных любовных приключений, заставив печально вздыхать все будущие поколения женщин.

Потому на духцовском кресле, в котором он умер, всегда лежит свежая красная роза.

Но до триумфа рукописи пришлось пережить приключения. Ее ждала удивительная судьба. Несмотря на то, что права на все свои сочинения Казанова передал Вальдштейну, мемуары он хотел опубликовать сам. Не послушав рекомендаций князя де Линя, который стал одним из первых читателей рукописи, он попросил о публикации графа Марколини ди Фано, саксонского кабинет-министра. Но ди Фано (кстати, умерший в Праге) не захотел связываться с такой легкомысленной книгой. Это было в 1797-м. А в 1798-м, предчувствуя скорую смерть, Казанова попросил живущих в Дрездене родственников приехать к нему за рукописью. Карло Анджолини, муж Терезы, дочери его недавно умершего брата Джованни, незамедлительно приехал в Дукс. После смерти Казановы – Тереза и Джованни и хоронили великого авантюриста – он привез рукопись в Дрезден, однако вскоре умер, и она осталась у его дочери Камиллы.

После окончания наполеоновских войн Марколини вспомнил о ней и предложил за нее опекуну несовершенной Камиллы 2500

талеров. Тот решил, что этого слишком мало. Но спустя всего несколько лет, в 1821-м, финансы семьи Камиллы начали «петь романсы», и они все же продали рукопись, но уже за… 200 талеров. Покупателем стал издатель Фридрих Брокгауз. Да-да, тот самый, который «Брокгауз и Ефрон». По его просьбе немецкий писатель Вильгельм фон Шютц перевел мемуары на немецкий. Успех был велик, и французский издатель Виктор Турнашон, отец знаменитого фотографа Надара, пиратским образом издал переведенные с немецкого на французский мемуары. В ответ на это их издал на французском и сам Брокгауз. При этом каждый раз текст подвергался корректировке для все большего «соблюдения приличий». Все последующие переиздания мемуаров на других языках – до 1960 (!) года – были переводами этого искаженного издания.

А все это время рукопись на французском лежала в сейфе издательства в Лейпциге. Когда в 1943 году здание разбомбила авиация союзников, в нем сгорело почти все, кроме рукописи. В июне 1945-го на американском военном грузовике ее перевезли в новое здание издательства в Висбадене. И лишь в 1960-м в результате сотрудничества издательства «Брокгауз» с французским издательством «Плон» оригинальная рукопись была наконец издана на французском.

Сейчас мемуары Казановы переведены более чем на двадцать языков и выдержали более четырехсот изданий, в основном на французском, немецком и английском языках. А в 2010 году благодаря поддержке анонимного донора рукопись была приобретена Национальной библиотекой Франции за более чем семь миллионов евро – это самое дорогое приобретение библиотеки на сегодняшний день.

Как же так получилось, что авантюрист Казанова удостоился такого же, если не большего, восторга и внимания со стороны читателей, ученых и обывателей, как и его великие соотечественники Данте, Макиавелли, Петрарка?

Дело в том, что читатели каждой новой эпохи находили в его воспоминаниях что-то важное для себя – мечтательное или сокровенно-интимное. Сначала его любили за то, что он выдающийся авантюрист, готовый будни превратить в праздник. Позже, с ужесточением цензуры, на первый план вышли его будуарные победы. Далее, на рубеже столетий «своим» сочли его приверженцы ницшеанства – этот искатель приключений был полной противоположностью декадентам и учил полнокровной, насыщенной жизни и максимальной реализации заложенного в человеке потенциала.

Такая громкая слава даже начала раздражать некоторых итальянцев.

«В наши дни Казанова стал чем-то вроде спагетти, мандолины и «Санты Лючии» – тем, что ассоциируется с итальянцами за пределами Италии, не вызывая при этом особого уважения или симпатии. Для иностранцев Казанова – это в меру смазливый итальянец, пользующийся некоторым успехом у женщин», – это слова Марчелло Мастроянни.

Казанова и вправду давно стал мифом. И для многих слился в одно целое с Дон Жуаном – вымышленным персонажем. Но на самом деле они настолько различны, что об этом написана не одна книга.

«Испанский Дон Жуан, немецкий доктор Фауст, англичанин Байрон и француз Бодлер – все они, прежде всего, вечно неудовлетворенные… Казанова же при первом же поцелуе фаустовской Маргариты ощутил бы себя на седьмом небе и пожелал остановить мгновенье», – фрагмент из книги «Казанова против Дон Жуана» возлюбленной Бенито Муссолини, Маргериты Сарфатти.

Вне всякого сомнения, Казанова не раз вспоминал о своем испанском «предтече», когда описывал историю собственной жизни. Среди его бумаг в Духцове даже были найдены две сцены, предназначавшиеся для оперы Моцарта «Дон Жуан», но не вошедшие в нее. И, работая над своим собственным образом, он мог сознательно противопоставлять его традиционному, негативному образу обольстителя.

Ему это удалось. Он вошел в историю романтиком.

4 июня 1798 года Казанова скончался. «Я жил, как философ, и умираю, как христианин», – его последние слова прозвучали как эпитафия. Он был похоронен возле маленькой часовни Святой Варвары, неподалеку от замка. Позже могила была утеряна. Сейчас на стене церкви установлена табличка с надписью: «Jakob Casanova. Venedig 1725 – Dux 1798».

Казанова умер. Начала жить легенда о нем. И появляться все новые и новые почитатели.

Одной из его почитательниц была Марина Ивановна Цветаева.

* * *

Летом 1922 года в одном из берлинских кафе на Курфюрстендаме поэт Саша Черный познакомил Марка Слонима с Мариной Цветаевой.

«Я был в то время литературным редактором пражской «Воли России»: сперва ежедневная газета, она стала затем еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал, – вспоминал Слоним. – Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. <…> Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века с ходами, сводами и переходами и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана», в комнате с балконом на внутренний двор, МИ совершенно серьезно сказала: «Тогда я обещаю у вас сотрудничать». Я предупредил ее о политическом направлении журнала – мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает». Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение».

Марина Цветаева пришла в редакцию после переезда в Прагу, в ноябре 1922-го. «После кратких деловых разговоров мы с МИ пошли в кафе «Славия» против Городского театра, у моста через Влтаву, и там просидели добрых часа два, беседуя на разные темы. В то время я подготовлял предисловие к первому тому воспоминаний Казановы для берлинского издательства «Нева» (он появился в 1923 году, а второй том так и не вышел, «Нева» должна была закрыться из-за отсутствия средств, как и большинство русских литературных предприятий тех лет).

<…> К моему удивлению, МИ не только отлично знала Казанову и была очарована этим неукротимым любовником и авантюристом, но и написала о нем несколько пьес в стихах. Мы тотчас же условились, что она даст для «Воли России» «Приключение» – драму в пяти картинах, основанную на материале четвертого тома «Истории моей жизни» Джакомо Казановы, кавалера де Сейнгаля. Кроме того, она обещала дополнить и несколько переделать для нас «Конец Казановы», выпущенный с искаже-

ниями в Москве, и дать ему новое название – «Феникс». У нас тотчас же загорелся спор насчет эпиграфа к «Приключению». МИ перевела его – «Вы позабудете и Генриетту», а я – «Ты забудешь также и Генриетту». Возлюбленная Казановы Генриетта вырезала алмазом эту надпись на оконном стекле гостиничной комнаты, где они любили друг друга, – он нашел ее через пятнадцать лет на том же стекле и заплакал, потому что предсказание сбылось. Я был поражен, с какой страстью МИ отстаивала свою версию и приводила самые неожиданные аргументы. «Но ведь это мелочь», – попытался я остановить ее. «Мелочь? – спросила она с каким-то зловещим присвистом, точно я был повинен в богохульстве. – Выбор слов – самое важное».

Вот какими словами Цветаева описала Казанову:

«Казанова, 75 лет. Грациозный и грозный остов. При полной укрощенности рта – полная неукрощенность глаз: все семь смертных грехов. Лоб, брови, веки – великолепны. Ослепительная победа верха.

Окраска мулата, движения тигра, самосознание льва. Не барственен: царственен. Сиреневый камзол, башмаки на красных каблуках времен Регентства. Одежда, как он весь, на тончайшем острие между величием и гротеском.

Ничего от развалины, все от остова. Может в какую-то секунду рассыпаться прахом. Но до этой секунды весь – формула XVIII века».

Думаю, великому итальянцу такая характеристика точно бы понравилась.

Ах да, совсем забыл.

5 марта 1766 года Казанова стрелялся на дуэли графом Священной Римской империи, великим коронным гетманом, генерал-аншефом Франциском Ксаверием Браницким, в России известным как Ксаверий Петрович Браницкий. Конфликт был спровоцирован первой танцовщицей варшавского театра Анной Бинетти, которая была в то время любовницей Браницкого, с другой танцовщицей, фавориткой короля Станислава II Августа Понятовского Катериной Гаттаи Томатис. Браницкий спровоцировал Казанову на дуэль, в результате чего Казанова был ранен совсем легко, а сам Браницкий – тяжело.

Позже, поступив на русскую службу, Браницкий женился на племяннице князя Потемкина, Александре Васильевне Энгельгардт. Его дочь, Елизавету Ксаверьевну, все мы знаем по стихам и рисункам Пушкина. Вместе со своим мужем Михаилом Семеновичем Воронцовым, генерал-губернатором Новороссии, они похоронены в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

И вот что еще интересно. Младший брат мужа той самой варшавской танцовщицы, Катерины Томатис, Томас, служивший в русской армии под начальством Суворова и ставший после штурма Измаила его адъютантом, участвовал также и в штурме Праги.

– Но ведь Суворов никогда не штурмовал Прагу! – воскликнете вы. И будете совершенно правы. Совершенно, но не совсем. Его войска 4 ноября 1794 года штурмовали другую Прагу – предместье Варшавы на правом берегу Вислы. Резня в Праге привела к подавлению Польского восстания 1794 года, а Суворов получил за нее высший воинский чин фельдмаршала.

Теперь, кажется, все.

Удивительная штука история!

Одесский календарь

Старопортофранковская улица

124 Олег Губарь
Две стороны одной улицы

Олег Губарь

Две стороны одной улицы

Согласно одной из популярнейших исторических легенд, подвалы нечетной и четной сторон Старопортофранковской улицы якобы связаны подземными ходами. Даже многие коренные одесситы со всею убежденностью уверяют, что эти мины контрабандисты рыли для того, чтобы по ним беспошлинно переносить товары из города за вторую черту порто-франко, которая, мол, и проходила по этой улице.

Теория, прямо скажем, смехотворная во всех отношениях, как и многие другие логические построения конспирологов, основанные на невежестве. Начнем с опровержения неверных в корне дилетантских представлений относительно обустройства границы порто-франко. Она представляла собой не «улицу» и не только ров шириной в три метра и глубиной в два метра десять сантиметров, но колоссальную эспланаду – открытое пространство шириной в 200 саженей, то есть 416 метров. Предместье Молдаванка в ту пору простиралось лишь до теперешнего Староконного рынка включительно. Садиковской, Южной и других улиц, примыкающих к Старопортофранковской, еще не было. Не было, понятно, и самой этой улицы, а вторая черта порто-франко открыта 14 мая 1823 года.

Со стороны города она ограничивалась линией оборонительных казарм, протягивавшихся от Арнаутской слободки включительно до борта Водяной балки. Собственно говоря, эта уже готовая линия, каковая возводилась еще в бытность герцога Ришелье и послужила готовой основой для устройства второй черты порто-франко. Стало быть, нечетную (городскую) сторону нынешней улицы Старопортофранковской репрезентовали не жилые

дома, а воинские казармы, причем эти казармы, офицерские флигели, люнеты и проч. были несколько отодвинуты вглубь примыкающих кварталов. Что касается четной стороны, то ее вообще не существовало, она стала формироваться много лет спустя и представляла собой не приватные, а исключительно казенные строения: учебные, лечебные и богоугодные заведения.

Но давайте вообразим себе, что кому-то вздумалось бы прокопать в лессовидных суглинках полукилометровый туннель. Даже сегодня это не такая простая и чрезвычайно затратная задача, поскольку пришлось бы обеспечить его устойчивость, предотвратить обрушения. А это невозможно иначе, как только надежно укрепив каменными сводами. Мало того, если это делать скрытно, то каким образом и куда вывозить – тоже тайно! – образующийся при проходке грунт? Попробуйте прикинуть объем этого грунта! А ведь вторая черта порто-франко и функционировала всего лишь на протяжении около четырех лет, то есть масштабные подземные работы должны были осуществляться в нереально короткие сроки. Надо еще учесть, что вдоль полосы отчуждения стояли караульные будки (которые, как и другие служебные помещения, были проданы на слом после ликвидации этой черты порто-франко в 1827 году), и циркулировали так называемые объездчики. Вывоз строительного мусора, да еще в значительных объемах, был делом непростым и дорогостоящим, всё строго и четко регламентировалось, осуществлялся полицейский надзор. Говоря короче, все эти предположения – нонсенс.

После устройства третьей границы порто-франко вторая вовсе не трансформировалась в улицу, а была обращена в широкий, по всей эспланаде, так называемый Внешний бульвар. Разумеется, он протягивался во всю длину прежней черты порто-франко, то есть включал и нынешнюю Пантелеймоновскую (тогда Новорыбную) улицу. Формирование этого бульвара происходило на редкость быстро: уже весною 1828 года для его присмотра наняли сторожей; деревья высаживались по обе стороны эспланады, но сперва лишь до Преображенской улицы, на полторы с лишним версты, то есть именно по впоследствии возникшей улице Старопортофранковской.

План Города Одессы
1828 года

Помимо рассадки деревьев, со стороны города было устроено ограждение из каменных столбов с деревянными перекладинами, для проезда – четверо ворот, возникшие было многочисленные, более двадцати, самочинные проезды через ров (канаву) порто-франко ликвидировали его возобновлением. Далее высадка деревьев продолжилась вверх, по направлению к Привозной площади и далее, бульвар находился в ведении городского садовника и контролировался особым смотрителем.

Такое положение вещей сохранялось довольно долго. С середины 1850-х часть обращенной к Молдаванке эспланады стали отводить частным лицам, однако ближайшая к городу обширная территория бывшей «полосы отчуждения» как бы резервировалась, оставаясь в казенной собственности. Это обстоятельство позволило использовать ее тогда, когда свободная земля в пределах города стала весьма дефицитной. Одесса росла, и появлялась острая необходимость в постройке тех или иных казенных зданий и сооружений. И только с их постройкой на смену Внешнему бульвару пришла собственно улица Старопортофранковская.

В 1890-1910-х годах четная сторона была стремительно застроена Еврейской богадельней, Городским ремесленным училищем, храмом Григория Богослова, мужской и женской гимназиями, Маасовским ночлежным приютом, детским дневным приютом, Городским девичьим училищем, Городским шестиклассным училищем, инвалидным домом Мещанской управы и зданием самой управы, Павловским приютом для призрения младенцев и родильниц и т. д. Каждая из этих институций заслуживает отдельной обстоятельной публикации. Все перечисленные и не упомянутые казенные сооружения включены в реестр объектов культурного наследия. Разумеется, наш рассказ об истории этой необычной улицы будет продолжен в следующих выпусках альманаха.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

130 **Владимир Каткевич**
Моточистка

143 **Елена Андрейчикова**
Убедительные знаки судьбы

148 **Давид Шехтер**
Принц и нищий

168 **Ольга Яценко**
Чаклунка

179 **Сергей Корниевский**
Дичь

Владимир Каткевич

Моточистка

«Не говори гоп, пока не переехал Чоп».
(Из заветов второго механика Бурмилы)

Машинная команда живет по графику, от моточистки до моточистки.

Расписание круизов планируется с расчетом обеспечить каждые два месяца двухсуточный перестой. Чтобы прошуровать хотя бы один цилиндр. К ревизии подгадывают смену вахт, кому-то осточертела «собака», собачья вахта, с нуля до четырех, а другой не хочет на нее переходить. Еще пауза создается для смены пассажиров. Два аэробуса доставят 750 пассажиров – это паспортная загрузка парохода после реконструкции.

К моточистке машинная готовится тщательно и заранее. Как к операции на открытом сердце. Или «окну» на железной дороге. Сроки хирургического вмешательства, надо полагать, размыты, искусственное сердце знай себе качает, легкие вентилируют что надо, а финал моточистки жестко стреноживает.

Если силовую установку не пустят к отходу, пароход опоздает в следующий порт, и по принципу домино рухнет программа мероприятий сразу в нескольких странах. Как правило, «экзотически-небогатых», если использовать фигуры речи помполита Тупикова. С властями согласованы чудеса и аттракционы.

Моточистка – это всегда риск и посеребренные виски у стармехов.

При мокром извозе и двух суток не выкроить. На все про все. Главный двигатель – сооружение размером с четырехэтажный дом, в котором зажаты двадцать две тысячи лошадок. Табун

должен поостыть. В условиях тропиков, чтоб перевести дыхание двигателей, нужен чувствительный интервал: вода за бортом – 32. Двигатель после ревизии должен быть опробован и прочувствован на ходовых испытаниях. Но все равно потом на переходе Мао, дедушка, будет чутко прислушиваться к ритмичности ударов винтов. Сквозь собственную мерцательную аритмию и тахикардию. Поднимется среди ночи, спустится через восемь палуб в «подвал» пощупать крышки горшков-цилиндров. И встретит там второго механика Бурмилу, который тоже колобродничает и щупает. На старых пароходах по инструкции механик должен был на вахте прикасаться к рискованно ворочающемуся шатуну. И успеть отдернуть руку. Пока она есть. Раньше так учили. Навряд ли хирург ночью лапает пациента под капельницей.

В машине уже все на товсь: циклопический инструмент, рожковые ключи, съемники, «пауки» из тросов с гаками топорщатся по-животному, треноги, щупы в ассортименте, мешки ветоши затаились, как белухи. Головы перемотаны по-пиратски сеточками с мелкой ячейкой. Каску напялил только второй электромеханик Николайчик. Николайчик опутал пространство лампочками-переносками. С запасом. Если какая откажет, ее не станут ковырять, а переключатся на годную. Так на стадионе Маракана боковой судья не требует вернуть мяч с трибуны, а вбрасывают новье. Правда, Николайчик спросит:

– Почему лампочка гавкнулась?

– А ты спроси у лампочки, – футболят хмуро.

Бурмила подгоняет кран-балку и опробует с удовольствием. Раньше уродовались талями, но все-таки пароходство раскошелилось на катерпиллеровский кран, так проворнее. Говорят, на «сухарях-универсалах» до сих пор в машине «лягушками» горшки ворочают, первобытно цепями вирают, а у них кран – прогресс. Они на виду.

Главный механик Мао, в белой тропической форме, погоны с тремя петлицами и галуном, гольфы с дурацкими помпонами, стоит на верхней галерее, наблюдает. Возле дедушки пластиковая бочка испанского вина. На двести литров. Для восстановления сил.

Мао вздыхает и вручает с сожалением четвертому механику Каларашу набор хром-ванадиевых ключей, единственный на пароходе.

– Сдашь по описи! – предупреждает.

Дед нацелился к пенсии инструмент списать и, конечно, присвоить. По описи, но не по совести.

Начинают с мелочевки. Четвертый механик Калараш с рембригадой развинчивают спрут трубопроводов приговоренного к ремонту горшка. Горшок грелся и ждет облегчения. Сегодня его очередь. Трубы с приборами и гайками складывают в безобразную кучу. Как ни странно, потом все найдут. Причем быстро. И термометры с ртутью не кокнут. А если по коробкам фасовать, перессорятся. И ртуть расплещут на деку. Загадка.

Форсунщик Дармограй, когда крутит гайки, кривляется, корчит рожи, но его не подначивают. Котельный машинист Вася, в обиходе кузнец Вакула, высовывает язык, как собака, и ответственно шмыгает носом.

Отдают гайки на крышке, их 24 штуки – комплект. Гайка размером с детскую голову, клейменная, номер соответствует номеру шпильки. Ключ тянут рычагом три старших моториста. «Раскидали». Крышку сорвали, из цилиндра столб пара с дымком, как из преисподней. Моторист со стажем Жижа бережно, как снаряд при разминировании, опускает крышку на измочаленные тяжестями сосновые шпалы. Лица у всех сосредоточенные.

Бурмила подробно исследует паронитовые прокладки. Иссушенные горячей работой, они окаменели. Выжатые не выбрасывает, а нанизывает на крючок. Для отчета. Вирает крышку цилиндра и принюхивается к запаху горячего масла.

Работают с технологическими перекурами. На перекурах не курят, ждут следующей операции. Сейчас замерли, момент ответственный – ревизия втулки с подпоршневым хозяйством. Сутки не спали, мантулили, только присаживаются на корточки. В высоком машинном зале тишина. Как в костеле после службы. Правда, под пойолами назойливо сипит руладами пар.

Повара принесли обед прямо в машину. На восемнадцать с половиной желудков, кузнец Вакула – гастритчик, ему только первое, на второе но-шпа. Окрошку и плов с черносливом, пахнет

забористо, но к еде никто не притронулся. Калараш спускается в парящий еще цилиндр.

Замеряет диаметр в нужных контрольных точках штихмасом, голенастым уродливым штангелем.

Мао требовательно свистит в штурманский свисток.

– Сколько? – спрашивает в матюкальник и хмурится.

Вытягивают шеи. Калараша вытаскивают за руки из колодца, и он несет дедушке картонку-подставку от пива «Карлсберг» с каракулями. На шее его пружинит чугунное кольцо цилиндра, которое он выковырял из ручья. С кольцом Калараш похож на коня. Ему суют нитяную ветошь, он вытирает кольцо, как официант приборы, лицо не вытер, и предъявляет деду каракули. Тот хмурится мохнатее.

– А нагар? – донимает.

Жижа снимает говнодавы, чтобы не поцарапать зеркальные стенки цилиндра, переобувается в войлочные покойницкие тапочки, и его спускают в цилиндр. Суют жужжалку «обезьянку», он напяливает защитные очки, респиратор и становится похожим на насекомое. В нутре пронзительно жужжит, Жижа очищает кокс с выхлопных окон, из колодца веером летят искры. Трубно чихает в респираторе. Морщины у него почернели, как у шахтера. Пожарный матрос бережно обнимает углекислотный огнетушитель. Как младенца. Изображая готовность. Подали финишную обезьянку с «нулевкой», самой нежной наждачкой. Из цилиндра вырывается шлейф мелкой огненной пыли, шлейф колышется вентилятором. Жижа шлифует стенки. До зеркальности. Замеряет. Главное – не переборщить. Вытирает камеру цилиндра стерильной байкой из упаковки. В нее же и чихает. Вентилятором протянуло. Мао сползает на больной ноге по трапу к колодцу цилиндра, напяливает видавшие виды рабочие очки, заглядывает, никому не доверяет – момент тревожный.

– Сколько допуск? – спрашивает.

– Допуск смерил, Гуща? – усиливает задачу для Жижи подхалим Калараш.

Жижа «ловит микроны», трубно мычит сквозь респиратор. Непонятно… Потом вежливо снимает намордник, обильно дышит на стенку, показательно вытирает испарину байкой из упаковки.

Мао придирчиво видит отражение своих очков на веревочке, себя искаженным, как в комнате смеха парка Шевченко. Наколотый на колене товарищ Сталин тоже макаронно растянут. Глаза у Сталина раскосые, как на китайских марках. Но зеркальность достигла прозрачности.

Дед уходит от карикатурного отражения товарища Сталина.

– А заусенец, Калараш? – встревает Бурмила. Заусенец у Бурмилы исключительно мужского рода. Как и пластмасс.

Жижа передает из колодца лепешку нагара, и ее несут в жестяной кружке. Деликатесно. Для анализа.

Кукам (правильнее «кук», а не «кок») наскучило стоять огородными пугалами над судками.

– Принесете посуду в «Ласковый май»! – требовательно напоминает шеф-повар в пространство.

Не обещают. Как мухе. Судки, конечно, не принесут.

Кран тащит поршень с шатуном длиной четыре метра. Ночной прилив глубже валяет пароход на зыби. Три тонны груза болтает над головами. Моточистку положено делать, когда судно прочно привязалось к берегу, и кренометр на нуле. Но к единственному на острове половинчатому горе-причалу лайнер не поставили – на острове революшн! И темно… «Ночь темна, и буш шумит тревожно…» С началом беспорядков губернатор, подполковник, уехал с денщиком в Лондон – только и всего. Англичане из Британского Содружества наций перестали снабжать остров мазутом, и электростанция отдыхает. Бомбят дачи. Расписание не изменишь, революция в темную явно не по расписанию. Приходится уродоваться. Некоторые умники еще подначивают. Итальянский дедушка вкручивал Мао, что такую работу три румына делали за восемь часов. Бульбометы!

Двое упираются на растяжках, руки дрожат, ноги дрожат, двухтонная балда барражирует над головами. К ним бросаются подсобить. Теперь мотает всю гроздь помощников. Рискованная операция выглядит, как стыковка космических кораблей в ручном режиме. Чуть прогавил, упустил момент – и цугцванг. Попали, наживили!

Теперь задача угнездить двухтонную крышку.

Крышка на штатном посадочном месте. Из общей кучи споро извлекают пудовые гайки. Хватило, ничего не потеряли.

– И-и-и раз! И-и-и два!

Обжимают. Рычагом для ключа труба на два дюйма. Тянут три тянульщика. Бурмила сам впрягся, не доверяет.

– И-и раз! И-и раз! – командует Бурмила. – Хорош!

Бурмила дозирует предельное усилие на ощупь. Как учили. Чтоб не переборщить и не перекосить крышку. Так он считает, хотя перекосить невозможно. Рембригада наблюдает за обжимом, как в первый раз. Или в последний.

На верхние решетки крадется Моня, камышовый кот размером с овчарку. Николайчик выменял зверя на две лампочки у негров в Того. Думали, Моня учуял окрошку, а он нацелился к помпонам дедушки.

– Уберите котяру! – Мао свистит по-милицейски и сам принюхивается к окрошке. Кота шуганули веником-голяком, и Моня, вальяжно виляя пушистым задом, удалился в сепараторную. Сам не знает, зачем.

Наверху чмокает подсосанная воздухом выпуклая дверь, как на подводной лодке, и по крутому трапу стекает толпа пришельцев реликтового возраста. Глупо с опаской улыбаются. Люди свободного времени. И свободных ушей. На которые грех не повесить лапшу. Никто даже головы не повернул. Один Мао изобразил проворство, метнулся подать ручку старухе и скорчился от боли, резануло в колене – артрит. Ядвига Филипповна, руководитель и владелец парижской туркомпании, член политбюро компартии Франции, эстафетно «споймала» бабушку.

– Мы их не ждали, но они уже пришли, – пробурчал в нос Николайчик.

– Извините, что некстати! – говорит Ядя. Экскурсии в машину всегда некстати. Ядя с одесскими корнями, говорит и ругается по-русски, курит ленинградский «Беломор» фабрики Урицкого.

Ночью катер привез из Барбадоса новую порцию пассажиров. Немолодое пополнение. Согласно контракту, турфирма обязана провести с новобранцами экскурсию по пароходу. Включая машину и мост.

Один ковыляет по дырчатым ступенькам на костылях, отстал. При операции на открытом сердце экскурсий не проводят. Чтобы зевакам не стало хорошо. А здесь обломилось.

– Что-то случилось? – участливо спросили «сеньоры-пэссэнджоры». – Авария? Есть опасность?

Опасность всегда дышит в затылок. Пялятся на вскрытие с содроганием, не притерпелись.

– Только не надо бычиться! – Ядя одергивает моторменов по-свойски. – Это – ваши деньги. И мои. Экскурсия в машину оплачена, согласно контракту.

Ядя опасается, что Мао начнет изъясняться на самобытном английском.

– Обычная плановая регламентная профилактика! – выпаливает Мао заранее выученное и затравленно улыбается.

– Браво! Браво, мистер чиф-инженер!

Аплодируют, как ненормальные.

Мао открывает крышку карманного хронометра. Цепь карманного прибора едва уступает цепи тельфера. Хронометр – испытанный намек.

– Извините, у нас регламент по времени, – дает окорот гостям Ядя. – Чтобы лайнер отошел минута в минуту.

Как поезд при товарище Кагановиче. Экскурсия в машину продолжится уже на пароходе. Когда медам и месье будет удобно. Почему-то кажется, что второй раз им ломиться в машинное нутро наскучит.

Пока наводили на Мао «Никоны», успели заметить наколку товарища Сталина на колене. Хорошо, на профиль товарища Ленина Мао напялил эластичную повязку – артрит. Или артроз. А то на живой галерее могли тормознуться.

На шум из сепараторной показал усы афронеамериканский кот Моня, переключились на него.

– Это Моня третьего инженера мистера Николайчика, – нашлась Ядвига.

– А что у него с глазиком?

– Я его таким приобрел в Того, – Николайчик тушуется.

– Когда Моня находит на палубе каюты рассыпанную господином Николайчиком мелочь, он монетки складывает в ботинок хозяина, – сообщает Ядя.

– Месье, ура! – аплодисменты с овациями. – Браво! Нельсон!

Николайчик раскланялся. Как дрессировщик в цирке. И унес кота.

– Мадам Ядвига, я из общества декоративных птиц, – встряла какая-то ученая птица в очках…

– Здесь не ассамблея! – перебил орнитологиню мужик свободного времени, но в силе. Рабочая косточка. Может, в Бирмингеме горбатился на сталепрокатном. На футболке череп и призыв «Kill the Negro!». Приехал размяться. На остров, где население темнокожее. На 200 процентов, в Вест-Индии они темнее.

– А нельзя поучтивее? – одернули дамы свободных ушей.

– Ну, Фрэд, возьми себя в руки, – умоляет ухаря женка. – Сорри! Успокойся!

Обычно такие бойцы успокаиваются, когда доводят до кондратия. Сначала жену, потом себя. По обстоятельствам.

– Что, не видите, парни заморились донельзя? – развивает базар гроза негров.

– Господа, команда работает здесь уже двое суток, – напоминает Ядя. – Без перерывов. Даже на обед.

Ядя выманивает выводок из машины, но они не спешат, пялятся очарованно.

Кот делает хвостиком публике вуаля с верхних решеток и карабкается по трапу. Делать мину.

Пока продолжалось цирковое представление, где дедушка был белым клоуном, успели поставить крышку.

– Инструмент проверили? – капризничает Мао. – А где ручник?

Ищут нехотя «ручник», молоток с удлиненной ручкой. И не находят.

– Искать ручник! – цедит дед. И дует в свисток. От догадки закрыл глаза. А когда открыл, заметили, что белки у Мао пожелтели.

– От, Соловей-разбойник на нашу голову! – ворчат сквозь зубы. – Свистнешь в …, запоешь соловьем!

Ищут где попало. Подхалим Калараш угодливо заглядывает под плиты. Чтоб утихомирить Соловья, приносят три залапанных ручника. Все ручники именные, из частных коллекций.

– А где номерной ручник из рипэя-комплекта? – взвивается Мао.

Каждого обжигает страшная догадка. Но молчат. «Не хватало, чтобы молоток оставили в цилиндре, – кумекает Мао. – Или респиратор. Не дай бог! – аритмия скачет к горлу, мерцает и клокочет. – Ведь случается, что сразу два цилиндра вскрывают. Или даже три. Три операции на энергетическом сердце параллельно! В состоянии опьянения. И ничего, ручники не теряют. Или шейки коленвала задрались. Врагу не пожелаю!»

В памяти хрестоматийные аварии, угодившие в приказы по пароходству. Когда забывали инструмент в цилиндре. Это – взрыв, пожар! Забыть ручник в цилиндре – падение. Как, скажем, советскому моряку приехать к борту на человеке, на рикше. Дед когда-то сам был рикшей, подвозил кочегарам кардиф к топкам из угольной ямы на тележке-«рикше».

Мао набычился, его обходят стороной. Обыскались.

– Вскрывайте горшок! – дед хотел свистнуть, но нет свистка.

– Совсем сказился! – негромко ворчит Калараш. – Не успеем к отходу…

– А куда ты денешься! – говорит Бурмила. – Не сможешь – поможем, не хочешь – заставим!

Расхожая формулировка обрыдла Каларашу еще с армии. Но здесь же не армия!

– Раскидать двигатель! – дед неумолим. Он побледнел, обронил таблетку и нашел свисток.

И вот тогда Бурмила извлекает из рваной торбы искомый ручник, номерной. Как фокусник в цирке. И предъявляет выжженный Вакулой номер на ручке.

Когда крутанули валоповороткой, причастились испанским бочковым. От усталости даже не порывались полироваться. И эйфории не было, какой к черту триумф, обычное артельное согласие. В рабочем порядке.

– Шмурдяк – он и в Вест-Индии шмурдяк, – заключает Жижа. – Овидиопольское каберне плотнее.

– Чем элитное испанское «Бальтазар».

– Каберне терпкое.

– Потому что с семечками душат.

– По мне так лучше стакан ингулецкого, чем этот мочегон, – рассуждает Дармограй. И подливает.

Бренчат инструментарием. Заслуженно небрежно. Собирают тоже в кучу, кучу пеленают в замасленную простыню.

– А почему сразу три ручника? – примахивается Мао к Бурмиле.

Бурмила одаривает Мао взглядом поверх очков, как умалишенного.

– Каждый старается пользоваться своим личным ручником, – объясняет без очереди форсунщик Дармограй, он же и кладовщик.

– Работайте только аварийными ключами и ручниками с номерами! – взвинчивается Мао. – Есть же казенный комплект, вот им и пользуйте! – и запирает маленьким ключиком ящик с ванадиевыми чудесами-цацками. Который потом умыкнет. Традиция! Не работать и даже не хвастаться. Любоваться.

Мао поднимает замызганный ведерный чайник с надписью «Дизельное» и по кочегарской привычке с расстояния вытянутой руки пускает струю в рот, показывая зубы из желтого металла. Так описывают бесхозные трупы в милицейских протоколах.

– А где нашли ручник? – продолжает примахиваться Мао.

– Бурмила, тю, Иувенальевич, нашел…

– Где? – дотошничает Мао.

– В сепараторной.

– Это тот самый ручник?

– На нем же номер…

– Что, трудно набить номер? – дед даже своему корефану Бурмиле не доверяет. – Только не на той рукоятке, она расщепилась. Таким инструментом можно нанести травму. Или увечье.

– Знатное топорище с акации, – рассуждает Бурмила. – Акация вязкая и волокнистая. У меня на даче добрая акация растет… Я ее поливаю.

Оригинально. Поливает, выращивает крепкое топорище… Или крепкий крест.

– Я из черного дерева сделаю, – протестует против занудства Калараш. – В кругосветке запасся.

– Где? – уточняет Бурмила.

– Не у вас на даче, конечно. В Сурабайе. Сурабайя – лесной порт, там дрова из черного дерева у борта плавают.

– Что ты гонишь? Черное дерево тонет.

– Вот пойдете на пенсию, будете из акации рукоятки делать и ездить на троллейбусе за четыре копейки на работу.

Калараш применил запрещенный болевой выпад. Бурмила с двенадцати лет на всем готовом. С того момента, когда на него надели в школе юнг тельняшку с длинными-предлинными, как морские дороги, рукавами. Бескозырки детского размера не нашлось, и напялили берет. Возраст юнгачей «гулял», одни еще писались, а другие наладились в общежитие суконной фабрики. К ткачихам. Пятьдесят два года его обеспечивали работой инспекторы отдела кадров. Бурмила очень дорожит тем, что дорога от каюты до машинной шахты четыре метра, и панически боится перемен. Вот вирать на неисправных талях циклопический шатун – это как здрасьте, а от троллейбусных перспектив хмурится.

– Ты шестой сепаратор перебрал? – затевает реванш Бурмила.

– Я новые диски уже в кладовой получил, по-жеребячьи отлягивается Калараш. – Там работы на пару часов.

– Не говори «гоп», пока не переехал Чоп!

К дремучей мантре Бурмилы привыкли, она не смешит и не мобилизует.

– А когда у нас следующая моточистка? – бормочет для себя Мао.

– Мы еще от этой не сдыхались, – огрызаются сдержанно.

Мао углубился в расписание круизов. «Пятый «горшок» греется, – думает. – Дотянем?»

– А куда пойдем?

– По островах тынятся. Они уже как в жопе карандаш…

– Моточистка в Санта-Доминго, – объявляет Николайчик. – Гаити.

– Тю-ю-у…

Тыняться они будут среди мифов и кошмаров Бермудского треугольника. Девятерым из восемнадцати через пару часов на ходовую вахту. К горшку прислушиваться и принюхиваться Бурмила будет уже в открытом океане, в треугольнике небылиц и предположений.

– Позови Бурмейстера унд Вайна! – кричит Николайчик Каларашу. – Зовут!

Если во множественном числе, то значит, к Мао на раздолбон. Теперь отвертку будут искать. Отвертка «заныкалась».

Пароход вздрагивает, толкнуло, рысачок жестко отозвался сдачей на толчок. Крякнули кранцы. Кто-то ошвартовался. Что ошвартовалось, виповская мотопирога? По палубе катят тяжелое, тиковый брус клавишно отзывается. Задрали головы покошачьи, прислушиваются, головы поворачивают к источнику звука, знают. Боцман Катеринка «котит» презент революционному королю, бочку ядреных свинцовых белил. Король до пояса обнажен, но в очках, Николайчик видел. На голове султан из перьев какаду. Говорят, Сорбонну кончал. Революционные власти причапали за халявой.

В борт хлестко шлепнула отбойная волна. На деке жирно чвакают стоки, кажется, наружная волна-блудница проникла в нутро и мечется под рифлеными пойолами, иссякая в колодцах-грязевиках. Куда ты, дуреха? Зачем тебе *это*? Тебе бы причесать гребешок в прибрежных мангровых лесах и перелесках. Как раз прилив, и ветер убился.

Елена Андрейчикова

Убедительные знаки судьбы

Борис Петрович загулял. Некрасиво так. Подленько. Не то чтобы до него никто такого кощунства не совершал. Но соседи расстроились. Да, в их доме еще никто этого себе не позволял. Правда, дом был новый, всего четыре года, не больше. До этого они жили в аварийной сталинке на Пироговской, там не бесчинствовал. А как теща умерла, ее квартиру продали и переселились в центр, в новую свечку вездесущего Кадорра, – тут Остапа понесло. Вернее, Бориса Петровича.

Бес по ребрам: громко загулял. Знали все: и консьержки, и управдом, соседи слева и справа, снизу и сверху по всем семнадцати этажам, и даже дочь. Только жена не знала, хотя он особо не таился. Можно сказать, вызывающе ходил к соседке напротив. На одной лестничной клетке! А приличный же мужчина, все видели – и пакеты с едой домой регулярно таскал, и мусор выносил, не пил и даже не курил. Но загулял.

Жена Светлана долго ничего не замечала. Вот в упор на противоположную дверь смотрела, а не видела, что творится. Чьи отпечатки пальцев прописались на тонкой стальной дверной ручке соседки. То ли умышленно она отводила взгляд каждый раз, как он, довольный и румяный, возвращался с опозданием домой. То ли носом не чуяла чужой женский парфюм, которым соседка Светка обильно себя поливала перед приходом любимого. Надо же, еще и тезка. То ли из-за близорукости своей не видела сливовые помадные пятна на рубашке и иногда на брюках. Там совсем уж очевидные были, светлые, немые, но кричащие знаки адюльтера. А то ли сознание ее просто отказывалось во все это верить после двадцатилетнего брака. Хорошего брака. Счастливого. Как у всех.

– Все папе расскажу!

– Я брошу, честно.

Жена только замечала, что пятнадцатилетняя дочь закурила. Пахло от нее кисло и горько, чем-то чужеродным – никто в квартире больше не курил, потому этот запах был очевиден и первым попадал с порога в нос бдительной матери.

А вот Борис Петрович даже кичился этой своей неожиданной весной. Как будто поверить в себя и свои мужские силы было для него важнее, чем все эти принципы, ценности и семейный очаг. Грелся в лучах своей влюбленности, а еще больше в лучах ее влюбленности. Как его Светка любила! Попробуйте от такого откажитесь! Ласка, нежность, комплименты, ми-ми-ми, тигр и котенок (по ситуации). Даже если с женой все хорошо, красивая женщина, хозяйка изумительная, опора и поддержка, и спать с ней уютно и тепло. А все равно, кобель тянулся в соседнюю дверь. История длилась месяца три, а Светлана, жена, ничего не замечала. Вздыхала иногда без повода, но он не спрашивал, вот еще. Парадоксальный подход изменщиков – скандал не устраивает, значит, не ревнует, и логическая цепочка приводит только к одному выводу – а значит, не любит. Знак верный – будем продолжать.

Дочь сразу все поняла. Сообразительная мудрая женщина. Хоть и пятнадцатилетняя.

– Тебе не кажется, что папа странно себя ведет? – спросила она у брата, сидящего сутками то в телефоне, то за компьютером.

– Странно? Нет, не кажется, – не отрываясь от смешащих его человечков на ютюбе, ответил тот.

Решила разобраться сама. А то, конечно, отец выглядит бодрым, свежим и всегда веселым, а это очень подозрительно. Раньше за ним такого не замечалось.

Еще не замечалось, чтобы он спортом интересовался, а тут годовой абонемент себе в фитнесс-клуб купил, форму «Nike» и даже несколько раз заходил в солярий. Чем это объяснить, как не любовницей? Юная, но опытная, книжек начиталась. Солярий: она была уверена, это вообще первый звоночек. Только почему мама не слышала, что звоночек этот, точнее, колокол звонил и по ней?

– Света, есть у нас пантенол?

– Зачем тебе?

– Да сходил в солярий, Мишка посоветовал идти голым, смеялся надо мной, что я в трусах туда залез. Поджарился я, пересидел. А у меня же там кожа лучей в жизни не видела. Печет теперь, караул.

Жена ничего не нашла в этом подозрительного.

А Настя – да.

И стала следить за поджаренным папой. Следить долго не пришлось. Уже вечером встречала его первой с работы, дверь открыла, приготовилась обнюхивать. Точно. Все ясно. Осталось вычислить, кто это. Комиссара Мегрэ жизнь разочаровала, потому как вычислять долго и не пришлось. Консьержка тетя Люся шепталась с соседкой с первого этажа. Имя Светки всплыло быстро. Чтобы не запутаться, подбирал?!

Если быть честными, а Настя считала себя честной девушкой, то в этом случае «жертва несла ответственность наравне с преступником», то есть и маму она немного обвиняла. Соседка Светка была молодой (в Настином возрасте она не казалась молодой, но все-таки на двадцать лет папы младше), красавицей и умницей, а главное – была инструктором по йоге в собственном маленьком женском клубе развития. А мама давно решила, что взрослой и серьезной даме не обязательно быть чем-то еще заинтересованной, кроме дел семейных, можно просто брать аудиторию бараньими ребрами и тортом наполеон.

Борис Петрович последних три месяца отказывался есть и ребра, и торт. Размышлял о здоровом питании, считал калории и даже неприлично намекал на вегетарианство, что маму расстроило, но снова не вызвало никаких подозрений.

Через неделю Настя знала уже все нюансы: как Петрович пораньше с работы уходит, как Светка стоит у двери и смотрит, чтобы никто на лестничной клетке не входил и не выходил. Он поднимался по лестнице пешком на девятый этаж, престарелый павлин, и шмыгал к ней в обитель подлости и разврата. Точно так же после: Светка выходила первой, он бежал пешком вниз, спускался на один этаж и уже поднимался на лифте.

Настю возмущала собственная мать. Как не видит? Почему молчит? Где скандал, развод и забвение ребер, и мужских, и бараньих? Блондинка, что с нее возьмешь?! Юношеский максимализм прини-

мал решения, не давая себе труда погрузиться в проблему, понять Петровича и, возможно, простить. Нет. Никогда. Старый ловелас. И пакостник. Хотя папу очень любила. До этой катастрофы.

Пошла искать советов в гугле. Мнения психолога, философа и писателя по этой теме она прослушала и прочла, но действенной помощи не нашла. Решила все-таки маме пока ничего не говорить. Сама разберется. Сама всех спасет. Но пока не ясно, как.

Для начала решила поговорить с отцом.

– Папа, я все знаю.

– А я думал, у меня все в доме слепые.

– Папа, что ты собираешься делать?

– Пока не знаю.

– Кончай. А то маме расскажу.

– Расскажи.

– Чем она тебе так понравилась?

– Она волшебная. И вообще, мы с ней идеально подходим друг другу: я – телец, и она – телец. В один день родились.

– Она тоже шестьдесят восьмого года рождения?

– Доча…

На следующий день пошла к Светке. Та, улыбаясь и нисколько не смущаясь, впустила и чаю заварила.

Квартирка диковинная. Коврики для йоги. В горшке ростки пшеницы. Витаминки, бады, патчи для лица. Тут же книги, тут же бусинки, из которых делает разноцветные браслеты и сама носит, по пять на каждой руке. Ярко, уютно. Желтый диван, красный сервиз, из еды – только фрукты. И ковер белый, толстый, на нем подушки красные. Светка села в позу лотоса. Настя была в юбке, долго думала, как сесть. Села на стул. Ей было чуть спокойнее чувствовать себя выше этой гуттаперчевой курицы.

– Света, посоветуйте, с чего начать, хочу йогой заниматься.

– Молодец, птичка, приходи ко мне в клуб.

Настю «птичка» разозлила раньше времени. Прорвало:

– Зачем ты с папой закрутила? – выкрикнула Настя, как будто этот вопрос мешал дышать и жить те четыре минуты, которые она была в квартире.

– Птичка, я верю в судьбу, верю в знаки. Мы на одной лестничной клетке. Друг напротив друга! Часто ездили вместе в лифте.

А у нас все сплошные знаки судьбы. Я люблю чай матча, и он. Я не ем мяса, и он (а как же ребра?). Я обожаю Вивальди, и он. (Кто, папа? А как же Гребенщиков?) Мы оба тельцы. В один день родились! (Второй раз шутку Настя не повторяла.)

– Съезжай отсюда, а?

– Не съеду, птичка. Это любовь и судьба.

Настя вскочила, зацепила, конечно, умышленно, чашку с матча. Жижа неясного цвета быстро растеклась по белому ковру. Квартира съемная, так что вопила Светка долго, с выражениями и интонациями, обычно не свойственными йогам.

– А я – козерог, Светка. Это твой приговор. Твой недобрый знак.

Это она уже сказала, глядя на оппонента из своей квартиры в глазок.

Знаки. Верит она в знаки. Где бы найти таких знаков, чтобы она поверила в другое? Долго думала Настя, ответа все не было. Спать перестала. Есть перестала. А эти все крутили любовь. И даже на два дня на рыбалку папа уехал. Но она-то знала, что и где он удил с пятницы по воскресенье. Щук три штуки привез. С Привоза.

Но все-таки придумала. Сработает – нет, а попробовать стоило. Будут тебе, Светка, знаки. Прямо как в любимом папином фильме «Тайна черных дроздов».

Пошла в парк. Долго там бродила упрямая юность, желая решить семейную проблему, и способ для этого придумала всего один. Дроздов не было, только воробьев нашла. Вернее, были, но не те. Ей же нужны были мертвые. С одной стороны, ей очень жалко было вмешивать в эту грязную историю три безвременно ушедшие из жизни птички. Три трупика. Но с другой стороны, ради спасения семьи воробьям предлагалось сослужить службу. Так и делать толком ничего не надо – просто полежать на пороге Светкиной квартиры. В качестве недоброго знака судьбы.

И алиби придумала – когда все уедут к бабушке на день рождения. А она как будто телефон мобильный забыла, вернулась, хранила воробьев в своем шкафу на полочке с футболками, быстро схватила, почти без брезгливости, выбежала из квартиры, бросила воробушков на желто-красный коврик напротив – и бежать.

Потом еще подкладывала. То трех, то двух. На четвертый раз всего одну птичку нашла.

– Настя, это ты делаешь? – прошептала Насте у дверей в парадную начинающая нервничать Светка.

– Что именно? Сплю с чужим мужем? Нет, Светка. Это ты, – громко ответила Настя. Ей-то чего шептаться? И закрыла перед самым Светкиным сморщенным носом дверь. Пусть сама открывает. Тем более, надо успеть подбросить на этот раз дохлую ворону, лежавшую в рюкзаке поверх учебников. Между прочим, символ хаоса и тьмы.

Через месяц Светка таки съехала. Тихо, быстро, без скандала. Как и положено суеверным бежать от знаков судьбы. Или от юных категоричных максималисток, которые сами готовы вершить судьбы, если взрослые не могут разобраться. Папа спорт бросил. На время взгляд погас, но потом рыбалкой увлекся. Всегда в доме теперь свежая рыба. Не с Привоза. К той не ездит, Настя проверяла. Далеко, а папа ленив и консервативен, никогда нога его не ступала на Черемушки, не в его возрасте начинать.

Маму не поймешь – то ли так ничего и не поняла, то ли не знала, что с этим делать, поэтому бездействовала. Но после того как Светка съехала, мама пошла на кулинарные курсы. Мало ей было всех ребрами и тортами ублажать, так теперь начала и круассаны выпекать, и профитроли, и безе. Размечталась о своей кондитерской. Даже маленькое помещение под аренду присмотрела.

И к тому же, ежедневно начала дворовых воробьев сладкими крошками подкармливать.

Давид Шехтер

Принц и нищий

Б. – второму сыну и второму мужу

Небо за окошком почернело, дождь бил в толстое стекло с такой силой, что были слышны удары капель. Рав Кинигл покачал сокрушенно головой, на которой даже в самолете красовалась черная шляпа, и с треском задернул пластмассовые жалюзи.

– Если так будет продолжаться, мы просидим здесь еще очень долго, – сказал он и откинулся на спинку кресла.

– Да, вот уж действительно разверзлись хляби небесные, – подхватил его сосед, Йошер.

Некоторое время молоденький хасид с курчавой иссиня-черной, будто крашеной бородкой и почтенный раввин просидели в тишине, каждый погруженный в совсем не веселые мысли. Самолет, летевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вот уже три часа пережидал плохую погоду в Нью-Арке, и, судя по всему, ожидание затягивалось надолго. А значит – летели в тартарары все планы, так тщательно разработанные в Израиле.

Весь многочасовой перелет из Израиля рав Кинигл и Йошер почти не общались друг с другом. Несколько ни к чему не обязывающих фраз да совместное участие в молитвах, которые верующие евреи устраивали в хвосте самолета. Конечно, они представились друг другу и даже выяснили, что не имеют общих знакомых. Но на этом все и закончилось.

И вот теперь, желая хоть как-то скоротать время, которое после вынужденной посадки в Нью-Арке застыло, как жена Лота, рав Кинигл начал разговор с молодым соседом. Он вытащил из-за уха полуседой пейс, расправил его во всю длину, внимательно

осмотрел и стал аккуратно наматывать на указательный палец правой руки.

– Хотите послушать историю, случившуюся у нас в Реховоте? – обратился он к Йошеру.

Тот радостно закивал – перспектива просидеть сиднем и без всякого общения еще несколько часов в самолете явно его не радовала.

– Хочу сразу же подчеркнуть – она произошла не со мной и даже не с моими знакомыми. Вообще, вся эта история стала известна мне совершенно случайно. Когда я расскажу ее, вы сами поймете, почему почтенные люди не очень-то стремились о ней разглагольствовать.

Синагога «Коах Иешурун» – одна из самых древних в нашем городе, если, конечно, можно применить слово «древний» к синагоге, насчитывающей чуть больше 100 лет. Хотя, впрочем, и сам наш город молод – Реховот основали в конце XIX века молодые студенты, приехавшие в Эрец-Исраэль после первого погрома.

Как известно, тайная организация террористов, замыслившая и организовавшая убийство русского царя, специально отстранила от всякого касательства к покушению поляков и евреев. Тем самым, считали они, удастся предотвратить гонения на эти национальные меньшинства. Какая наивность! Едва по стране разнеслась весть об убийстве царя, первой же реакцией на нее стали еврейские погромы. И тогда еврейские студенты из Харькова и Одессы решили, что больше ждать нельзя – следует начать строить государство для евреев.

Так в Эрец-Исраэль появились поселения Ришон-ле-Цион и Реховот. «Коах Иешурун» не была первой синагогой Реховота, но когда ее строили, то с трех сторон простирались пески, а с четвертой тянулись к раскаленному небу тоненькие деревца апельсиновой рощи. Со временем поселение разрослось и превратилось в город, дома которого подступили вплотную к синагоге.

Ну, дома-то ладно, чем они ближе, тем больше людей приходит на молитву. Беда состояла в том, что апельсиновую рощицу, разросшуюся с годами в большой пардес, выкорчевали. А на ее месте построили городской стадион. Да так, что одну из его трибун отделяли от синагоги считаные метры.

С тех пор нормальная жизнь в «Коах Иешурун» прекратилась. Да и какая может быть жизнь, если каждую субботу на стадионе проводится очередной матч футбольной лиги, и болельщики местного «Бейтара» неистовствуют так, что в синагоге не услышишь не то что хазана, а собственного голоса?

Один из прихожан – реб Янкл Магид, рассказал, что в Одессе, откуда он родом, была аналогичная ситуация. Там власти специально соорудили вплотную к синагоге танцевальную площадку, динамики которой выли, как демоны. Но в Одессе такое глумление над синагогой и евреями устроили гои, и не просто гои, а большевики, весь смысл жизни которых заключался в борьбе с религией, с иудаизмом. Но здесь, в Реховоте, это учудил горсовет, все члены которого чистокровные евреи, а некоторые даже носят на голове ермолку!

Разговаривать о чем-то с болельщиками было бесполезно – как только начинался очередной матч, они превращались в самых настоящих демонов: размахивали желтыми флагами с гербом своего клуба, танцевали от радости, если «Бейтар» выигрывал, и прыгали от горя, если проигрывал. А с децибелами их воплей не мог бы сравниться даже самый мощный динамик. Мы так и прозвали их – демоны.

В этом месте рав Кинигл замолчал, размотал свою пейсу, снова замотал ее на палец и продолжил.

– Мы – я имею в виду все религиозное население Реховота. Конечно, само прозвище придумали в «Коах Иешурун». И не кто иной, как тот самый Янкл. Он, вообще-то, человек странный, не от мира сего. Работает кладовщиком на какой-то военной базе и от скуки занимается составлением шахматных задач.

Я не большой любитель шахмат, считаю занятие ими чистой потерей времени. Чем просиживать часы над доской и передвигать фигурки, лучше выучить еще один лист Гмары. Или сделать еще одно доброе дело. Не знаю, не знаю… Не судья я любителям этой игры.

Как и не судья Янклу, который от составления задач не то чтобы тронулся умом, но погрузился в другой мир, и большую часть времени пребывает именно в нем. Сперва от его выкриков – «Да лошадью ходи, лошадью!» или «А я вот тебя ферзем прищучу!» –

люди шарахались. А потом привыкли и перестали обращать внимание.

Так он и коротает свои дни – пыльный склад, докучливые сослуживцы, крикливые дети. Но есть у этого Янкла одно редкое свойство – как скажет что-нибудь про кого-нибудь, будто припечатает. И приклеится эта кличка навсегда. Так и с болельщиками бейтаровскими было – как прозвал он их в сердцах демонами, так и прилепилось это к ним.

– И никто не возмутился, не подал в суд? – осмелился прервать плавную речь рава Кинигла его сосед. – За подобное оскорбление этот Янкл мог здорово поплатиться.

– Ничуть не бывало, – усмехнулся рав Кинигл, – болельщикам это прозвище так понравилось, что они стали писать на своих футболках и знаменах – «Желтые демоны». Поэтому Янкла никто не тронул. Да и что с него взять, он ведь, мягко говоря, человек странный, даже в Йом-Кипур в синагогу не заходит. Шахматы ему заменили Всевышнего, как это ни парадоксально и ни богохульственно звучит.

– А чем же ему болельщики тогда помешали? – спросил Йошер.

– Да живет он просто рядом с синагогой, и рев этих демонов не давал ему спокойно предаваться сочинению шахматных задач.

– Мда, демоны – это серьезно. «И шутить с ними нельзя», – сказал Иойшер. Написано ведь у Раши со слов рава Пинхаса, что в шестой день были созданы шесть сущностей: мужчина, женщина, пресмыкающиеся, домашние животные, дикие звери и бесы, то есть – демоны.

– Совершенно верно, молодой человек, совершенно верно, – покивал головой рав Кинигл. – Но все, что я до сих пор рассказал, – это только прелюдия к главному. А главное заключается в том, что буквально в нескольких сотнях метров от «Коах Иешурун» находится просторный пустырь. Не застроили его в нашем Реховоте, так нуждающемся в жилье, лишь потому, что принадлежит он горсовету, а там никак не могут решить, под что его лучше использовать.

Расположен пустырь чрезвычайно удачно – недалеко от здания синагоги, за тремя высокими домами. И эти дома являются столь мощной преградой для воплей демонов, что на пустыре

их практически совсем не слышно. Поэтому у одного из руководителей «Коах Иешурун», назовем его, скажем, реб Зайц, возник дерзкий замысел: отдать старую синагогу городу – и пусть власти делают с ней что хотят, а взамен получить пустырь и возвести новое здание. Тем самым никто из прихожан старой синагоги не будет потерян, а в новом здании воцарятся наконец благословенные покой и тишина, каковые и приличествуют дому Господню.

– Вы знаете, к счастью, я совсем немного столкнулся с горсоветской бюрократией, но даже на своем скромном опыте убедился, что любое, пусть маленькое дело, она способна тянуть годами. А что уж говорить про такую серьезную операцию! – воскликнул Йошер.

– Именно это все и повторяли в один голос автору замысла. Но он оказался человеком упрямым, совершенно уверенным в своей правоте. К тому же, и об этом критики не догадывались, у него имелся точный и конкретный план реализации своего, на первый взгляд, безумного замысла. Дело в том, что этот реб Зайц был хоть уже и в летах, но завидный жених.

Двадцать лет он прожил в любви и согласии со своей женой Кларой, да пребудет душа это святой женщины в Ган-Эден, пока Всевышний в одночасье не призвал ее к себе. Реб Зайц остался один, но уже с подросшими детьми, не требующими опеки и воспитания. Он не обладал большим состоянием, но ему вполне хватало на достойное существование. К тому же, реб Зайц имел магазинчик по продаже религиозной литературы, который приносил устойчивый доход. Это вам не шахматные задачки, с продажи которых Янкл Магид мечтал разбогатеть, но которые приносили один пшик. Магазин – это магазин, а на религиозные книги, благодарение Всевышнему, спрос всегда был и будет.

Дела в магазине шли по давно заведенному распорядку, поэтому свое время и силы реб Зайц посвящал синагоге, где был одним из ведущих помощников раввина. Когда раввин умер, прихожане из любви и уважения к нему не выбрали нового. И так получилось, что всеми делами стал заправлять габбай, которого никто, собственно, не выбирал и не уполномочивал. Безобразие, конечно, форменное безобразие! Поэтому в голове у реб Зайца и созрел многоступенчатый план, который должен был одним махом решить много проблем – дать семейное счастье реб Зайцу, сделать

его главой синагоги, а ее прихожанам обеспечить нормальную обстановку во время молитв.

Вдруг рав Кинигл остановился, отпустил свой пейс и поднял вверх указательный палец правой руки.

– Вы чувствуете, мы поехали? – радостно воскликнул он. – Или мне это уже кажется?

Рав Кинигл распахнул пластмассовые жалюзи и приник лицом к окошку. Самолет действительно двигался, мягко покачиваясь из стороны в сторону. Но движение происходило в абсолютной тишине. Похоже, что аэродромный тягач вытягивал лайнер с полосы куда-то в сторону.

Это предположение казалось верным еще и потому, что дождь ничуть не утих. Наоборот, тучи приобрели свинцово-мрачный цвет, спустились совсем низко и нависли над аэродромом. Одна из них заполонила весь окоем, и из ее рыхлого одутловатого брюха то и дело вылетали изогнутые желтые молнии. Издалека туча походила на гигантскую медузу, тянувшую свои раскаленные щупальца к аэродрому. Самолет явно отгоняли подальше от этой тучи и от этих молний. Ни о каком взлете не могло быть и речи.

Рав Кинигл разочарованно закрыл жалюзи.

– По-видимому, нам суждено провести здесь еще немало времени, – сказал он. – Так вы хотите узнать продолжение истории?

– Конечно, вы ведь остановились на самом интересном!

– Ну что ж, тогда слушайте. План реб Зайца заключался в том, что он должен был жениться. Невесту он присмотрел уже давно – хорошую девушку из приличной семьи. Так получилось, что хоть и не обладала она никаким пороком, но засиделась в невестах. И не потому что была некрасива. В молодости с ней произошла неприятная история, которая отталкивала потенциальных женихов.

Как и полагается религиозным девушкам, Мирьям – так ее звали – обручилась, окончив школу. По хасидскому обычаю, а отец ее был истовым хабадником, устроили «ворд». Организовали его в синагоге, созвали гостей. Выпили, закусили, и жених, высоко подняв гартл, дал обещание жениться. Все шло хорошо почти до самой свадьбы. Но за несколько дней до хупы, когда уже был снят зал и разосланы приглашения, жених исчез. Причем без всяких на то видимых причин и без предупреждения.

Конфуз был ужасный, девушка несколько месяцев стыдилась выйти на улицу. Потом как-то все улеглось и успокоилось, но женихи начали обходить ее стороной. Рассуждали они, по-видимому, так: если ее суженый решился на подобный шаг, то, наверное, он увидел в своей будущей жене какой-то очень серьезный недостаток. Через какое-то время, правда, выяснилось, что этот самый жених оказался не совсем вменяемым, и в конце концов угодил в сумасшедший дом. Но об этом мало кто знал, и вину за случившееся возлагали на Мирьям.

А реб Зайц знал, и потому дурная молва его не смущала. Он ничуть не сомневался, что эта девушка, несмотря на разницу в возрасте почти в пятнадцать лет, будет ему прекрасной женой. Хотя бы в благодарность за то, что он спас ее от судьбы старой девы, которая везде не сладка, а уж в обществе ортодоксальных евреев особенно. И реб Зайц рассчитывал, в соответствии с Раши, которого вы только что мне процитировали, что он удостоится получить помощника, а не «эзер кинегдо», которая боролась бы с ним.

Вы спросите, какое это имело отношение к синагоге? А самое прямое. Отец девушки был видным функционером одной из религиозных партий и много лет занимал пост вице-мэра Реховота. Его политические связи помогли бы без большого труда протолкнуть в горсовете решение о переводе «Коах Иешурун» на новое место.

Итак, все складывалось как нельзя лучше. Реб Зайц сделал предложение, и оно было с благодарностью принято. Дело шло к свадьбе, как вдруг случилось страшное событие.

Несколько месяцев в Реховоте свирепствовал таинственный насильник. Несколько женщин стали его жертвами – в кустах городского сада, на пустыре одной из окраин. А одно изнасилование произошло в доме жертвы – злодей проник через балкон и надругался над женщиной средь бела дня, прямо на супружеском ложе. Насильник оказался столь изощренным и осторожным, что полиция, несмотря на все усилия, не могла его изловить. Ну в самом деле, невозможно ведь держать полицейских на каждой улице и на каждом пустыре! Единственное, что оставалось делать полиции, – это извещать население о каждом случае насилия и просить граждан соблюдать максимальные меры предосторожности.

Реховот объяла паника. Женщины опасались появляться в одиночку на улицах не только в вечерние часы, но и днем. В некоторых районах даже были созданы добровольные дружины, члены которых патрулировали улицы. Эти меры принесли плоды – насилия прекратились. Но все понимали, что маньяк никуда не исчез, а затаился и выжидает удобного момента для следующего преступления. Эти предположения, увы, оказались верными. И очередной жертвой стала Мирьям.

За несколько недель до свадьбы Мирьям возвращалась вечером домой от ребецен, дававшей ей уроки по законам соблюдения семейной чистоты. Глава хабадской общины Реховота жил в нескольких минутах ходьбы от дома Мирьям, и девушка не чувствовала никакой опасности. Кто может напасть в религиозном районе, где на улицах всегда полно людей? Но в тот вечер, как назло, на том квартале, который нужно было пройти Мирьям, чтобы добраться до дома, прохожих не оказалось. Злодей затащил девушку в темный подъезд и беспрепятственно сделал свое дело.

Все планы реб Зайца рухнули. Даже если бы он проявил великодушие, а реб Зайц был очень добрым и великодушным человеком, и забыл бы о том, что случилось, то преступить заповеди он никак не мог. Реб Зайц был коэном, и жениться мог только на девственнице. Казалось, что все кончено, и злой рок, преследовавший Мирьям, в очередной раз встал на пути к ее семейному счастью.

Но тут с реб Зайцом захотел встретиться отец Мирьям реб Кливленд. Он позвонил ему по телефону и предложил встретиться в городском саду – чтобы избежать лишних кривотолков. Появление реб Зайца в доме у бывшей невесты могло вызвать пересуды и предположения. А в городском саду они могли столкнуться как бы случайно.

Реб Кливленд был явно смущен. После нескольких фраз о здоровье и о погоде он замолк, снял шляпу и долго вытирал платком мокрый от пота лоб. «Мне очень жаль, – думал реб Зайц, глядя на своего несостоявшегося тестя, – но все эти разговоры бесполезны. Я не могу отступиться и перестать быть коэном».

И тут, решившись, реб Кливленд заговорил. Осторожно, словно горячие камешки, перебирая во рту слова, он произнес

несколько фраз, приведших реб Зайца в замешательство. Несмотря на насилие, Мирьям осталась девственницей.

Как раз в момент нападения она пребывала в ситуации, которая случается у каждой женщины ежемесячно, и злодей совершил с ней содомский грех. Поэтому, несмотря на всю горечь, боль и унижение, в соответствии с галахой девушка не была запрещена коэну. Проблема заключалась в «марит айн». Женившись на ней, реб Зайц не перестанет быть коэном. Но доказать это другим ему будет весьма затруднительно. Не будешь же всем рассказывать, что на самом деле произошло!

– Да, реб Зайцу не позавидуешь, – сочувственно пробормотал Йошер. – И как же он вышел из этого щекотливого положения, какое решение принял?

– А вот этого я пока не знаю, – ответил рав Кинигл, – Известно только, что отец Мирьям посоветовал ему обратиться к Любавичскому Ребе и спросить, что делать дальше.

Ребе уже давно нет в живых, но существует способ получить от него ответ – надо написать записку с вопросом и вложить ее в одну из книг Ребе – «Игрот ха-кодеш». Как ни странно, способ работает – многие люди получали ответы на самые сложные вопросы.

Конечно, все равно, где задать вопрос, то есть где написать записку и засунуть ее в книгу. Но, как говорят знающие люди, самое лучшее – это приехать на могилу Ребе в Нью-Йорке. Пойти в микву, хорошо помолиться на могиле и попросить Всевышнего в честь заслуг праведника помочь решить твою проблему. Хабадники оборудовали прямо на кладбище небольшое помещение, и в нем есть все необходимое, для того чтобы написать квитл.

Я не знаю, что решил реб Зайц, не знаю, какой ответ он получил или получит. Но до сих пор Мирьям живет в доме отца. А синагога, понятное дело, стоит на своем месте, и каждую святую субботу ее стены сотрясаются от неистовых воплей желтых демонов.

Рав Кинигл отпустил свой пейс, и он, соскользнув, повис, покачиваясь в воздухе и почти доставая до его плеча. Он посмотрел на него, быстро смотал и заправил за ухо, а оставшийся длинный конец убрал под большую ермолку из черного бархата.

– Вот такая вот история, – сказал он, не глядя на собеседника.

– Да, ничего не скажешь, история так история, – ответил Йошер. – Но вы не знаете самого важного!

– Что такое?! – подкинулся рав Кинигл.

– У меня тоже есть история. Я как раз и еду на могилу к Ребе, чтобы задать ему вопрос и узнать, как из этой истории выпутаться.

– Неужели? – с облегчением вздохнул рав Кинигл. – И вы?

Йошер перегнулся через сиденье рава Кинигла, открыл жалюзи и посмотрел в окно.

– Я вижу, что ничего не изменилось, – сказал он. – Хотите послушать мою историю?

– Конечно! – воскликнул рав Кинигл. – Конечно!

– Человек, которого вы видите перед собой, – начал Йошер, – то есть я, внешне ничем не отличается от любого ортодоксального еврея моих лет. Та же черная шляпа с загнутой по хабадскому обычаю передней тульей, черный костюм и белая рубашка в будни, капота в шабес койдеш. Днем я работаю – занимаюсь переводами с русского, иврита и английского, вечером учусь в нашем Бейт-Хабаде в колеле для взрослых. Семья, дом, дети в «Бейт Хана» и в «Томхей Тмимим». Но все это не пришло само собой, как у большинства моих сверстников и нынешних единомышленников. Я преодолел длинный и тяжелый путь, прежде чем понял, кто я, что я, чего хочу в этом мире, и что он хочет от меня.

– А, так вы «баал тшува», – протянул рав Кинигл.

– Да нет, не совсем. Этот термин, так широко применяемый сегодня, в моем случае и в случае таких, как я, не совсем точен. Вернуться можно к тому, где ты когда-то был, или к чему-то, что у тебя когда-то было. А что еврейского было у меня – воспитанника элитной школы Вильнюса?

В нашей ортодоксальной среде особое значение придают такому понятию, как «минхаг авотейну» – обычай отцов. Особенно в Хабаде. Хасиды, жившие во времена советской власти, совершали чудеса веры и преданности Всевышнему. Вы слышали, конечно, о подпольных йешивах, существовавших в СССР, о тайных хедерах, о хасидских детях, не переступавших порог советской школы и никогда в жизни не пробовавших некошерной еды. И это в условиях советской власти! А какие обычаи достались мне от отца?

Посещение профсоюзных и комсомольских собраний? Участие в ленинских субботниках – если вы понимаете, о чем я говорю.

Хуже того, мой отец не был оболванен и превращен в послушного робота, как многие советские граждане. Он был человеком думающим. И поэтому искал правду, смысл жизни. Искал долго, ошибаясь, ушибаясь, получая удары, от которых еще долго оставались синяки – и на теле, и в душе. Он дошел в конце концов до понимания того, что мир наш создан Творцом и управляется Им. Но, Б-же мой, каким же извилистым был этот путь! Чего только он не перепробовал!

Йошер остановился и некоторое время теребил свою небольшую густую бородку.

– Я прекрасно помню, как в нашем доме висела большая икона, освященная на Афоне, под ней курились восточные ароматические палочки, а возле них стояла фотография Любавичского Ребе.

Отец даже какое-то время попал под влияние секты суфистов из Средней Азии. Кто были эти люди – я не знаю, скорей всего, шарлатаны, наживавшиеся на наивных искателях правды, как мой отец. Таких искателей в Вильнюсе собралась целая компания, и они по нескольку раз в год летали к своим гуру. Каждая поездка стоила немалых денег – билеты и, понятное дело, подарки гуру. Все это было за счет семьи, детей, но отец и не думал об этом.

Он находился в каком-то дурмане и не мог спокойно говорить о своих среднеазиатских баях, которых считал духовными учителями. А баи умели привязать к себе, да так, что человек – вроде бы нормальный, имевший высшее образование и работавший инженером – становился их духовным рабом.

Потом уже я узнал, что они отправляли мужчин просить милостыню на базары. А женщин насиловали каждую ночь. И все это происходило под видом «ломки гордыни» и подчинения воле учителя. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не мой дядя Давид.

Он тоже искал Б-га, но нашел его очень быстро – там, где и полагается. Как-то раз он приехал навестить нас из Мариуполя, где жил с моими бабушкой и дедушкой, и когда увидел, что творится с отцом, сперва ужаснулся, а потом начал чистить ему мозги, засоренные баями. Давид был старшим братом, и отец прислушивал-

ся к его мнению. К тому же, Давид уже успел кое-чему научиться у заезжих раввинов, да и у таких столпов Хабада в СССР, как реб Ури Мышов, которого Давид, а вслед за ним и отец, называл просто – адмор. И на все побасенки суфистов, которые отец выкладывал перед ним как высшие проявления человеческой мудрости, у Давида были готовы быстрые и точные ответы, показывавшие всю незатейливость этих побасенок, рассчитанных на людей с неразвитым интеллектом.

Перед отцом открылся новый мир, и он с головой ушел в иудаизм. Но вот тут случилось нечто непредвиденное. Моя мать, которая до той поры спокойно переносила все духовные поиски мужа, вдруг встала на дыбы. Иудаизм, в отличие от других религий, не ограничивается философскими беседами да ни к чему не обязывающими умозаключениями. Он требует действий, причем во всех сферах человеческой жизни. А менять привычную жизнь мать не хотела. Отношения с отцом начали ухудшаться, и полный разрыв произошел, когда отец решил подать документы на выезд в Израиль.

Мать заявила, что литовская природа и русская деревня ей намного ближе ближневосточных пустынь и гетто в Бней-Браке. От женщины с фамилией Йошер это было слышать несколько странно. Правда, девичья фамилия матери – Бринская, была чуть благозвучней для русского уха, но, как шутили евреи в СССР, бить нас будут не по паспорту и не по фамилии, а по морде. В этом смысле моя мать должна была стать одной из первых жертв будущего погрома. И все же она уперлась с такой пылкостью, переходившей чуть ли не в ненависть, что отец развелся.

Вот так и вышло, что я с отцом оказался в реховотском центре абсорбции «Ошиот». Мать с моей младшей сестрой осталась в Вильнюсе. Но ненадолго. Налетела послеперестроечная буря, и мать быстро очутилась в Чикаго. Там она и коротает теперь свою одинокую старость. Зачем ей понадобилось ломать жизнь себе и отцу – я не понимаю до сих пор. Но и не спрашиваю. Во время моих редких визитов к ней я рассказываю о своих детях, об их успехах и планах и не ворошу прошлое.

Все это длинное отступление я сделал для того, чтобы рассказать о странном соседе, однажды вселившемся в соседнюю с нами

квартиру центра абсорбции. Уже сам факт того, что ему, одиночке, дали трехкомнатную квартиру в «Ошиоте», предназначенном для семейных, говорил о том, что или у этого соседа имелись большие заслуги перед Израилем, или он обладал серьезными связями.

В нашем центре абсорбции, или мерказухе, как мы его называли, жили репатрианты из многих стран – СССР, Ирана, Румынии, Аргентины. А вот из Англии оказался только один – наш сосед Вильям. От других обитателей мерказухи, вечно озабоченных то изучением иврита, то трудоустройством, то поисками квартиры, Вильям отличался самым разительным образом. Во-первых, он никуда и никогда не спешил. Во-вторых, человек он был молчаливый.

Целыми днями бродил он по апельсиновым садам, окружавшим с трех сторон мерказуху и наполнявших воздух таким ароматом, что, казалось, кто-то разбрызгал в воздухе духи. В ульпан Вильям не ходил, резонно посчитав, что и с одним английским он сумеет прекрасно прожить в Израиле. А английский был у него просто потрясающий!

Я как один из лучших учеников лучшей вильнюсской школы с английским уклоном мог оценить это в полной мере. Вильям был не просто из Англии, а из Лондона. И не просто из Лондона, а самым настоящим кокни. То есть он родился в центре Сити и вырос под звуки колоколов церкви Святой Марии на Боу. Евреев в таком месте практически не было, но отец Вильяма работал закройщиком в знаменитом ателье «Равенскрофт», которое уже несколько столетий шьет костюмы королевской семье, членам парламента и палаты лордов. Это и позволило семье еврейского портного снимать квартиру в самом сердце того, что принято называть «старой доброй Англией».

Благодаря и произношению кокни, которое вызывает у англичан чувство благоговейного если не восторга, то уж точно уважения, и связям отца Вильям поступил в военно-морскую академию и стал офицером королевского флота. О своей карьере он много не распространялся, но просил всех называть его просто – «капитан», предпочитая этот титул своему имени. Впрочем, я порой называл его «дядя Вилли». Я был единственным из обитателей

мерказухи, с кем капитан подружился. Наверное, потому, что все с трудом говорили по-английски.

А меня капитан привлек романтикой моря, веявшей от него. Передвигался он, как и все люди, проведшие большую часть жизни на качающейся палубе, вразвалку. Голос у него, как мне тогда казалось, был стариковский, дребезжащий, визгливый. И этим голосом он постоянно распевал старинные морские песни – про соленые брызги, срывающиеся с верхушек волн, одиночество ночной вахты, прекрасную девушку, не дождавшуюся моряка и выскочившую замуж за тупоголового, но обеспеченного фермера.

Из всего его обширного репертуара лишь одна песня была на идиш, но пел он ее постоянно. Она была такая же длинная и грустная, как и его морские песни. Но о чем говорилось в ней, я не знал, поскольку из всего богатства идиш я владел тогда одним ругательством – кишмерен, ну, сами понимаете, куда. Из идишистской песни капитана я запомнил только одну фразу, по-видимому, припев: «Фуфцен хахомим ойф эйн масехес».

Сперва я просто выполнял его небольшие поручения – проверить в офисе мерказухи, не пришла ли ему почта (чего, кстати, не случилось ни разу), сбегать в киоск за «Джерузалем Пост», купить пару баночек темного пива «Гольдстар». Его капитан почему-то предпочитал другим напиткам. Я приносил ему пиво, он со смаком открывал баночку, сразу же выплескивал ее содержимое в рот, закуривал длинную черную, очень приятно пахнувшую сигару и открывал вторую баночку.

Но когда я пытался начать с ним разговор, он только буркал сквозь зубы: «Спасибо, малыш», – свистел носом, как корабельная сирена в тумане, и бросал на меня столь свирепый взгляд, что вопросы застывали у меня в горле. Точно так же он вел себя и с другими обитателями мерказухи, когда они пытались начать с ним разговор. Поэтому все очень скоро научились оставлять его в покое.

Но со мной отношения у него постепенно наладились, и он начал рассказывать мне истории из своей жизни. Сперва короткие, а затем все более длинные. Это были, без преувеличения, ужасные рассказы. Судя по ним, капитан провел всю свою жизнь на море среди грубых жестких людей. Не знаю, были ли они такими

на самом деле, но из его описаний они представали самолюбивыми карьеристами, думающими только о чинах и наградах, да о приключениях за счет казны ее величества.

Единственное, о чем с теплом и нежностью говорил дядя Вилли, – это о своем детстве, о доме, где все любили друг друга, об отце, бравшем его по пятницам в синагогу «испанцев», находившуюся прямо в Сити, и о матери, всегда припасавшей для него пятничным вечером какое-нибудь лакомство. Он часто вспоминал, как отец каждый вечер садился к нему на кровать и повторял вместе с ним перед сном «Шма Исраэль, А-донай Элокейну, А-донай Эхад».

Детство было, похоже, единственным светлым моментом в жизни капитана. Все остальные его рассказы были полны описаний людской ненависти, злобы, подлости и жадности.

Но самыми жуткими были истории о Фолклендской войне, в которой капитан принимал непосредственное участие. Его эсминец «Шеффилд» был потоплен аргентинской ракетой, и капитан чудом спасся, получив небольшое ранение. Несколько часов он болтался на спасательном плотике в открытом море, то и дело проваливаясь в забытье от холода и потери крови, пока его не обнаружили. Когда капитана доставили на Фолкленды, бои там только что закончились, и в одном госпитале в течение нескольких дней, пока их не вывезли, лежали раненные англичане и аргентинцы.

Койка капитана оказалась рядом с аргентинским офицером, тяжело раненным в последний день боев. Бедняге разворотило всю грудь осколком снаряда, и он страдал от страшных болей, которые не облегчали даже наркотики. Офицер то приходил в себя и тогда затихал, то проваливался в забытье и что-то кричал по-испански.

Капитана его крики страшно раздражали, и он попросил убрать его подальше от беспокойного соседа. Но места в другой палатке не было, и медсестра попросила потерпеть буквально несколько часов, пока капитана и всех остальных англичан не переведут на подходящий к островам плавучий госпиталь.

Аргентинец продолжал кричать что-то на своем языке. Но вдруг он странно затих на несколько минут, а потом во весь голос произнес фразу, заставившую капитана подскочить на кой-

ке: «Шма Исраэль А-донай Элокейну, А-донай Эхад». Капитан еще успел увидеть, как тело аргентинца изогнулось, глаза выкатились из орбит, а рот искривился в усмешке. А потом он обмяк, и его неподвижные глаза уставились на капитана.

В этот момент Вилли понял, что больше не желает служить на английском флоте. Вскоре он вышел в отставку – благо выслуги лет у него хватало с избытком, да еще и боевое ранение прибавилось. А затем оказался в мерказухе «Ошиот».

Через несколько месяцев я уже чувствовал себя в квартире капитана как дома. А он стал пользоваться моими услугами не только для покупки разных мелочей, но и для уборки квартиры. Убирать он не хотел, да и не умел, и договорился, что я буду делать это раз в неделю. Капитан платил щедро, и всегда после завершения уборки усаживал меня в одно из двух казенных мерказушных кресел, стоявших в салоне, сам садился в другое, угощал ароматным чаем и очередным рассказом из своей жизни.

В один из дней, когда я, вернувшись из ульпана, слонялся без дела во дворе мерказухи, ко мне подошел незнакомец. Мерказуха находилась на самой окраине Реховота, и через нее почти никто не проходил. А физиономии всех жителей соседних домов я уже давно знал наизусть. Незнакомец был бледен, с землистым лицом. Одежда его была чистая, но новая настолько, что было понятно – достал он ее из коробки совсем недавно: рубашка на нем не успела обмяться, и складки, оставшиеся от фабричной упаковки, проходили через всю спину и грудь. На левой руке у него не хватало двух пальцев, но этого он ничуть не стеснялся, а наоборот, все время размахивал ею, словно выставляя напоказ свое увечье.

Я видел, как незнакомец обращался к нескольким жителям мерказухи, и как они разводили руками. Наконец один указал ему на меня. Он подошел и спросил на довольно корявом английском:

– Извините, я хотел бы знать: обретается ли в этом доме мой товарищ Вильям?

Я ответил, что капитан пошел погулять.

– А куда, сынок? Куда он пошел?

Я показал ему апельсиновый пардес, в котором ежедневно гулял капитан, и сказал, что он, верно, скоро вернется.

– А когда точно?

И, задав мне еще несколько разных вопросов, он проговорил под конец:

– Да, мой товарищ Вильям обрадуется мне.

Но вопреки этому заверению я не заметил на лице дяди Вилли особой радости, когда он увидел незнакомца.

Пожав ему руку, дядя Вилли предложил незнакомцу сбегать в соседний маколет и приобрести что-нибудь покрепче, чтобы отметить встречу. Я удивился, почему он не послал, как обычно, меня, но промолчал. Едва незнакомец удалился, капитан схватил меня за плечо и усталым голосом сказал:

– От прошлого нельзя так просто избавиться, мой мальчик. Даже сменив паспорт. Оно липнет к тебе, как портовая девка, и требует отчета с настойчивостью волн, разбивающихся о пирс. Идем быстрей, мне нужна твоя помощь.

Мы поднялись на нашу лестничную площадку, капитан долго не мог попасть ключом в замок, так у него дрожала рука. Оставив меня в салоне, он прошел в спальню и почти сразу вернулся, держа в руках небольшой кожаный портфель.

– Возьми его, мой мальчик, – сказал капитан, – спрячь где-нибудь в своих игрушках. И никому не говори, что я тебе его дал. А теперь иди, да постарайся, чтобы никто тебя не увидел с этим портфелем.

Сделать это было вовсе не сложно – нашу дверь отделяли от двери капитана десять сантиметров. А дома никого не было. Я положил портфель на пол, набросал на него школьные учебники и вещи, а сам стал у окна салона, из которого была видна улица, ведущая к маколету, и площадка перед домом.

Незнакомец показался через несколько минут. Он пребывал в прекрасном настроении – шел быстро, чуть пританцовывая, держа в правой руке целлофановый пакет, а левой размахивая в воздухе.

Когда дверь в квартиру капитана хлопнула, я прокрался на лестничную площадку и прижался ухом к двери. Но усилия мои оказались тщетными – капитан и незнакомец, похоже, не остались в салоне, а прошли на кухню, расположенную в другом конце квартиры.

Долгое время, несмотря на все старания, я не слышал ничего, кроме невнятного говора. Но мало-помалу голоса становились все громче, и, наконец, мне удалось уловить несколько слов, главным образом ругань, исходившую из уст капитана.

Раз капитан закричал:

– Нет, нет, нет, нет! И довольно об этом! Слышишь?

Шум нарастал, собеседники явно перешли в салон. Потом я услышал, как что-то грузно грохнулось на пол. Я метнулся в свою квартиру. Когда раздались быстрые шаги на лестнице, я выглянул на лестничную площадку. Дверь в квартиру капитана была приоткрыта. Я просунул голову в образовавшуюся щель и увидел капитана, который во всю свою длину растянулся на мозаичных балатах салона. Глаза его были закрыты, из уголка рта тянулась тонкая струйка слюны.

Я попытался поднять капитана, но он был слишком тяжел. Тогда я бросился в контору мерказухи и вызвал скорую помощь. Амбуланс приехал буквально через несколько минут – больница «Каплан» находится на расстоянии двух километров от «Ошиота».

Врач сразу же поставил диагноз – обширный инсульт.

– Он что, сильно нервничал, перенапрягся? – спросил меня врач.

Что я мог ему ответить! Амбуланс отвез капитана в «Каплан», где он и умер, не приходя в сознание. Его немногочисленные пожитки сперва забрали в полицию, а потом вернули в офис мерказухи – на случай, если объявятся родственники. Но они так и не объявились.

– А что же было в портфеле капитана? – спросил рав Кинигл.

– В тот же вечер, когда стало известно о смерти дяди Вилли, я полез в этот портфель. Но там не оказалось ни денег, ни драгоценностей, ни ключа от сейфа. Только какие-то бумажки на иврите. Я в них ничего не понял и бросил портфель в свой шкаф. Угрызений совести у меня не было – если паче чаяния вдруг приедут родственники, я отдам им портфель. Но, как я уже сказал, они так и не появились.

Абсорбция моя проходила совсем не просто, и про портфель я начисто забыл до тех пор, пока мы не переехали через несколько

лет из мерказухи на свою квартиру. Я вновь полистал бумаги и понял, что это были документы на акции, приобретенные капитаном, а также бумага о передаче их в полное владение, в которой было все – и подпись капитана, и печать адвокатской конторы. Оставалось только вписать нужное имя в пустую графу. Но капитан сделал очень неудачное вложение своим нескольким десяткам тысяч долларов – приобрел акции компании, разыскивавшей газ у северных берегов Израиля. Компания занималась поисками уже несколько лет, но никаких признаков газа обнаружено не было. Эти акции не стоили ничего.

Потом, при нескольких переездах и по мере того как мой отец под влиянием дяди Давида становился все более и более благочестивым евреем, пока, наконец, не поселился вместе со мной в Бней-Браке, я несколько раз подумывал о том, чтобы выбросить этот портфель с бесполезными бумажками. И каждый раз что-то останавливало меня – скорей всего, память о несчастном еврее, попытавшемся найти счастье на Родине, но трагически заплатившем по старым счетам.

Несколько месяцев назад все израильские газеты вышли с громадными заголовками – компания известного израильского миллионера нашла на морском шельфе возле Хайфы крупное месторождение газа. Я вновь пролистал бумаги – капитан в свое время купил акции именно этой компании. Первый же биржевой маклер, которому я показал их, предложил мне за акции миллион долларов, причем был готов расплатиться на месте и наличными.

Я оказался перед серьезной проблемой. Один росчерк пера – пустая графа в купчей будет заполнена моим именем, и я превращусь в миллионера. Но вправе ли я это сделать? Из рассказов капитана я знал, что он был единственным ребенком в семье, а его родители давно скончались. Начать розыски его родственников? Или взять эти деньги и отдать большую часть на цдаку? Чтобы избавиться от сомнений, я решил приехать в Нью-Йорк, помолиться на могиле Ребе и спросить у него совета с помощью «Игрот ха-кодеш». Вот так я оказался в этом самолете.

Лицо Йошера озарилось светом. Он заморгал и прикрыл глаза рукавом черного пиджака. Солнце пробилось через тучи, и кабина самолета засияла, заискрилась от сотен маленьких светлых

лучиков, отражавшихся в лужах, собравшихся после ливня на бетонном покрытии аэродрома.

– Ну, вот и все, слава тебе Г-споди, – с облегчением вздохнул Кинигл, – теперь бе эзрат Хашем, скоро будем в Нью-Йорке.

И он от всего сердца поблагодарил всемилостивого Творца, что Он все прошедшие годы берег его от соблазна.

В свое время капитан Вильям обратился к адвокату Киниглу, и тот оформил тот самый документ на передачу акций. Уставясь в иллюминатор, Кинигл вспомнил, что копия этой бумаги хранилась в его адвокатской конторе. Когда он отказался от практики, то свалил весь архив в подвал своего дома и с тех пор ни разу не прикоснулся к папкам.

– Г-споди, Хозяин мира, – молился Кинигл, – ведь денег этих и на синагогу хватит, и мне на всю жизнь. Да что мне – детям, внукам. И не надо будет жениться непонятно на ком, и не надо будет мучиться – коэн не коэн, чиста не чиста…

Избави же меня от этого испытания, оно еще страшней, еще мучительней, чем прежнее… Г-споди, что бы Ты ни ответил мне через «Игрот ха-койдеш», первое, что я сделаю, вернувшись домой, – сожгу весь свой архив. Г-споди, я сделаю это, сделаю, сделаю непременно! Только Ты помоги мне, укрепи меня, дай устоять, дай выдержать, дай силы…

Тель-Авив

Ольга Яценко

Чаклунка

1

– Так де, ви кажете зупинилися?

– Друга хата від озера, – відповідаю я.

– Ов, у чаклунки! І не боїтесь?

– А чого мені боятися?

– В селі про неї говорять різне…

Дорожня втома і нещирий погляд жінки не заохочували до подальшої розмови. Я розрахувалася за молоко і пішла до хати, де оселилася. Вже засинаючи, думала про почуті слова. Я була в самому серці Полісся, в краю Мавки, оспіваної Лесею Українкою, в краю дрімучих лісів, синіх озер і, безумовно, чаклунів і різної нечистої сили. У передсонному забутті їхні образи випливали, змішувалися, перетворювалися на горбату постать хазяйки. Нарешті сон зморив мене.

– О-хо-хо-хо-тя, о-хо-хо-хо-тя, – виводив на світанку півень.

– Йо-хо, йо-хо, – вторила йому квочка.

Вкрите зеленою ковдрою подвір'я виблискує росою. Низьке сонечко поступово висвітлює стодоли, криницю, дерева, виграє на вологому листі старої яблуні. З передранкової темряви виступає згорблена, неначе зламана навпіл постать. Темна спідниця, легенька кофтина, біла стара хусточка. То баба Єва «літає» від стодоли до комори, від комори до поля, від поля до хати. Курей випустити, корову подоїти, свиням надати, сіно згребти, їсти приготувати. Тихою тінню носиться вона по подвір'ю.

«А дійсно, схожа на відьму, такою малих дітей лякають», – промайнуло в голові.

2

Таким було моє перше враження, коли років двадцять тому я вперше побачила її – Єву Адамівну. Ви здивовані? Мене теж зацікавило досить незвичайне ім'я моєї хазяйки. З часом ми подружилися. Нас зближувала закоханість у мальовничі волинські ліси. Скільки стежинок ми «облітали» разом з нею, в яких хащах не перебували, в яких болотах не чавкали у пошуках трав! У цих мандрах Єва відкривала мені таємниці лісу, рослин і свого власного життя. Одного разу вона розказала про своє ім'я.

– У моїх батьків вмирали діти. Матір пішла до священика, і він порадив: народиться дівчинка – назвати Євою. А батька мого, – сміючись продовжувала вона, – звали Адам. Так і вийшла Єва Адамівна. Та в селі ніхто так не величає, кличуть відьмою, а замолоду Євкою звали.

Не відає Єва Адамівна, що в перекладі її ім'я позначає «життя», або «жива», і зауважують, що головною рисою виступає надзвичайна рухливість, непосидючість. Можете вірити, а можете ні, але більш спритної та жвавої людини мені не доводилося бачити. Уявіть собі, що вона ухищується жарити млинці в хаті та разом з тим сіно на подворі грабати (перевертати). Переверне млинці – і шусть за граблі, від грабель – знову до млинців. Надзвичайно!

– Єво, давайте я за млинцями подивлюсь!

– Вой, Іванівно, ви собі віддихайте, я сама звикла. В селі кажуть, що я відьма: все летаю та летаю. Ніхто так хутко не робить, як я. Ще одна жінка була, та вже років з десять як лежить. От лихо! А яка в мене жисть була? Не дай Боже нікому!

3

Присіла Адамівна на лавку і, збиваючи вершки у трьохлітровій банці, почала розповідь про своє життя.

– Народилася я в середині червня, за тиждень до війни. Батьки жили в хаті на хуторі. Я війни не пам'ятаю. Тільки мій покійний чоловік Сафрон (він старший за мене був) пам'ятає, що, як німці прийшли, то дітям цукерки роздавали. А коли відступали назад,

то спалили і село, і хутір. Я пам'ятаю тільки землянку, що батьки в лісі викопали. Там і жили. Багато наших рили землянки, будуватись почали вже після війни. Я була старша в сім'ї, після мене ще семеро дітей народилося, і всі вижили. Я й за няньку, і за робітницю була. А як підросла, поїхала з жінками в Херсон на заробітки. Вдень виноград збирали, а вночі зерно перебирали. Заробила грошей, додому привезла. Тоді й Сафрон посватався. Він важний був – фельшар. А мені сімнадцять. Про любов ніхто не питав.

Єва ритмічно струшує банку і продовжує спогади:

– Свекор і свекруха в мене хороші були – роботящі, і я від них не відставала. П'єть корів, чотири свині – хазяйство. Встаю в три години ранку і ношуся від худоби до печі. Спершу Таїсія народилася, а потім синів Бог послав. Старший, Василько, той змалку до роботи тягнувся. Потім Ростік, такий мрійливий, білесенький, аж світився.

Як на озері (а воно у нас цілюще) побудували міжколгоспний санаторій «Лісову пісню», я хлопців за руки – і перша на роботу найматися пішла. Зайшла, а начальник каже, що треба принести пашпорта. Пішла до сільради, а там свідоцтво про народження затребували. Ой лихонько, які документи: ніде не записували, тіки в церкві охрестили. Охо-хо! Так до чого дійшли: послали мене до лікаря, щоб по зубах, як у корови, мій вік дізнався. А той спитав мене і записав у картку. Сміється.

На Лісовій наперед начальник дав клумбу полоти. Казав: «Як вмієш, то й кімнати будеш прибирати!». На єдную мене сорок одна кімната, туалети та ще довгий коридор. Почали люди приїжджати. Я така була слушна, баляси не точила, що через десять років мене в новий корпус взяли. Там і до пенсії доробила. Я любила таку роботу, що з людьми. Мала півтори ставки та ще вночі клуб прибирала. Треба було гроші: донька вчитися поїхала.

Пригадую, як же добре мені там було! Поприбираю, квіти розставлю. Чисто і пахнить гарно. За справну роботу мені таку велику ковдру подарували. Шанобливо ставилися. Як що треба швидко зробити, завжди Євку кличуть. Двадцять вісім років відпрацювала. Згадую тую роботу, як щастя. Рано вранці встану, свиням надам, худобу нагодую, корови подою, гарно вдягнуся (бо ж між людей) – та й на Лісову.

А прийду додому – старий мене і в хвіст, і в гриву. Вже п'яний. Кричить, б'ється. Все, що заробить, – на вітер пустить. Що та горілка-сухота з людьми робить! З чоловіка звіра робила й сина молодшого забрала. Ой, лихонько моє! Так в мене сумує серце за Ростіком, болить, ніяк не відпустить. Як перший раз знепритомнів, лікарі казали, що серце в його слабке, помре від горілки. Так і сталося: після вечірки у канаві знайшли, мертвого. Боже, яка то матір витримає! Та нічого не поробиш – мушу ряст топтати.

Гризливе життя було, сльозами вмивалася. Гонивая, як пес. За роботою і світа не бачила. Не можу, а йду вперьод.

4

Поки Єва розповідала про свою долю, у банці, яку вона весь час трусила, з вершків утворилося масло.

– Єво, а чому не купите маслобойку? – поцікавилась я.

– Та скільки мені того масла треба? Ось збила трохи, занесу дітям. Зараз свиням надам і побіжу до лісу. В мене заказ на ягоди й звіробій. Треба буде занести на Лісову.

На подвір'я зайшли дві жінки з малим хлопчиком, видно, що не місцеві. Питають у Єви трави від ревматизму. Птицею злетіла на горище, спускається з мішечками. Розказує жінкам, як запарювати і приймати. А малий, побачивши Єву, сховався за спину матері та злякано дивиться на бабу. Таких він бачив у книжці, де про Бабу-ягу. В оченятах жах. Страшно! А горбата відьма підходить до хлопця і пригощає його грушкою. Та от очі в баби зовсім не злі, а навпаки – світлі та добрі. Але взяти грушу малий так і не наважився. Матері ніяково за сина, вона шуткує, виправдовуючись.

– Ой, страшна згорблена баба! Та ти не бійся, синку, я діток не ображаю! – з розумінням промовляє Адамівна. Ніби це вона винна в тому, що така скрючена.

Хтозна, яка хвороба зігнула її горду постать та продовжує гнути далі, дедалі ближче й ближче до землі. Хіба вона зверталася до лікарів? Нема коли опікуватися собою. От і зараз, залишивши мене в хаті, побігла до стодоли доїти корову.

Тим часом я розглядаю її житло. Пів кімнати займає піч. Побілена груба потемніла, над нею задимлений бовдур. Білі стіни нерівні, видно, що колись мазалися просто руками. Вздовж стіни стоїть лавка, застелена саморобною ковдрою. Над вікном простенькі ікони у синіх дерев'яних рамочках: Ісус і Божа Матір. Над лавкою старі фотокартки родини. Ось велика з написом: «Уч. 7 кл. Мельниковської ВШ 1981-1982 н. р. Карнелюк Р.». Ростіка легко знайшла серед інших по світлому, наче сивому волоссю. Замріяний красень, мельниківський Лукаш. А ось і великий портрет Єви. Офіційний. Я здогадуюсь, що зроблений він років сорок тому в санаторію, певно, на Дошку пошани. Гарне тонке спокійне обличчя поліщанки. Гладко зачесане волосся зібране в косу на потилиці, над губою невелика родимка. Очі світлі та глибокі, як озера поліського краю, що переливаються сонячними відблисками. Красуня! Тоді ще не була вона горбатою і зігнутою. Мала горду пряму постать.

5

Повертається Єва. Несе відро молока. Проціджує його через марлю.

– Іванівно, давайте кружку, наллю вам молока. Ой лихонько, ледь корову здоїла: всі цицьки в неї порепані. І солодом мазала, і калганову масть прикладала, а воно болить. Гобається, не підпускає до себе. Телє покусало: ссало два місяці. Продали ондечки за дві тисячі сімсот. Я ті гроші не мала. Нащо вони мені? Невістці, Свєтці віддала, їй ще Іринку вчити.

Кинулася до комори. Комора – у пів хати. Стоять дві великі скрині: одна стара-престара з різними ручками, а друга темно-зелена, розписана яскравими квітами. Єва казала, що це їй батьки замовляли в надане. Далі складені дрова, банки з припасами. Усі кутки та стеля увішані в'язками трав. Тут і це на горищі, Євина фармацевтична фабрика. В темному затишку сушить вона назбирані за сезон трави: звіробій, чебрець, цмін, копитняк, материнка, парило – та багато інших, назви яких я навіть не знаю.

– Дивись, Іванівно, ось мох ісландський вельми гарний від кашлю. Я знаю лише одне місце, де він у нас буває. Треба йти далеченько, за медик (санаторій медичного інституту), не тею дорогою, що до Сахарова, а іншою, де корчі, з теї самої сторони. Мох я збираю взимку, як перший сніг випаде. Переберуся по неходженому – місце те я добре пам'ятаю – та почну мітелкою сніг розганяти. А мох сивий міцний, аж дзвенить. Брати легко. Тільки руки від морозу крепко зводить. Наберу, мішок на плечі – і гайда додому. Як трохи відтане, кину на піч – най сохне.

– Адамівно, навіщо вам така морока? Від кашлю іншими травами лікувати можна.

– Воно то так, але як застарілий бронхіт чи запалення легень, то краще за нього немає. Якось на Лісовій один будівельник хворий був. Ой, Боже єдиний, як же він бухикав! На ліки вже купу грошей викинув. Шкода мені його стало. Запарила моху, принесла. Попив дні зо три. Трохи полегшало. Потім навчила його запарювати. Відробила його бригада, збираються їхати. Приходить той чоловік до мене і дає сто рублів. Каже: «Бабцю, ви мене врятували від сухоти. Дякую вам».

– Ой, Боже правий! Забери свої гроші. Та трава п'єть рублів коштує, а ти скільки мені сунеш?

А він гроші поклав на стіл, повернувся і пішов. Мені й досі соромно, що взяла!

За розмовою проціджує молоко, потім метнулася до варива на печі.

– Корову вижену – і в ліс чкурнемо. А то в домі протовчешся – і нічого, а в ліс підеш – душею відпочинеш та ще ягід назбираєш. Я вчора шість літрів зібрала. Віддихаючі по п'ятнадцять гривнів забрали. На Лісовій по двадцять продають, а мені соромно. То ж такі великі гроші! А що мені збирати – залюбки.

– Єво, може, ваша спина від того й не розгинається, що ви все у наклонку робите?

– Отака біда чорна! Низом сунула б і сунула, а вверх – то не підніму. Вчора назбирала горішків.

– Та хіба зараз є горіхи?

– То квітка так зветься – горішок. Зараз покажу. Тільки треба брати рожевий, він від болю в голові.

Винесла, розстелила на газеті квіти. То була конюшина.

6

Вже котрий раз Адамівна задає мені загадки діалектними словами. Коли я вперше приїхала в Мельники, зібралася до лісу. Вже мала на прикметі місце, де багато малини росте. Раптом чую застереження:

– Туди не ходіть, там ведмеді.

– Які ведмеді влітку, поруч з людьми? – питаю здивовано.

Єва починає сміятися:

– А такі, що як вхоплять, то не відпустять!

Підводить мене до кінця подвір'я, де починаються хащі з кропиви та папороті, і показує на кущ ожини, що розкинув свої колючі гілки на всі боки.

– Отой як вчепиться, то вже не відкараскаєшся!

І дійсно, з малиннику я повернулася з кошиком запашних ягід і роздертими в кров руками та ногами, ніби побувала у ведмежих лапах.

А Єва вже кличе мене на горище. Сухенька, вона легко злітає по старій драбині, а я з побоюванням лізу за нею.

Отут її справжнє чаклунське сховище. Сохнуть великими шарами розстелені корінці, чорниці, гілки липового цвіту.

– Мені треба ще зібрати калгану, бо багато замовників. З того року ще трохи залишилося, а брати треба пізно восени. Саме перед морозами. Я їх викопую серпом, так мені зручніше. Знаєте, Іванівно, як виглядає калган?

– Знаю, невеликий кущик з маленькими жовтими квіточками. Та він у вас при дорозі росте.

– Йой, йой, то не калган. Калган росте у полі, близько болота. А корінь в нього, як у дерева: навіть річні кільця має. Чим старіше рослина, тим більш цілющий корінь. Калган вельми добре лікує шлункові захворювання, подагру. Візьміть собі, я ще накопаю.

Вже злетіла з драбини і порається коло печі.

– Поженуся на поле. Там у мене огірочки є, сапкою пройду. А вже потім і до лісу. Я місце знаю, де ягода така велика, наче вишня. Тільки далеченько буде. Я зазвичай туди лісапедом їздила, та біда сталася: зачепило ровер за корінь, і мене

як підкине на руля – і по ребрах. Мабуть, що зламала. Так боліло, що себе не відчувала, світу не бачила. Вдень як вдень: за гонитвою ніби не чуєш, а от вночі – болить, наче ріжуть. Тоді я замісила дрібно порізану бодягу, додала трохи води, щоб було таке ніби тісто, та й приклала до грудей на ніч. Під ранок трохи відпустило. Теперо згадала: добре прикласти теплу запарену пшеницю. Тільки треба неодмінно читати такий заговір: «Забір кістяний, хробак нутряний, тягни сіль, костняниця, іди на пшеницю, клюйте її сороки, їжте її ворони. В ім'я Батька й Сина й Святого Духу. Амінь». Запарила би собі, та туди треба меду додати, а в мене немає. Та й допіру ще болить.

7

Нарешті Єва звільнилася від хатнього клопоту, і ми прямуємо до лісу.

Вийшли на вулицю. На лавках сидять погодки моєї хазяйки. Побачили нас і про щось шепочуться. Одна не витримала і звернулася до Єви:

– А шо, Євко, по ягоди? Ти ж груди побила – вчора ледь-ледь совалася! Усе тобі мало, і куди гроші будеш дівати? – аж медом та з маком (не щиро) прошипіла.

– А діда молодого собі куплю, – жартує Єва.

– Ой, дивися, всіх грошей не заробиш! – заздрісно застерігає.

Звернули на стежку. Єва тихо сміється:

– Ой, подруги мої милі! Як постаріли, так з лавки не злазять. Усім кісточки перемили. А більше достається мені. Вже така я в них жадібна, ненаситна: і ягоди всі в лісі зберу, і трави всі позабираю – а мені все замало! Та не розуміють вони того, що ліс – то мій відпочинок, моє свято, моя душа.

Знаю, що відьмою прозивають. Сусідка моя Марія всьому селу нашепотіла, що бачила, як я вночі через вікно вилітаю.

Вір не вір, а воно дійсно взимку на Різдво сталося таке. Вася прийшов напідпитку і заночував у мене, щоб Свєтка його не сварила. А серед ночі проснувся і пішов додому. Та, мабуть,

ще не зовсім протверезів, бо зачинив двері зовні. Прокинулася я, бо корова чогось почала серед ночі мукати. «Що за лихо?» – думаю. Кинулася до дверей – а вони закриті. Кинулася – а вибратися не можу. Тоді я відчинила вікно і стою на підвіконні, гадаю, як злізти. А тут – Маруська, мабуть, до вітру вийшла. Побачила мене та почала хреститися. От по всьому селу й рознесла: Євка – відьма.

А ось і ліс. Сонечко вже стоїть високо, роса висохла. Та в лісі немає спеки. Пахне ялинковою смолою, чебрецем. Ступаємо по сизому моху, ноги пружинять, ніби йдеш по невідомій планеті. Де-не-де червоніють капелюшки сироїжок або виглядає лисичка, схожа на жовтий березовий листочок.

– Іванівно, хуткіше! Звернемо до болота, там ягоди повно.

А ось і чорничник. Дістає глечик, зав'язаний шворкою, ладнає його на поясі. Я пристосовую свою пластікову тару – і полювання почалось. Чорничник дійсно багатий. На одному кущику по два десятки ягід, та такі крупні! Але мій азарт швидко вщухає. Тут темно не тільки від чорниці, а ще й від комарів. Вони під стать ягодам: такі ж величенькі, та ще й настирні. Та я добре підготувалася до зустрічі з ними: одяг мій – штани і куртка – зі щільної тканини, а ще мажусь «Офом». Та його вистачає не більше ніж на пів години. Обличчя вже зудить, очі підпухли від укусів, та я намагаюся не відставати від Єви. А вона, в старенькій літній сукні без рукавів, в драних старих чоботях, нахиляє кущик за кущиком і моторно збирає ягоди.

– Єво, хіба вас комарі не кусають?

Сміється:

– Мене вони тільки цілують! Та я вже звикла, не звертаю на них уваги.

Дивлюсь – усі руки в неї вкриті великими пухирями.

Зібрала півторашку і ледь розгибаю спину. А у Єви вже два дволітрові глечика повні.

– Єво, я чому ви не берете гребінкою? Я бачила, жінки хутко нею гребуть.

– Е, то не для мене! Коли береш бралкою, так у нас гребінку звуть, то багато листя зриваєш даремно. Потім дивишся на чорничник – а він весь голий. Не до вподоби мені те.

8

Я знайшла високу галявинку і лягла на м'який оксамитовий мох. Верхівки сосен тихенько гойдаються, шепочуться. Розсипається дзвіночками зяблик. Звертаюся до Єви:

– А знаєте, для чого комарі у лісі? Щоб нагадували людині, що вона не в раю.

– І я завжди дякую Богові за таку красу, за кожну травинку та гілочку лісову. Що, Іванівно, втомилася? То пішли в озеро шубовснемося. А там швиденько вечерю готувати.

«Шубовснулися» в озеро. Єва знаходить під кущем заздалегідь заховане мило, мочалку і починає старанно терти своє сухе худеньке тіло. Пливу все далі та далі від берега. Сріблясті хвилі грають, повторюють свій танок на прозорому дні.

Вода така чиста, лагідна, що, здається, її не існує, а ти ніби розчинився у синій безодні, став часткою нескінченого всесвіту. Лягаю на спину, заплющую очі. Миготить, грає калейдоскоп кольорів.

Вертає до дійсності голос Єви:

– Іванівно, Іванівно, нуж бо вертай, потонеш!

– Не хвилюйся, стара я вже, щоб русалкою стати, – відповідаю, сміючись.

Вода зцілила покусане тіло. Втоми як не було.

По бузковому чебрецю між високих сосен йдемо додому. В оксамитовому моху де-не-де жовтенькі цяточки – лисички. Збираємо. А Єва вже летить до хати. Ледь поспіваю за нею.

– Зара наварю супчику з грибами. Хоча малувато, але буде пахкий. Наскубу гороху, бульби кину – смачнюще. От свиням надам – і до Лісової. Маю заказ на чорниці.

Швидко-швидко рухаються Євини плечі, а руки спущеними крилами майже торкаються землі.

Спустилася темрява. Зоряна поліська ніч. Дивлюся на маленькі темні вікна Євиної хатинки і мимоволі посміхаюся. Ось зараз відчиниться стулка – і полетить моя відьма світ за очі. Завтра Івана Купала.

* * *

Я знову у Мельниках. Три дні як поховали Єву. Не встигла проститися, не встигла подякувати за той чарівний світ, що вона мені подарувала. Ліс тихий, замріяний. Де-не-де чути дзвін вівсянки: «Сінь-сінь-сінь-сінь». Їй відповідає гучний флейтовий посвист іволги: «І-ль-ю-і-у, і-ль-ю-і-у». Легкий вітрець шелестить листям. Це вона одзивається до мене. Не відьма, не чаклунка, а постаріла лісова Мавка звертається до мене:

Я обізвуся до них
Шелестом тихим вербової гілки,
Голосом ніжним тонкої сопілки,
Смутними росами з вітів моїх –
Бо в серці мала те, що не вмирає.

Сергей Корниевский

Дичь

Уик-энд начался на редкость успешно. С утра меня окликнула вчерашняя студентка, а ныне инспектор секретной части, и предложила ознакомиться с поступившим на мое имя исполненным разведкой поручением по делу о недавней экспроприации на Приморской улице. Молодая девица, работавшая, быть может, только неделю и наверняка даже не знавшая, где тут у нас интимный гардероб, весьма оживленно отклонила мое требование выдать сокровенные документы в руки, засвидетельствовав свой отказ перечисленными, как по абетке, всеми положенными пунктами закона про государственную тайну. «Чему их только учат?» – подумал я. Разумеется, мой пуризм и привитое за четыре года мужичье высокомерие ахнуло в голову. Я возмутился новому явлению, словно подсолнух холодной погоде, вспылил, поменялся в цвете и внезапно перешел с девушкой на «ты». Спор был безуспешен и глуп. Мне нечего было противопоставить ее сообразительности и юридической грамотности. Заветные же бумаги были хорошо спрятаны за крепкой металлический дверью, ключ от которой лежал в сейфе за ее спиной. Я улыбнулся и произнес какой-то нескладный комплимент. Она промолчала, отчего я почувствовал себя глупо, словно оператор печатной машинки, в спешке совершивший опечатку и теперь пытающийся ее исправить, наслюнив указательный палец. В этот момент, к моему счастью, в кабинет вошел начальник криминального блока, могущественный полковник, покровитель всех оперов.

В меморандуме обнаружились любопытные подробности. Оказывается, по указанному мной адресу действительно с недавних пор проживает интересующий меня Анзар. Сверх того,

на одной из прикрепленных к документу фотографий я узнал две другие занимательные личности, именами Арслан и Мансур, возникшие в недавнем прошлом в нашей стороне, словно фиалки на плодотворной почве. Любопытная деталь: в правом углу фотографии виден был край случайно попавшей в кадр корявой шкалы, похожей на ЭКГ, напечатанной вопреки всем требованиям на обыкновенной бумаге, видимо, предоставленной хозяевам вместо ордера. «Снова заходили под видом сейсмологов, – подумал я. – Поразительная штука, за сто лет ничего не поменялось в этой сейсмологии. Как бились на станке князя Голицына, так и бьются по сей день на его отпрысках. Чего нельзя сказать о разбойниках. Были: Мотель, Нухим, Абрам, Берка. А теперь: Анзар, Арслан, Мансур, Заур». Их имена были неразборчивы, написаны от руки: по инструкции, секретные документы запрещено печатать и хранить на компьютере.

Разбой делался многообещающим. Я продолжал вчитываться в рапорт, делая какие следует отметки в своем замызганном блокноте. Раздался звонок телефона. Ответил. Звонил Панчу Аркадий, потерпевший по делу, телефонировавший мне за утро уже в третий раз. Его понять можно. Во время антрепризы разбойники разломали его жене челюсть. Виной тому партия жестокосердия и поиска справедливости. Их лица – безжалостная штука. От этого искал Панчу Аркадий особенно усердно. Я объявил, что есть добрые известия, и положил трубку. Между тем в кабинет вошел Паша, мой широкоплечий напарник. Он усадил свой мускулистый зад на стол и сообщил, что нас вызывают. Дурное предзнаменование.

В кабинете начальника райотдела, за черноротость и несговорчивость получившего от нас прозвище Очко, был весь оперативный блок. Его перевели недавно. На прошлом месте, где-то в Центральной Украине, он попался на крупной взятке, отчего угодил в немилость и был сослан, словно маршал Жуков, в ссылку на Юг. Ранее он ел манну небесную, а ныне обходится собственным кителем. Этот жирный, гад, с третьим и четвертым подбородком, встал из-за своего стола и, словно анархист Саша Фельдман, требующий контрибуцию у одесской буржуазии при красной администрации, объявил: «Много я говорить не намерен. Началась

операция «Мак». Меня не волнует, – он крепко выругался, – чтоб к концу выходных каждый сделал по триста девятой». Совещание на этом завершилось. Опечаленные опера разбрелись по кабинетам, словно полевые мыши из захудалого дома. Вместе с ними и я. В кабинете рядом с секретным меморандумом лежал абонемент на пять литров бензина – гостинец от начальника розыска.

Триста девятой мы называли статью за хранение наркотиков, по ее номеру в уголовном кодексе. Вся эта дичь с операциями «Мак», «Стоп-наркотик» и прочей чепухой была мне хорошо известна. Этой фикцией министерское руководство отчитывалось перед своим начальством, изображая и оправдывая эффективность своего назначения. Тем не менее неисполнение подобных директив всякий раз обещало малоприятные приглашения в райотдел, тяготы, штрафования и другие сотрясания воздуха и напрасную трату чернил, в то время как оперативное устранение, напротив, грозило вольностями и теплотой в обращении на ближайшие несколько дней. Самое время для дела Панчу. Само собой, схватить какого-нибудь чудака, всунуть ему загадочный конверт в штанину и представить это явление как оригинал при нашем сердечном суде было невозможно. Да и не по вкусу мне такие рецепты. Отыскать подлинный случай не так просто. Следует топтать землю. Стало быть, выход один: следует найти соискателя со взаимным интересом. Разумеется, для подобного случая у каждого порядочного милиционера в нужном месте всякий раз имеется потребный для профессии инвентарь. Мы с Пашей сообразили нужную утварь и удалились.

В Крыжановке были через пятнадцать минут. Первым делом я направился к больному туберкулезом бывалому урке Яше, местному хранителю традиций, случаем задолжавшему мне одолжение. Но он неожиданно умер, вероломно упрятав мой интерес к себе в могилу. В поисках благодетеля мы с Пашей стали шататься по селу, словно кошки. Люди обходили нас, подобно тому, как финские водители объезжают оленей, на рога которых нанесен светоотражатель. У местного магазина, едва ли не сбив с ног, в мои объятия вывалился весельчак в рваных штанах и с порожней бутылкой от водки в грязной руке. Коренная публика была мне хорошо знакома, но этого чудака я видел впервые. Я схватил

его за ворот и спешно оттащил в сторону. От резвого рывка незнакомца вырвало прямо на лестнице. Подробности растеклись по ступенькам, несколько брызг попали на мои лакированные, словно у колумбийского наркодилера, туфли. Я выругался. Увидев это, на крыльцо выскочила продавщица тетя Рая, бойкий и пышногрудый феодал с короткими ногами, доносивший мне обо всех занимательных событиях в ее поместье. Завидев меня, она расцвела.

– Серенький, как же хорошо, что ты тут, – она свела на груди руки. – Этот пьяница только что требовал у меня вручить ему бутылку водки, а денег-то при себе не имеет. Ведь это же статья, грабеж. Забери его к себе в обезьянник, пускай проспится. А если надо, заяву я накатаю.

– Ладно, мамаша, помойте ступеньки. Турист ходит, – перевел я.

Поднял мужика. Руки его были в собственных наполовину переваренных харчах. Он аккуратно вытер их о свою рубаху, затем двумя руками взялся за лоб и покорно посмотрел на меня. Видно было, что утром его рацион состоял из доширака и каких-то зеленых стеблей. Паша, стоя в стороне и разыгрывая связь с гогочущей толпой, сам предательски дистрофически дергался от смеха. Я раздраженно посмотрел в сторону зевак, выругался еще раз и повел пьяницу за угол. Паша поплелся следом. Мужик ничем не отличался от обыденного пропащего бродяги-люмпена, в какой-то миг не поспевшего за ходом хлестко меняющегося мира и в итоге сброшенного со счетов у всех близких по родству людей и коммунальщиков. Он был грязен, от лица и рук исходило зловоние. В глазах читалось потрясающее безразличие ко всему происходящему и резигнация. Только лишь очки «мавроди» выдавали в нем интеллигента. Он стоял, чуть нагнувшись вперед, слегка выдвинув плечо, пустую бутылку держа позади себя, словно подпольный миллионер Корейко гантель во время беседы с Остапом Бендером.

– Отец, ты чего это магазин грабить надумал? – спросил я бродягу.

Само собой, я понимал, что ничего противозаконного он не совершил, но собеседование с чего-то надо было начинать. Между тем мне уже четырежды звонил потерпевший Панчу, озабочен-

ный фантазиями о моем сговоре с разбойниками. Ну что мне ему сказать? Что министр приказал бросить все, включая переломанную челюсть его несчастной жены, и подтянуть реестр наркоманских дел? Он меня скверно поймет, опять будет предлагать деньги, а мне брать уже как-то и нескладно. Я не отвечал. Тем временем люмпен разговорился.

– Ребята, налейте грамм триста водки, – попросил он, глядя на нас с ясностью и пониманием, словно герой картины Серова в Третьяковской галерее.

Я возбудился.

– За что сидел? – спросил я, указав лицом на выпачканную во рвоте руку.

– Я не сидел!

Именно этот ответ я и желал услышать. Не сидевшим за триста девятую дают условный срок. Изображая инспекцию, я взял его замызганную руку и повертел несколько раз, якобы ища татуировку. Отпустил. Разумеется, мне не имелось никакого дела до рук и татуировок этого несчастного. Единственная моя к нему страсть заключалась в предстоящем мерзком, как сколопендра, предприятии, и ничего более.

– Батя, я тебе сейчас так налью, что ты не унесешь, – дал ходу Паша. Он подошел ближе к мужику и сотворил устрашающий образ.

Я нахмурил брови, посмотрел на Пашу и незаметно для несчастного сморщился и отрицательно помахал ему лбом. Паша понял.

– Ладно, парни, постойте тут. Я сейчас приду.

Я дал знак Паше, чтоб он не прислонялся к абоненту, и убежал в магазин. Тетя Рая уже убрала грязь со ступенек и озабоченно считала сдачу какому-то загорелому гостю с мощными руками, раскачанными до толщины моих ног, и красивой татуировкой в виде зловещего дракона во все плечо и часть шеи. Пока турист получал сдачу, я скромно стоял в углу магазина, рассматривая этикетки макарон. Начинать свое выступление в присутствии этого варана было страшно. Он легко мог определить меня грабителем и смять мое хилое тело, словно учащийся старших классов страницу дневника с двойкой, до приезда дежурного Штонды. Денег

я не имел, поэтому, когда турист вышел, я особенно вспыльчиво и раздраженно потребовал в срочном порядке предоставить мне две бутылки водки. Тетя Рая растерянно посмотрела на меня, видимо, рассуждая: дать отпор – или дело строгое? Я вспылил сильней, словно вот-вот кто-то умрет, заскочил за прилавок, схватил три бутылки со стеллажа и выбежал, прихватив по пути упаковку пластиковых стаканчиков. Тетя Рая молчала.

Паша и люмпен стояли поодаль друг от друга, косясь по сторонам, словно застенчивые подростки на первом свидании. Я подошел, налил в стакан немного водки и дал мужику. Он жадно выпил, глаза его блеснули. Я подошел еще ближе и сунул все три бутылки в его объятия. Мужик, поначалу слегка растерявшись, отшатнулся, но тут же оживился и крепко схватил тару. Он глядел на меня с пониманием и большой ответственностью, словно лазутчик, посылаемый в арьергард противника.

– Что вам надо? – спросил он и сверкнул глазами, как бы добавляя: – Я согласен.

Я достал из куртки бумажный сверток и сунул его в жакет своего нового единомышленника. Он был мягок, влажен и совершенно не готов к отпору. Сейчас я мог бы раскрыть прошлогоднее убийство на Кулиндоровских дачах, заглохшее на первых порах, или объявить войну соседней стране, вторгнувшись через ее границу на танке, но мне нужна была триста девятая статья. Мужик жадно впился губами в начатую бутылку и, слегка захлебнувшись, показал зубы. Водка потекла за его воротник. Глаза его заслезились. Я сжал скулы и устно снабдил его подробной инструкцией. Далее началось такое представление, от которого всякий воспитанный человек, зажмурив глаза, обратится в бегство. Но нашу с Пашей совесть заменила ксива, а воспитание – строевой устав. Когда в цирке дефицит веселья, из среды зрителей возникает скоморох со рваной до ушей мотней, прожженной дырой на ягодицах и в чувстве собственного достоинства. Он спешит участвовать в конкурсе, по пути обливая себя с ног до головы недорогим пивом и пуская отрыжки направо и налево. Подобно этому явлению, наш благодетель направился, словно пустая ладья, по течению в людное общество, неся при себе три бутылки водки в руках и конверт с травой за пазухой.

Шагая за мужиком, мы дошли до соседней улицы. Когда он проходил мимо группы покрытых бронзовой корочкой молодых людей, Паша его догнал и притормозил. Группа людей шевельнулась и с любопытством обернулась в нашу сторону. Пока я, стоя в стороне, выковыривал застрявшую промеж зубов костлявую рыбину, донимавшую меня последние полчаса, Паша что-то бубнил про недавно прибывшую ориентировку по делу об убийстве в соседнем районе, фотороботе и немытом лице подозреваемого. Все сходилось, рост, вес, возраст, типаж. «У вас есть документы, удостоверяющие личность? – спросил Паша. – Нам надо вас обыскать». Какой-то парень из толпы, стало быть, самый бойкий, подошел к нам и громко объявил, что он студент академии внутренних дел и готов оказать нам помощь. За ним подошла группа его друзей. Все разом мы окружили нашего благодетеля, словно рой пчел ненароком упущенную изо рта сладкую конфету. Я показал свое удостоверение зрителям, после чего громко и подробно объявил им какие следует артикулы и положения. Этот парад лицемерия выглядел так, словно мы с Пашей собирались обыскивать толпу полуголых людей, а не нашего благодетеля. Мужик между тем молча стоял в стороне, одиноко и грустно следя за нами, словно пассажир поезда за скудостью проезжаемой местности. Когда я закончил, мы разом обратились к нему. Паша взял бутылки водки из его объятий и положил на асфальт. Мужик медленно и покорно поднял руки. Паша ловкими движениями стал шарить по его карманам. Из заднего кармана штанин Паша достал паспорт и передал его мне. Я многозначительно открыл и начал его листать. Везение. Почему мы не справились о нем до этого момента, я не знаю. Паша подал пару резиновых перчаток, упакованных в полиэтиленовый пакет, обнаруженных в другом кармане люмпена. Увидев их, толпа взбодрилась, стали о чем-то перешептываться. Мы приблизились к апофеозу. Паша стал обыскивать внутренние карманы жакета. Он аккуратно достал бумажный сверток и с восторгом в глазах поднял его высоко над головой, словно туземец – скальп путешественника. Толпа оживилась сильней. Когда Паша начал распаковывать пакет, молодые люди стали вытягивать шеи, будто болельщики во время пенальти в ворота команды соперника.

– Это у нас что? – задал Паша омерзительный вопрос и сам на него ответил: – Сейчас посмотрим.

В пакете лежала горсть сухой травы, нащипанной мною в прошлом месяце около уличной параши в селе Санжейка и высушенной в тот же день на сковороде в квартире Паши. Курильщики называют ее «дичью», или «дичкой». Говорят, что такая трава желаемого эффекта не производит, но на экспертизе же неизбежно показывает достаточную для возбуждения уголовного дела долю тетрагидроканнабиола. Мы составили какие следует грамоты. Понятые и подозреваемый приложили руку. Я позвонил в дежурку, зарегистрировал рапорт, после чего наказал мужику явиться завтра в райотдел, и мы разошлись. Само собой, паспорт я оставил у себя.

На другой день поутру мужик стоял около кабинета, ожидая моего появления, словно студент профессора. К моему огромному изумлению, он был выбрит, аккуратно одет и, как мне показалось, свежепострижен. Поначалу я даже усомнился в подлинности этого явления, но, приблизившись, понял: ошибки быть не может. Мужик открыл рот, желая начать беседу, но я остановил его поднятым вверх пальцем. Мы зашли в кабинет. Он стал около моего обветшалого перекошенного шкафа с потрескавшимся лаком на дверцах и гигантской дырой от удара взбешенного начальника участковых. Трясясь, словно хвост красноперки в руках неумелой домохозяйки, он заговорил.

– Видите ли… вчера… – его голос задрожал, а глаза покраснели, словно раскаленная сковородка, и наполнились слезами. – Вчера я совершил непозволительную глупость.

Он расплакался. Всхлип его был таким кротким и беспомощным, похоже было, что он боялся нарушить тишину или мой покой. В руках он теребил какой-то плюгавый белый платочек, которым время от времени подтирал глаза и щеки. Вначале это явление разбудило во мне свирепство и презрительную желчь, но когда он вдруг поднял на меня свой смиренный и погожий взгляд, я узнал в нем оступившегося интеллигента. В этот момент я почему-то вспомнил глаза моей учительницы географии, поймавшей меня за вымазыванием ее деревянного стула клеем «Момент». Во мне переменилось.

Я сел за стол и усадил гостя в кресло. Он представился Василием. Сидя друг напротив друга, мы совещались полчаса. Выяснилось, что он вовсе не люмпен, а старший инженер-технолог жмеринского сталелитейного завода, утомившийся от домогательств и нерушимости ума начальства, словно алчный спекулянт от налогового инспектора, и решивший укрыться на время среди удобосговорчивых южан. О, как же я его понимаю! Он искал у черноморской тверди прибежища, а повстречал напрасные хлопоты и людей, лишенных достоинства. Приятель! Сопя и умываясь слезами, он рассказывал мне о плуте, главном инженере завода, торгующем остатками былой роскоши, на упреки резонно отвечающем: «А зачем тогда становиться начальником?». О несносной жене, с которой вот уже год состоит в разводе, но по причине отсутствия у обоих иного жилья, кроме общей комнаты в коммунальной квартире, продолжает жить под одной крышей, и ее выходках: «Я не идиотка, чтоб по четвергам мыться» или «отдай керосинку или берегись смерти». Я засмеялся, но его слова еще сильней пробудили во мне участие и симпатию. Когда я собирался выходить из кабинета, Василий достал из штанины банкноту в пятьдесят гривен и протянул мне. Эту позорно малую мзду я брать не хотел, но в картридже закончилась краска, сверх того, я всерьез подумывал вернуть тете Рае долг. Я вышел из своего кабинета с незыблемой готовностью освободить от ответственности за минувшую шалость нового друга.

По пути в кабинет начальника я вспомнил услышанный недавно анекдот о том, как одоленные непреклонным требованием задекларировать триста девятую гаишники в надежде сбить оскомину руководства склонили некоего товарища разыграть водевиль, где у него в автомобиле в результате слаженных действий находят любопытный пакет. Разумеется, по соображениям безопасности предприимчивые гаишники заместо марихуаны в пакете разместили самый обыкновенный бурьян, высушенный и растертый до необходимой консистенции. Эта фантазия должна была на время экспертизы избавить их от насилия начальства и завершиться на заключении эксперта, где напротив параграфа о наличии наркотических средств будет стоять прочерк. Но пьяный эксперт по обыкновению выдал

копию предыдущего заключения, сменив лишь дату и фабулу события. От такого известия товарищей гаишников взял припадок, и началась унылая милицейская суматоха.

С этой мыслью я вошел к начальнику розыска. Он сидел за своим столом в конце кабинета и смотрел в окно. На краю стола находился небольшого размера бронзовый бюст Дзержинского. На стене текст: «Честь и порядок». Похоже, моему появлению он был рад. Он сделал мне несколько комплиментов по поводу вчерашней акции, я смущенно потупил взгляд, после чего объявил, что Василия следует отпустить. Некоторое время начальник слушал меня внимательно, даже что-то записывал. На мгновение мне даже показалось, что я нахожу понимание. Но вскоре, само собой, он утратил к моему нелепому сердоболию всякий интерес. Перебив меня и отозвавшись неодобрительно, он выругался в мой адрес и выпроводил из кабинета, пригрозив мерой. Я вышел и остановился у окна. «Да, его понять можно, – подумал я, – сам я не управлюсь, следует идти к Очку, а кто этого желает?» К тому же, явлению этому присвоен порядковый номер, и дело уже направлено на экспертизу. Ехать к экспертам без санкции руководства невозможно: меня, не выслушав, вышвырнут, как котенка, и вдобавок унизят. Затем еще и десяток студентов, наблюдавших за нашим подвигом, – с ними что делать? Выходные только начались, от нас непременно опять потребуют регистрации, а где отыскать нового героя? Аркадий звонил мне раз тридцать – снова его лишать внимания? Сверх того, в будущем месяце у меня по графику отпуск, и полагающееся звание недалеко – следует отличиться.

Я соблазнялся все сильней, становилось совершенно очевидно: Василию помочь не смогу. Я вернулся в кабинет. Мой подзащитный сидел там же, сжав загорелые руки между колен. Он был похож на застенчивого виолончелиста, желающего согреться перед пробным выступлением. Увидев меня, он резво привстал, я жестом наказал ему вернуться в кресло и, сам не зная, зачем, автоматически покинул помещение. Я спустился на первый этаж, зашел в дежурную часть, потоптался около камер наблюдения, взял выписку из журнала со своим рапортом, после чего вернулся в кабинет. Разумеется, логику своих аргументов Василию я не открыл, лишь озабочено объявил ему, что был у начальника, и ни-

кто, к сожалению, помочь ему уже не сможет. В доказательство я протянул ему выписку из реестра, подписанную дежурным сержантом. Он снова схватился за голову и стал умолять спасти его. Я успокаивал его тем, что он ранее не судимый, а значит, будет условный срок. Услышав это, он снова и снова брался за голову. Просидели мы с ним около часа. Разгадку искали сообща. Он, еще не освоивший, что его несчастное имя уже пополнило списки обезумевшей компании, советовал мне обратиться к вышестоящему руководству с покаянной запиской. Я на ходу воображал отговорки и объявлял их Василию. Он смиренно и понимающе кивал головой, брался двумя руками за лицо. Время от времени я покидал кабинет или громко говорил по телефону, имитируя попытки решить его проблему. Спрашивал совета у Паши, тот в недоумении махал головой. Я чувствовал себя гнусно, вел себя самоуверенно. Василий безжалостно корил себя матом и царапал лицо. Я доказал ему, что сделать что-либо невозможно. Он сидел, опустив вспотевшую голову, уткнувшись взглядом в пол. Я играл в пасьянс на компьютере и диктовал Паше текст объяснения от студента академии внутренних дел. Вдруг в кабинет вошел начальник розыска, за ним следом начальник райотдела. Они стали посередине кабинета, последний обратился к Василию.

– Ты что, – спросил он, – в Жмеринке живешь?

Василий поднялся с кресла и озабоченно кивнул головой. Затем начальник, тряся подбородком и тыкая в стороны средним пальцем, объявил мне, что Василия сейчас же следует отпустить, материалы отозвать. Ничего более не объясняя и не обложив меня, по своему обычаю, цокотом, он вышел из кабинета. Василий блаженно защебетал и чуть ли не книксеном проводил своего спасителя. Следом за ним, озабочено глянув на меня, вышел начальник розыска. Паша выругался и смял лист бумаги, на котором в извращенной форме были описаны события вчерашнего вечера. Потрясенный новостью Василий, разумеется, не заметил его вероломную выходку. Я зевнул, выключил компьютер и почесал затылок. Василий, раздув ноздри, словно конь на скачках, шел ко мне, выставив вперед грудь. Он схватил меня руками металлурга и крепко обнял. Затем он подошел к Паше, треская красным от удовольствия ртом. Он благодарил его за помощь, мял его руку,

словно школьный учитель музыки прославленному капельмейстеру за отличный концерт. Я вернул Василию паспорт, буркнул что-то, еще раз пожал руку. Рассматривая нас по очереди и широко улыбаясь, он все еще трясся.

Делать нечего, мы вышли из кабинета, я провел его до передней, мы еще раз обнялись, и он ушел. Пятьдесят гривен, подаренные им два часа назад, во внутреннем кармане пиджака жгли мне сердце, но я их не вернул. За эти деньги я намеревался возвратить долг за три бутылки водки и упаковку стаканчиков, выброшенную нами там же, рядом с магазином. Впрочем, этих денег мне не хватало, следовало отыскать еще. Я вернулся в кабинет. Паша мне объявил, что был начальник розыска. Что наша профессия принята без ущерба репутации и рейтингу, что мы можем заниматься делом Панчу. Он добавил, что Очко сам родом из Жмеринки, знаком с директором завода, что у них имеется общий интерес в какой-то судостроительной фирме и проч. Что ж, у металлистов свои сношения. Я позвонил Аркадию Панчу, пригласил его в райотдел, после чего достал из стола исполненные милицейской разведкой поручения и стал их изучать. Паше я объявил, что сегодня же по пути домой нам следует заехать в село Санжейку.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Поэзия

192 **Юрий Михайлик**
«Небо – черное с золотым…»

194 **Тая Найденко**
И назови мне эти имена

200 **Виталий Амурский**
«Сквозь брешь меж небом и стеной…»

205 **Влада Ильинская**
Клонируем полковничьи ошибки

210 **Анна Галанина**
Мир фонарей

214 **Віталія Бабущак**
Проростають крила

Юрий Михайлик

* * *

Небо – черное с золотым.
Золотое – огонь, а черное – дым.

Но пчелы не могут летать в огне.
Мне придется помнить об этом дне.

По всему побережью горит жилье,
люди, леса, лесное зверье.

Но пчелы не могут летать в огне.
Мне придется помнить об этом дне.

Искра летит, как метеорит
над красной дорогой – гудрон горит.

Но пчелы не могут летать в огне.
Мне придется помнить об этом дне.

Пчелы за медом летят поутру,
не желая знать про огонь и жару,

и они врываются в ту черту,
где они взрываются на лету.

Но пчелы не могут летать в огне.
Мне придется помнить об этом дне.

Об этом дне. Обо всех, что во мне,
где ненависть плавит людей в огне,

где – гибель оранжевой с черным пчеле,
летящей за медом на черной земле.

Ибо пчелы не могут летать в огне.
Мне придется помнить об этом дне.

Австралия. 2020

Тая Найденко

И назови мне эти имена

* * *

Как будто все тепло ушло наружу.
Мы выстыли, мы вымерзли, нам хуже,
Чем было в январе – вообрази!
Противно на себя глядеть вблизи,
Все главное случается не с нами.
Мы все еще свое волочим знамя,
Но кто упал – так и лежит в грязи.

Как будто мы чего-то расхотели,
На чем держалось главное, и в теле
Нет больше ни кости. И поделом.
Нас так пугал случайный перелом,
Безумие зимы, ожоги лета,
Что нам и не положено скелета.
Оставили бы место за столом!

Как будто стол накрыт, и гости в сборе.
Но отмечают праздник или горе –
Не разобрать по лицам. Тишина.
Свет падает из битого окна
И делит мир на мелочи, которым
Нет имени. Теперь задерни шторы
И назови мне эти имена.

* * *

Какая-то особенная ложь
Есть в том, как улыбаются супруги,
Одежду поправляя друг на друге.
С такой улыбкой всаживают нож

Во вражескую кожистую шею,
Пробормотав: «Ты сдохнешь, сука? Ну!».
Но он твердит: «Люблю ее одну!
С годами-то она все хорошеет…».

Она же, как положено жене,
Нахваливает быт, семью и мужа,
И тем сильней старается, чем хуже
Ей после будет с ним наедине.

Любовь? Какое, к черту… Брачный ад!
С любовью не рифмуется морковка,
Усталость, злость и то, как он неловко,
С нее сползая, ищет свой халат.

Взаимно каждый выкрик, жест и всхрап –
Изучен, ненавистен, презираем,
И утешает только миг, когда им
Сын отвечает в трубку «мам» и «пап».

Живая рана – каждый божий день,
Прожитый так. Жужжит кофемашина.
Не женщина уже и не мужчина,
А общий враг отбрасывает тень.

И два навеки спаянных врага
Уже не могут жить без жуткой фальши.
И разойтись не могут. Что же дальше?
А дальше будет утро четверга.

Когда на кухне заорут коты,
И муж, привычно скинув одеяло,
Вдруг осознает, что его не стало,
За миг до наступленья черноты.

А ей еще понадобится час
На поиски дыхания и пульса,
На бормотанье «Тихо, не волнуйся…»,
Бессмысленное, в общем-то, сейчас.

Сперва она распробует «не жив».
«Не дышит». И уже «одна», не «двое».
И закричит.
Вот в том животном вое
Не слышится уже ни капли лжи.

* * *

Входи в меня, как в лето, которое кончает
То августовским шумом, то тихим сентябрем,
Входи в меня, как в море, которое качает
И бьет корабль о берег. Мы новый соберем.

Входи в меня, как в город, упавший обреченно
Под кованым железным хозяйским сапогом.
Когда все это небо затянет тенью черной,
Входи в меня, как в мирный и безопасный дом.

Входи в меня без стука и без предупрежденья.
Представь себе, что завтра уже не будет тел.
Считай меня подарком на сотый день рожденья,
Который не наступит. Да ты б и не хотел.

Есть миллион вселенных, где ласковые боги,
Где солнце выжигает из золота дома,
Где мраморные звери хранят тебя в дороге,
И спящих согревает серебряная тьма.

* * *

Обнимешь мертвого – и спать
Под небом из сосны.
А время повернется вспять,
Пока ты смотришь сны.

Такая сила мертвецам
От Родины дана.
Такая Родина, что сам
Уже не видишь сна.

Да и зачем тебе кошмар
Из личных неудач?
Куда ни кинешься – зашквар.
Обнимемся! Не плачь.

У мертвых – бархат и атлас,
Особенный уют.
Лежи, не открывая глаз,
И за помин нальют.

Плеснут и мертвому, но он –
Рассыпался давно.
А смерть стоит со всех сторон.
И наше пьет вино.

Поэзия не может

Все говорят:
– Поэзия не может
Быть больше скучной! Все! Какого черта
Мы терпим эту нудную бодягу –
О Родине, о птичках, о любовных
Страданиях какого-то урода,
Довольного собой при этом, в общем,

Но как-то недовольного вообще?!
Пусть эта поэтическая сволочь
Хотя бы выступает перед нами!
Пред публикой, точнее. Или перед
Любым, кто оказался впереди!
Пусть он поет хотя бы под гитару,
Пусть он хотя бы хорошо танцует,
Или хотя бы носит трость и шляпу,
Пусть он хотя бы ногти подстрижет!
Пусть он следит за кожей и улыбкой,
Раз выдумал назваться здесь поэтом,
Пусть будет нам приятен, пусть покажет,
Как все небезразличны здесь ему!

Все говорят «Поэзия – не может!».
И добавляют бред какой-то в рифму,
Как будто бы поэзия – про рифмы,
Как будто бы поэзия – про жизни,
Про среды, понедельники, субботы,
Про выпитое, зло, добро и связи
Какие-то между всем этим бытом,
Про смерть, или детей, или про бога,
Про котика, червонец, мясорубку,
Как будто бы поэзия – про что-то,
Что вообще понять могли бы все.

Все говорят – поэзия не может…
И правы.
Ничего.
Все эти строчки –
Всего лишь бесполезная попытка.
Попытка не носить, к примеру, шляпу.
Не выступать перед своим народом.
Не нравиться ни вам, ни местным птичкам,
Ни Родине, ни матери своей.
Ходить без пистолета, без гитары,
Без паспорта, без денег, без опоры.

Без кожи. И уж точно – без улыбки!
С улыбкой – только если так нельзя.

Все говорят «Поэзия не может»
С каким-то очень недовольным видом,
Как будто бы им что-то обещали –
Кредит под это дело, летний отпуск,
Прогулку, секс, успехи в обороне
Страны или бессмертие в Париже –
И будто это все не получилось
Из-за одной досаднейшей причины:
Поэзия, скотина, не смогла!

Все говорят «Поэзия не может»…
Да с нами и кино уже не может!
Вот-вот откажет проза, а за нею –
Простейшие, привычнейшие вещи,
Такие, как мораль или убийство,
Вкус сладкого, шуршание бумаги,
Приятность наблюдения за кем-то,
Возможность помочиться или выйти
Через окно куда-либо еще.

Начнется удивительное время.
(Поэзия по-прежнему не сможет,
Конечно же…)
Тогда и станет важно
Умение ходить тут без опоры,
Без паспорта, без публики, без шляпы,
Перетекать из одного в другое –
И становиться рисовой бумагой,
Шуршанием бумаги или светом,
Кружащим над бумагой, или мыслью
О том, что на бумаге написать.
Без имени, без кожи, без улыбки.
Без глаз.
И наконец-то – без стихов.

Виталий Амурский

«Сквозь брешь меж небом и стеной…»

13-16 ноября 1920 года – особая дата в истории Российской империи. В те дни, не имея возможности сдержать натиск революционных сил, Белая армия покидала Крым, оттуда уходили последние русские корабли. Тех, кто находился на них – людей военных и гражданских, – ждала неизвестность, эмиграция, надежды на возвращение, но для абсолютного большинства – невозможность когда-нибудь увидеть отечество. Одесса, как и другие портовые города Черного моря, конечно, тоже явилась свидетелем страшной беды, которая захлестнула весь юг охваченного Гражданской войной и иностранной интервенцией великого государства. Об этом написано немало воспоминаний и исторических исследований – здесь же Виталий Амурский пытается взглянуть через призму лет на прошлое глазами современного поэта. Современного не в смысле новаторского художественного решения поставленной задачи (стихи его обычно и тут не исключение – носят характер совершенно традиционный), но в смысле желания как бы пунктиром определить некие основные черты того Великого исхода, ряд современников которого ему удалось еще застать в живых, когда он сам оказался в эмиграции во Франции в 1973 году.

Наряду с композицией «Исход» в подборке читателю предлагаются стихи, написанные относительно недавно, в том числе – по случаю смерти известного правозащитника Владимира Буковского, которого в декабре 1976 года советские власти освободили из заключения, обменяв на генсека компартии Чили Луиса Корвалана.

Е. Г.

Исход

1.

Уходили, пели, плакали
Наяву, а как во сне! –
Под андреевскими флагами,
Чайкам равным в белизне.

И скалистыми химерами
Сквозь безумие и бред
Таял медленно Киммерии
Ставший лобным местом брег.

2.

Последние стоянки:
Галлиполи, Тунис…
«Прощание славянки»,
Живи, за Русь молись!

Последние стоянки,
Чужих морей вода,
Последней вахтой склянки
Отбиты навсегда.

Последние стоянки,
Последние рубли,
Как в кубриках тальянки,
Качает корабли.

P. S.

Мачты яхт, волны с легкой пеной,
Вод прибрежных тусклое зеркало
И андреевский стяг сине-белый
Слитый с небом Бизерты.

Сколько лет отстрижено чайками
В этом воздухе, что как пламя, –
Только чудится, будто «Очаков»
Где-то рядом дышит котлами.

И другие (чей путь тут кончился)
Корабли Раскола Великого,
Что не знала Россия корчившаяся
Даже в грешное время Никона.

* * *

Поняв, как действует небесный механизм
Планет соседних или же галактик,
Коперник знал, что чаще смотрят вниз:
На сапоги – монархи, мужики на лапти.

Увы, не ввысь направлены стрелой
Расчеты тех, кто правит или пашет,
И звать не стоит прежней стариной
Все то, что на земле извечно наше.

Жизнь, как козу, не привязать к колу,
Но все ж непобедим в ней дух рутины…
Ах, тот поляк!.. – я кланялся ему,
За то, что к небу взгляд мой обратил он.

* * *

Народ – понятие абстрактное,
И как зовется он – неважно:
Сократов, как и Геростратов,
Хватает в каждом.

Культ делать из него не следует,
Псевдогероев тиражируя.

Минувшее же пусть исследуют
Историки не ангажированные.

Они, увы, для всякой власти –
Не челядь ко всему привычная,
Но ведь в науке беспристрастие –
Отнюдь не признак безразличия.

А мы лишь скромные свидетели
Времен то мрачных, то посредственных,
Когда властителей сменяли дети их
На липовых правах наследников.

Плач по парижскому собору Нотр-Дам

холодный как без дров камин
где стены в саже
сказать бы надобно аминь
но кто же скажет

сквозь брешь меж небом и стеной
смотрю в него я
его печалью неземной
себя неволя

так в прошлое как в лес нырнув
где густ орешник
осознаешь что не вернуть
времен сгоревших

* * *

Из-за штор на окнах лубянского дома – света полоски.
Кто-то радуется там, возможно, или тешится:
Нынче умер Володя Буковский.

Не в Лефортово, не в Мордве – вдали от отечества.
Сколько лет загублено в тюрьмах и лагерях!
Усмехался, слыша подчас, мол, жаль его…
Не нуждаясь в доброхотах и поводырях,
Путь свой крестный вышагивая.

Без него возвратится однажды ветер на круги своя,
Не сумев обрести покой,
Но ему да будет пухом кембриджская земля,
Раз лишили другой.

Рождественское

Бесснежье. Серость. Ветерок
Сырой, колючий.
Дарами вифлеемских строк
Декабрь навьючен.

От хмурых мыслей и простуд
На юг теперь бы!..
В такую ж ночь, узрев звезду,
Не спал Тиберий.

Франция

Влада Ильинская

Клонируем полковничьи ошибки

300 на красное

Путник, пойди возвести
нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя,
здесь мы костьми полегли…

Симонид Кеосский

что легло на кон – останется на кону,
победитель с пустыми руками пойдет ко дну,
частота затрещит, внезапно замкнет волну
и он вынырнет на специальную глубину,
где под тоннами тьмы гигантские правят рыбы,
в их кальмарах дымится глубокодонный ил –
ядовитая взвесь из павших у фермопил.
победитель здесь навсегда обретает тыл,
героический газ ленивого не убил…
и кому теперь достанется эта прибыль?
потому что победа – кардиогенный шок
нам под ней так прохладно,
так приторно хорошо,
что не парят ни узость шор, ни уколы шпор,
ни разверстые пасти предателей и обжор –
наркотический сон, стопроцентный глубокий сопор
победитель преломит хлеб со своим врагом,
чешуей сверкая во мраке подводных гор,
и они разопьют коралловый самогон,

наблюдая за тем, как в пучину уходит кон,
и коньки в него алчно впиваются, словно штопор

гешефт тьюринга

закроет в прихожей дверь. обязательно проверит, закрыта ли
(один или больше раз?)
проходи на кухню, где пахнет теплым песочным тестом
(тебе точно нравится этот запах?)
устраивайся удобней
(в одной из бессчетных клеток с одинаковой планировкой
выбери табурет спиной к двери
в кухню –
ты гость на этом празднике жизни)
узнай у хозяина о здоровье и о том, платит ли так же исправно
пособие хесед.
(а хочешь спросить о том, как досталась ему эта двушка
почти что в центре?)
достанет коньяк, разольет по фарфоровым рыбкам
(совершенно не обязательно, пусть по граненым стаканам)
расскажет как его жизнь под пристрастной заботой родичей
мелодична.
сколько оттенков
имеет «скверный мальчишка»
(тут не включайся только эмоционально)
мать: финкельсон серафима львовна, работник культуры,
пала, хоть молодцом
продержалась до самой смерти. предварительно вывезла
статую из египта, так что денег
могло бы хватить на четыре замка.
(но кокаина, как видишь, нигде не бывает мало)
что до отца, он всегда говорил «пожалуй».
и потому никогда ничего не бывало мало. и
потому никогда никому не бывало мало.
на подоконнике – то ли менора, а то ли китайский веер.
был бы ты тьюрингом,
ты бы кому поверил?

ПОЛКОВНИК

полковник спит – дела его ништяк:
стекает семя на имперский стяг
и тлеет недокуренный косяк,
окутывая дымом обнаженных…

на вымышленном фронте главный гость –
полковник спит, и битва – на авось…
и где-то спят дырявые насквозь
полковником оставленные жены

полковнику приснятся зеркала,
где на повестке старые дела
и вместо отражений только мгла –
лишь силуэт безликий, безучастный –

и следом незатейливый сюжет:
о мальчике, сбегающем чуть свет –
по насту ледяному без штиблет –
чтоб только с папой дома не встречаться

что мы – по сути – кроме темноты?
текстуры выворачивают стык,
и исчезает все, к чему привык, –
и ничего не видно, кроме кода…

пусть за плечами невелик пробег –
полковник спит, не поднимая век,
ведь из-под них струится теплый снег
и дарит долгожданную свободу…

и вот уже по горлышко в воде
он вспомнит анекдоты о дожде,
которые одна из лошадей
пыталась рассказать на переправе…

вчера – полковник, нынче – адмирал,
захлебываясь, выхрипит: «аврал!»
и вроде бы никто не умирал,
но мы молчанье нарушать не вправе…

полковник спит, как минимум сто лет
полковник спит, дела его – привет:
остов ковчега придавил скелет,
снуют повсюду золотые рыбки,

нехитрый завершая натюрморт.
и бьются – то о череп, то о борт,
как жены, что не делают аборт,
клонируя полковничьи ошибки

мирный атом

трепещет в логове маньяк
под дулом стонет киллер
в сенат подался Керуак
в ашрам отчалил Миллер
Лавкрафт и Эдгар Алан По
в наглаженных рубашках
суют прохожим у сильпо
«Сторожевую башню»
Гомер сраженный красотой
расстреливает Гойю
Симон Петлюра и Толстой
в обнимку входят в Трою
на лобном месте у дворца
копают трампом яму
чтоб в ней резвился без конца
несносный Фукуяма
летит история в биде
помянутая всуе

и плотник Данте на воде
девятый круг рисует
там дружно водят хоровод
тараски и ацтеки
и мирный атом восстает
в тени библиотеки

кентавр

вот она плоть – ни выдохнуть, ни вдохнуть.
вот она кровь – ни выпить, ни отравить.
коркой морозной зарос под копытом путь –
и не пройти, и теперь уже не проплыть.
он вспоминает: шелковые бока,
острые скулы, цепкий горящий взгляд –
облик едва проступает сквозь облака
и опускается синим туманом с гряд.
делает шаг – и копыта уходят в грунт,
всякий галоп превращается в бег трусцой.
звезды ложатся на пышущий жаром круп,
в отблеске льда он видит ее лицо.
демон хрустальный вступает в свои права,
шорохом снежным укутывает живот.
торс застывает, но белая голова
моргает, оглядывается, живет

Анна Галанина

Мир фонарей

* * *

Мир фонарей светел,
свет фонарей бежев.
Каждый фонарь смертен
утром, в ночи – реже.
Ломок его голос,
враг фонаря – камень.
Жизнь фонаря – волос
из неживой ткани.
До фонаря звездам
то, что фонарь светит.
От фонаря создан
мир. И живет с этим.

* * *

Мы умерли и проснулись,
бескрылые тени птиц
в разломе убитых улиц,
в потоке неясных лиц.
Пока опадали комья
отпущенной нам земли,
забыли о том, что помним,
и прочее отмели.
Проснулись. Вязала мама,
а папа смотрел в окно.

За стенкой учили гаммы,
и скрипка визжала, но
летел по двору ракетой
твой новенький самокат,
а я шнуровала кеды.
Была я сестра и брат,
и мать, и отец, и город,
и, кажется, влюблена –
наверное, это повод
забыть, что была вина,
война, и рука, и камень,
и горе, и все не в счет.
Закончилась под ногами
земля. Мама хлеб печет.
С разбитой коленки вата
срывается – боли нет.
И нас нет. Остался атом,
в котором остался свет.

* * *

После победы не до обиды.
Белые правы. Черные биты.
Нежно сияют звонкие шашки,
шахматы водят с фишками шашни,
и, как обычно, сбитые пешки
недосчитались брошенных в спешке.
Время прекрасное после победы,
бой обернулся званым обедом,
но из горбушки выгрызен лапоть –
в корочке черной белая мякоть.
Серые тени (не кардиналы)
чавкают чем-то, что перепало,
кости кидают и между делом
цыкают зубом черным – на белых.

* * *

Двор был стар, а дворник болен,
и в пространстве не совпали,
отпустили снег на волю,
чтоб жильцы его топтали.
Те старались и до ночи
провели черту-тропинку
и пунктир в обход песочниц
шириною в полботинка.
Но к утру пришли метели,
замели тропу и двери.
Дворник прятался в постели,
виновато здоровея,
водку пил глотком не мелким
с тем, что доктор прописала,
и мечтал о деревеньке,
где сугробы цвета сала.
Нос мусолил занавеской,
вдаль смотрел – уйти б туда-то…
Но в дверях стояла веско
деревянная лопата.

* * *

Похрапывал скорый поезд,
поскрипывал мимо звезд,
и только, не успокоясь,
крутил головою хвост.
Позвякивали стаканы,
и ложки бренчали так,
что пятки у великанов
качались на полках в такт.
Дымил сигаретно тамбур
и лунно пылился свет,
и сослепу двери как бы
ворчали идущим вслед.

И поезд пыхтел устало,
так тьму прорезает крот,
от пункта, где все пропало,
к другому, где все пройдет.

Москва – Минск

Віталія Бабущак

Проростають крила

Моїй квітці

Ти знаєш, квітко, час біжить від тебе.
Сьогодні ти не та, що була вчора.
Уже не лічиш зорі в чистім небі,
Не носиш модні туфлі на підборах.
Пухкі чуттєві губи натомились –
Вони уже не хочуть цілувати
Чужі уста так жваво, як колись,
У літні ночі сидячи край ватри.
Твої малята скоро підуть в школу,
І ти їх проводжатимеш до брами.
Урок згадаєш про життя по колу
Й слова недооціненої мами.
Ти знаєш, Квітко, пройдені дороги
Уже не ті, по котрих ти ходила.
Тепер тобі на дощ ламає ноги,
То лиш тому, що проростають крила.

* * *

Удвох збирати червоні вишні
Й робити з них солодке вино.
Ми можемо жити вічно,
Вечорами граючи в доміно.

Ти будеш любити мене ночами,
Я буду любити тебе життя.
Мандруватимемо світами,
Стоптуючи зручне взуття.

Народимо сина, а краще двох,
І будуть у них великі добрі серця.
Тільки не кажи, що все знає лиш Бог.
Інколи й жінка знає задум Творця.

* * *

Був захід, натомість світанок прийде.
Зацвітуть сади, прилетять назад журавлі.
Шовкопряд ниток для одягу напряде
І достигнуть вишні в бабиному селі.

Дорослі діти покинуть отче гніздо.
Хтось піде під вінець, а інші розійдуться так.
Провівши межу поміж «зараз» і тим, що «до»,
За ніч мужчиною стане вчорашній юнак.

На зміну літу прийде холодна зима.
На заміну нам з'являються наші малі.
І якщо ти не знав – то смерті давно нема,
Ми у дітях вічно живемо на цій землі.

* * *

Вона, як міцне вино, непомітно п'янить.
Багато говорить і мало ночами спить.
Її тонкі зап'ястя пахнуть, як літні квіти,
І коли на серці кепсько, з нею хочеться жити.

Вона проста, як вода чи два на два.
Зранку їсть вівсянку, з обіду червоне вино.
З нею щиро віриш в забуті з дитинства дива,
Й неймовірні історії, зняті в старім кіно.

З нею світять яскраво вгорі зірки.
З нею ти більше, аніж насправді є.
У такої жінки просять руки,
Щоб сказати світові: «Це моє».

* * *

Прокинувшись зранку, цілуй нецілованi руки,
Шепчи мені казку про дивні далекі дива.
Записуй в блокнот опівночі спіймані звуки,
Щоб завтра із них заплітати для мене слова.

Тримай мене міцно, за пальці, за серце, за душу.
Тримай, поки вітер не вщухне, не втихне гроза,
Тримай, поки води морів ще орошують сушу,
Тримай непорушно, неначе нас Бог пов'язав.

* * *

Що той дощ за вікном, коли поруч твоя рука.
Хай туман молоком застила все, як шаль легка,
Нехай каплі зі стріхи падуть і дзвенить в вухах.
Що той дощ за вікном, коли я на твоїх руках.

Хай гримить і свистить, і дерева хай гнуть вітри.
Що негода тобі, коли поруч сміх дітвори.
Нехай сонця нема, небо сіре, а не голубе.
Що те сонце мені, коли серце любить тебе.

Розмова

– Чужа біда, хіба така буває?
– Буває, любий, – гладить внука дід.
– Я про таку, дідусю, ще не знаю.
– Ти ще малий, щоб знати стільки бід.

– Я не малий, я хочу знати, що то!
Про неї вчора говорив сусід.
– Біда, синочку, то наче болото
Із неї тяжко вийти, – каже дід.
– Після дощу болота так багато,
І воно липне до підошв взуття,
А потім за ногами лізе в хату.
И лає мати, що наніс сміття.
Але мені, дідусю, то байдуже!
Я не боюсь болота та й біди,
Бо коли терти те болото дуже –
Воно відходить навіть без води.
Дідусь сміється, внука обіймає.
– Щоб ти, синочку, лиха не дожив.
Біда… про неї дід щось трохи знає,
Бо як не як а вже життя прожив.
А внуку рано, хай у жмурки грає,
Хай вірить людям, серцю й чудесам…
Ще поки дід його оберігає,
А потім піде по життю вже сам.

Це моє

Ми були, будем ще, стоятимем, поки світ.
Поки в київських жилах тектимуть води Дніпра.
Поки в серці лунатиме лопіт калинових віт,
Поки Єви плодитимуться з Адамового ребра.

Ми піднімемось вгору, напишемо про любов.
Ми відстоїмо знову і знову себе, як є.
Ми дійдемо туди, куди ще ніхто не дійшов.
Ми із гордістю скажемо: «Це – моє».

Це мої мозолі, що вирощували життя.
Це моя непротоптана стежка, що йде до ріки.

Це моє трепетливе серцебиття,
Коли дивлюся вночі на мої зірки.

Це мої ліси, озера, поля, сади.
Це мої кав'ярні, трамваї, старі авто.
Це мої роздовбані поїзди.
Це мою машину лагодять в цьому СТО.

Це моє-моє і багато мого-мого.
Це все те, за що на війні поліг мій дід.
Воля, віра, земля, родина й до біса того,
Що з нас робить людей і продовжує рід.

Це всі ті живі і всі ті, хто давно пішов, –
Шевченко, Франко, Стус, Руденко і Чорновіл.
Молоді й дорослі, хто стояв у АТО, –
Всі, хто дійшов до хат, й ті, чиїх не знайдено тіл.

Це моя земля, мої люди, мій плач і сміх.
Це моє майбутнє купається в морі, ганяє в під'їзді м'яч,
Це моя країна, і все, що в ній є, – для всіх:
І вервечка із дач, і німий споглядач,
Пара-друга невдач, винувате «пробач»,
Одинокий читач, регіт, скрегіт і плач,
Й побажання добра на вустах моїх.

Первые шаги

220 Море талантов юной Одессы

Море талантов юной Одессы

Ксения Грачева, 18 лет, Одесса

Дар

Однажды ты поймешь, что уникален.
И что вторым таким не станет каждый.
Поверь в себя! Бездарных не бывает!
И ты не повторишься в жизни дважды!
Но, ни во что не веря, ты поник…
– Ты все еще твердишь, что безнадежен?
В тебя не верят? Позабудь про них!
Сам для себя открой свой дар, как стих,
С рожденья он в тебе заложен!
Ты все еще бредешь куда-нибудь?
Как прежде, в кедах, что промокли в лужах…
Не бойся ничего. Иди. Но не забудь –
Всегда есть те, кому ты:
Дорог!
Важен!
Нужен!

Нина Дулапчи, 17 лет, Одесса

* * *

Твой самолет бумажный,
Помнишь, что из детства?
Запущенный тобою, еще крохой,

Летит ли он, играя в салки с ветром,
Иль оборвался путь в стране далекой?

Совсем малыш,
Ты прошептал чуть слышно:
«Счастливого пути! Не пропадай, дружок!
Однажды утром я найду тебя в кувшинках,
Тех, белых. Для посадки место приберег».

И тяжело, наверно, бедолажному.
К таким, как он,
Судьба не знает жалости.
Сколько ж самолетиков
На землю опустилось от усталости?..

Взгляну на небо: где-то мой парит,
А где-то твой,
Из всех, кто очень дорог мне.
Но вот секунда – и кого-то не хватает
В бездонной сей голубизне…

Анна Матвеевская, 17 лет, Одесса

Исповедь

Я хожу по этим шумным улицам,
Я дышу пьянящей пустотой.
Ветер, заставляющий сутулиться,
Воет и кричит над головой.
Вся такая в платьице коротеньком,
На красивых тонких каблуках,
С приоткрытым полудетским ротиком
И румянцем алым на щеках
Все хожу, оглядываясь медленно
На любого парня из толпы.
С дикой страстью, ловко и кокетливо
Я играю нервами судьбы.

Словно поэтесса одержимая,
Ощущая в сердце декаданс,
Завлекаю взглядами игривыми,
Обращая чувства в диссонанс.
Образуя смысл в бесполезности,
Наслаждаюсь играми без слов;
Подчиняя совесть неуместности,
Исполняю страшный приговор…
Я ищу, сама о том не думая,
Заполненья в сердце пустоты,
Чтобы жизнь – стремительная, шумная,
Заглушила давние мечты…
Я устала плакать от отчаянья,
Обрекла утопию страдать,
Умертвила все воспоминания,
Трепетность заставила молчать!
Так живу… и боль оцепенения,
В муке разверзающая грудь,
Шепчет с ненавистным упоением:
Улети. Не думай. И забудь…
Интересно просто: неужели так
Может продолжаться без конца?!.
Я устала. Правда: все равно никак
Не увидеть истины лица…

Дарья Гризан, 9 лет, Одесса

Волшебное мыло

Жила-была девочка Наташа. Наташа была девочкой доброй, ласковой, но грязнулей – не любила она мыться. У Наташи часто болел животик, и никто не знал, отчего. Семья у нее была очень бедная, денег на лекарства не было.

Как-то пошла Наташа в лес с плетеной корзиной за грибами и ягодами. Девочка только отошла от дома, как встретила Бабушку. А у Наташи с собой был хлеб. И Бабушка попросила:

– Здравствуй, Наташенька! Дашь мне хлебушка кусочек?

А Наташа ей отвечает:

– Конечно, Бабушка. Держите.

Только она открыла корзинку, а там вместо хлеба булочка появилась. Пообедали они вместе булочкой. Наташа встала и уже собралась идти дальше, а Бабушка ее остановила:

– Стой, Наташенька! За твою доброту и щедрость я дам тебе Волшебное Мыло!

Наташа взяла Волшебное Мыло и сказала:

– Спасибо, Бабушка!

И пошла дальше.

Пришла она домой и рассказывает Маме:

– Мама, я встретила Бабушку, которая мне дала Волшебное Мыло!

– Хорошо, доченька! – ответила мама. – А сказала Бабушка, как волшебство действует?

Наташа не знала, что ответить, и решила испробовать силу Волшебного Мыла. И побежала мыть руки. Вымыла она руки, и стали они *чистые*!

И с тех пор Наташа стала сильной и здоровой, и животик у нее никогда больше и не болел!

Андрей Антуфьев, 10 лет, Одесса

Как Мишутка не лег спать

Жил-был в одном лесу маленький медвежонок Мишутка с мамой, папой и младшим братишкой Топтышкой. Рядом с домом медведей жила семья зайцев. Был у них маленький сынишка Пипа – друг Мишутки. Они часто ходили друг к другу в гости. Зайцы много рассказывали про зиму, и как они весело празднуют Новый год.

– А что такое Новый год? – спрашивал Мишутка. – Его можно есть?

– Что ты! – весело замахал лапой Пипа. – Праздник не едят, а отмечают. Песни поют, елку наряжают.

– Я тоже хочу Новый год праздновать! – обрадовался Мишутка.

– Глупенький! Зимой медведи спят! – мама-медведица погладила ласково Мишутку по голове.

Вскоре пришла зима, и вся Мишуткина семья залегла в зимнюю спячку. Только Мишутка никак не мог уснуть. Ворочался. Боялся проспать Новый год. Еще осенью друзья договорились, что зайчонок Пипа сообщит о приходе зимы Мишутке, постучав в окно.

И вот однажды раздался долгожданный сигнал, и послышалось:

– Мишу-у-тка, просыпайся! Зима пришла! Сегодня Новый год.

– Тихо, не разбуди маму, – выбравшись осторожно за дверь, попросил друга Мишутка. – Ух, ты! Здорово как!

Вокруг все было белое.

– А почему на деревьях листьев нет? А ласточки где?

– Деревья листья скинули, погрузившись в сон. А ласточки в теплые края улетели – голодно им у нас зимой.

– Откуда ты все это знаешь? – удивился Мишутка.

– Это мне мама рассказала! – гордо сообщил зайчонок Пипа. – Она знаешь, какая умная у меня!

– Здорово!

– Ну все, пошли ко мне в гости. У нас все готово к встрече Нового года.

– Ой, я кое-что забыл! – воскликнул Мишутка и исчез за дверью. Вскоре он вернулся с бумажным пакетом.

В домике у зайца царил настоящий праздник. Посередине комнаты стоял большой стол. На нем было много лакомств: сладкая морковь, хрустящая капуста и оранжевые ароматные мандарины. В камине весело потрескивали дрова. А у окна стояла красавица-елка, украшенная разноцветными огоньками и игрушками.

Медвежонок вручил зайчонку Пипе свой новогодний подарок – горшочек вкусного меда.

– Спасибо! – обрадовался друг. – А у меня для тебя тоже есть подарок, только я вручу его тебе чуть позже.

После того как друзья встретили Новый год, они пошли кататься на санках и играть в снежки.

Мишутка вернулся домой под утро. Ему очень понравилось встречать Новый год. Он уснул счастливым, и до весны ему снились сны про веселую встречу Нового года.

Подготовила Инна Ищук, глава Объединения детских писателей Одессы
Национального Союза писателей Украины

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Искусство – жизнь – искусство

226 **Евгений Голубовский**
Наедине со Вселенной

233 **Алена Яворская**
«Сохраним это счастье вдыхать акации…»

248 **Леонид Авербух**
Одесские музы поэтов

272 **Юрий Садомский**
Зеленые глаза Зулейхи

285 **Елизавета Кузьминская-Полихрониди**
Димитрис Маниотис

Евгений Голубовский

Наедине со Вселенной

Имя Владимира Леонидовича Стрельникова в каталогах, статьях о его многочисленных выставках чаще всего определяют – «один из создателей одесского нонконформизма». Вроде бы все правильно. Но я бы выделил слово – *один*. В любой группе, с друзьями, тем более с врагами, он всегда был сам по себе, в поисках *своего* пути…

Страшно подумать, не то что написать – мы знакомы шестьдесят лет. Когда Рита и Саша Ануфриевы привели меня к себе домой, на ставшую потом легендарной квартиру по Осипова, 9, первым, с кем меня познакомили, был художник Володя Стрельников.

Худой, как бы состоящий из многих углов, ироничный…

Свои картины показывал Саша Ануфриев. И тут было все понятно – фантастическая энергия, соревнование с Пикассо – кто кого перепикассит… Это было талантливо и весело, это обещало неожиданные продолжения.

Тогда же в доме Ануфриева я увидел одну небольшую картину Стрельникова.

Закрываю глаза и помню. Синяя, глубокая синяя экспрессионистская композиция. Какой-то, как мне показалось, разрушенный мир на глубинах океана. Потом эту работу купил коллекционер Илья Беккерман, она долго висела у него на Садовой. Может, и сейчас висит на стене квартиры в Нью-Йорке.

Какой будет следующий шаг после этой динамичной, агрессивной картины, трудно было даже представить. Оказалось, что дальше будет совсем другой Стрельников, причем, начавшись в шестидесятых, найдя свой путь, он останется верным ему навсегда. С экспрессионизмом он расстался, не жалея.

Привел меня к себе домой Володя, чтоб показать библиотеку деда Андрея Ивановича. Было на что посмотреть. Я бы сказал, библиотека человека, стремившегося к знаниям. Немного философии, классика русская и зарубежная. Книги по самым разным ремеслам.

Дед Володи был преподавателем гимнастики и каллиграфии, вот такое необычное сочетание, в реальных училищах. В доме были небольшие этюды южнорусских художников. Да и сам дед рисовал. Так что у Володи тяга наследственная.

Но начиналось, как ни удивительно, не в Одессе. И вновь-таки в связи с Сашей Ануфриевым.

Владимир Стрельников родился в Одессе в 1939 году. Отец его и дед по отцовской линии работали на заводе Январского восстания. Когда в 1941 году завод отправили на Урал в тыл, с заводом послали и отца, и деда.

А Володя, мама, бабушка оставались в оккупации. Лишь в 1947 году смог вернуться домой отец. Работы в Одессе не находил по душе, по заработку и подписал контракт на работу в Советскую Гавань. С ним уехала семья.

Именно в Совгавани и встретились, познакомились, подружились Володя Стрельников и Саша Ануфриев. Семья Саши была из Москвы, отец – тоже инженер, но дирижаблестроитель, также приехал по контракту.

В 11-12 лет в школе в одном классе оказались Володя и Саша. Пошли к Ануфриевым домой, а там сестра Саши вышивала крестиком. Завидно? Безусловно. И друзья тоже учились вышивать, затем рисовать.

Смерть Сталина разлучила мальчишек. Ануфриев уехал с родителями в Москву, Стрельниковы собирались в Одессу. Но тут у Володи произошла первая встреча с советской властью. И сейчас он не знает, почему, но отпускать их не хотели, чекисты пришли с обыском к отцу… И все же отпустили в Одессу.

Не только в плохих романах бывают неожиданные встречи. И в жизни такое случается. Так вот в 1957 году на улице в Одессе встретились Саша Ануфриев и Володя Стрельников. Как раз после фестиваля молодежи в Москве приехал, вдохновленный выставкой, Ануфриев, франт, стиляга. А Володя, закончив 10 классов, пошел учеником токаря на завод. Не мог решить, что делать дальше.

Ануфриев растормошил. Показал свои рисунки. Вновь вместе начали рисовать. И вдвоем поступили в художественное училище.

Учились недолго, хоть педагоги были замечательные – Любовь Осиповна Токарева-Александрович и Дина Михайловна Фрумина. Но угнетала муштра. И первым сбежал Стрельников, вслед за ним Ануфриев… Так начинали самостоятельную жизнь в искусстве.

Тогда я и познакомился с ними. Тогда и пришел в дом Володи.

Дома Стрельников показал мне свои тушевые рисунки. Это были пейзажи тихих улочек. Декоративные. Изысканные. Необычайно трудоемкие.

Мне казалось, что это медитация. Может быть, молитва в графике. Молчаливая, но искренняя.

– Хочу решить эти вещи в цвете, в масле, но еще не знаю, как, – говорил Володя.

А вообще, он говорил в те годы мало.

Ануфриев был говоруном, рассказчиком, заводилой.

Стрельников молча слушал, улыбался, изредка смеялся. Но если вставит в разговор фразу, то всегда по делу, точно, иронично, порой зло. Мне казалось, что его реплик боялись. Хоть все это было дружески, но уже волчата резвились.

В компанию пришли Валерий Басанец, Люда Ястреб, Витя Маринюк, Валя Хрущ, Слава Сычев… Иногда прибегал Люсик Дульфан, заходил Женя Рахманин… Первые и образовали неформальный круг, который с легкой руки Люды Ястреб, написавшей на одной из своих картин NON, позднее назвали нонконформистами.

А где-то в 1965 году, когда я уже бросил работу в конструкторском бюро, пришел в редакцию «Комсомольской искры» Владимир Стрельников, показал первые картины из цикла «Молдаванка». Тогда в газете открыл я его первую персональную выставку.

Он действительно нашел свой путь – от медитативных рисунков к пастозной, мощной живописи.

В основе лежала любовь к примитиву – от Нико Пиросманишвили до таможенника Руссо, в основе была добрая улыбка, мягкость, человечность.

Какими были пейзажи советской эпохи? Индустриальные. Мажорные. Как песни, что строить и жить помогали.

Володя Стрельников у своего пейзажа. Шестидесятые годы. Фото Ильи Гершберга

Какими были пейзажи Стрельникова? Домашними, лирическими, без буйной яркости, а чаще монохромные.

И эти пейзажи пришлись по душе технической интеллигенции. Состоялась выставка пейзажей Стрельникова в квартире Аллы и Вити Шевчуков в Театральном переулке, мне представляется, первая квартирная выставка, на которую ходил «весь город».

После этой выставки в коллекции Сергея Лущика появился пейзаж с магазином «Хлеб», у меня – «Лазарева, 8».

Но самое важное, что на художника обратили внимание молодые силы творческого союза – Ацманчук, Власов, Токарев, Егоров. А Межберг, которому предложили участвовать во всесоюзной молодежной выставке, взял у Стрельникова один из пейзажей «Молдаванки» и отвез вместе со своей работой в Москву. Обе картины приняли на выставку. Более того, у Стрельникова картину государство купило.

Ах, какой скандал возник в одесском союзе! Кто его приглашал? Не член! Даже не в молодежной секции! Как всегда, здравый смысл победила зависть. Но для «нонконформистов» это было подтверждением правильности пути…

Стрельников и Ануфриев и сами проложили себе дорогу в Москву. Познакомились с авангардными мастерами. Стрельников был у Оскара Рабина. Их эстетические программы были схожими. Побывал в доме Костаки, где увидел, пощупал – не в репродукциях, а в оригиналах – выдающиеся произведения русского авангарда начала века и потрясающую коллекцию северных икон.

Все это отзовется в его творчестве.

Но Москва оказалась важным пунктом в осознании своей идентичности. Именно там Стрельников встретился и познакомился с художниками Макаренко и Феодосием Гуменюком, предложившими участвовать в выставках украинского авангарда.

Казалось бы, у Андрея Антонюка, у Юрия Коваленко куда ярче звучит народная, украинская составляющая. Но инициаторы выставок считали главным иное – мы авангардисты, и мы из Украины, а значит, представляем ее мировому сообществу. Их логика оказалась верной.

Но эта же логика привела к тому, что именно за Стрельниковым начали следить в КГБ.

Началось это после квартирной выставки в Москве, в доме Володи и Аиды Сычевых. Именно там заявила о себе украинская группа. Свои работы показали Стрельников, Сазонов, Макаренко и Гуменюк.

Стрельникову откровенно угрожали. По сути, его вынудили уехать по израильской визе, по липовому приглашению – других путей тогда не было.

Как рассказывает Володя, перед отъездом с ним «по-отечески» беседовал генерал КГБ. Предупреждал, что на Западе художника ждет конкуренция…

Так и оказалось. Но именно к этому стремился художник.

Помню его картины этого периода. Формально это были еще пейзажи. Но максимально упрощенные. Формула пейзажа. Мы всегда, рассказывая о живописи, стараемся опереться на что-то уже виденное, известное. Я бы посоветовал вспомнить Моранди… От него шаг до Мондриана… И этот шаг Стрельников сделал.

Хоть сам он говорил, что наибольшее влияние тогда на него оказал Филонов. Это увлечение пришло на смену погружению в иконопись.

Так что все корни были здесь. А логика жизни заставляла уехать.

Вначале осел на год в Вене. Там появились меценаты. Затем переехал в Мюнхен.

А украинские газеты уехавшего художника поливали грязью. Продал родину… Мне и тогда хотелось спросить: а кто купил? А ощущал ли себя в родной Одессе художник тогда на родине? У кого спросишь?

В те годы отъезды казались прощанием навсегда. Кто мог предугадать приход Горбачева, гласности, перестройки? И вот уже в эти новые времена мы с женой Валентиной Голубовской поплыли по Дунаю до крайнего порта в Германии – Регенсбурга.

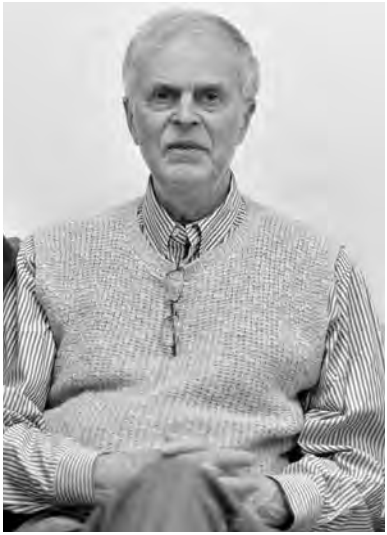
Так вот, там мы не остались любоваться природой. За нами в Регенсбург на машине приехал Стрельников, и сутки мы провели в его доме в Мюнхене.

Удивительный диссонанс. Шумный яркий город с потрясающими музеями, а там экспрессивный Явленский, абстрактный Кандинский, декоративный Кордовский и тихий, чуть даже сказочный домик, где живет Стрельников. Это дом отца его жены Мирры, одного из руководителей украинского издательства в Германии. Комната Володи функциональна, проста, минималистична.

И новая живопись – небольшие тихие, строгие, продуманные абстрактные композиции.

Продолжение той медитации, которая была и в его одесских рисунках. Но ему уже не нужна натура, он пишет не то, что видит, а то, что чувствует.

Релаксация художника становится релаксацией зрителя. И если ты настроишься на ту же чувственную волну, то вместе с мастером погрузишься в тишину.



Владимиру Стрельникову – 80.
Фото Олега Куцкого

Вот там и тогда я для себя сформулировал смысл его пути – он наедине со Вселенной.

В обыденной жизни, конечно, есть встречи, знакомые, коллекционеры. К примеру, дружил с галеристкой, внучкой знаменитого художника Рубо – Сильвией Рубо, в Мюнхене жил Сазонов, живет Наумец. Но это все вне мастерской. А переступив порог, вступив в территорию своего творчества, он разговаривает только с Богом.

В последние годы Владимир Стрельников многажды бывал в Одессе. Здесь его друзья. Да и город не стал чужим. Сравнивает. Что-то нравится, что-то огорчает.

И графику показывал в Одессе, реже – новую живопись. И в коллекции его новые работы покупали, а старые, шестидесятых годов, ищут, даже подделывать стали, а это говорит о востребованности.

Восемьдесят лет для художника – возраст мудрости. С удовольствием перечитываю интервью, что дал Стрельников для «Смутной алчбы». И мудрость его не только в словах, но и в поступках, в спокойном, как всегда ироническом восприятии всех новаций в искусстве, в понимании того, что одновременно могут существовать авангард и трансавангард.

Одесский ли художник Стрельников? Безусловно. Но и украинский, потому что это его выбор. Но и европейский, потому что весь нонконформизм изначально стал явлением европейской культуры.

Работы Владимира Стрельникова с выставки
в Музее современного искусства Одессы. 2020 год

Алена Яворская

«Сохраним это счастье вдыхать акации…»

«Одесса уже не та». «Той Одессы больше нет». «Одесса умирает».

Так говорят последние годы. Последние десятилетия. Последнее столетие. А если разобраться – с чего все началось? Какой была «та Одесса», как она стала «не той»? И что об этом говорят писатели и поэты?

Мне могут сказать, что рассуждения мои необъективны, цитаты случайны, процитированы не те авторы. Заранее соглашусь. Но, если вдуматься – ведь это же словно калейдоскоп: каждый раз ты видишь новую картину. И при этом – стеклышки те же, да и все цвета сразу невозможно заметить.

Одесса и миф об этом удивительном городе известен всему миру чуть ли не с первых дней основания Одессы.

Миф этот на протяжении двухсот лет изменялся. В первые сто лет говорили преимущественно о европейском городе, возникшем, словно в сказке, в голой степи, о вольном веселом городе, где легко можно изменить свою судьбу.

В двадцатом веке говорили больше о характере жителей города и своеобразном его языке, о романтических одесских бандитах.

Создавали образ вольного веселого города не только русские писатели. Среди творцов одесского мифа были А. Пушкин, О. Рабинович, Ю.И. Крашевский, Марк Твен, Жюль Верн, Виктор Гюго, И. Бунин, А. Куприн, Шолом-Алейхем, В. Дорошевич, А. Дерибас, В. Жаботинский, Корней Чуковский, Дон Аминадо, А.Н. Толстой, Ю. Яновский и многие другие.

В начале двадцатых годов двадцатого века громко заявила о себе литературная одесская (юго-западная) школа – И. Бабель, Э. Багрицкий, В. Инбер, И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев, С. Кирсанов,

Ю. Олеша, – окончательно сформировав в представлении читателя образ вольного города с присущим лишь ему языком и характером.

Можно сказать, что как для средневекового жителя Земля стояла на трех китах, так для современного читателя одесский миф зиждется на трех литературных произведениях: «Одесской главе» «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Одесских рассказах» Исаака Бабеля и «Времени больших ожиданий» Константина Паустовского.

В начале XIX века А. Пушкин выдал Одессе «грамоту на бессмертие», в двадцатые годы XX века И. Бабель создал легенду о короле одесских налетчиков Бене Крике, в конце 50-х годов того же двадцатого века К. Паустовский своей повестью возродил интерес к необычному, своеобразному, отличающемуся от остальных веселому городу.

Но, как уже было сказано, на протяжении двух столетий изменялось описание характерных черт Одессы.

Вначале о городе, в котором возможно изменить свою жизнь, стать свободным человеком, пели украинские кобзари:

А в Одесі добре жити.
Мішком хліба не носити,
На панщину не ходити.
Подушного не платити.
Ні за плугом, ні за ралом.
Називають мене паном.

Затем к прославлению города – торгового рая – подключаются купцы. В 1812 увидела свет книга негоцианта Шарля Сикара «Письма об Одессе»: «Из бедной деревушки Гаджибей <…> город сей <…> построенный на берегу такого моря, которое почиталось опаснейшим, сделался в столь короткое время самым цветущим торговым городом в Европе».

Русские путешественники, как правило, из аристократических семейств, описывая бытовые неудобства, предвидят расцвет города. В 1810 году в Одессе побывал князь Иван Долгорукий. «Одесса сама собою указывает выгоды свои настоящие и будущие. Довольно пробыть в ней день или два, чтобы удостовериться в пользе, которая от нее происходить удобна».

Славная Одесса, преславная Одесса – такая характеристика сопровождает в то время упоминание города. В стихах Т. Шевченко, никог-

да не бывавшего в Одессе, упоминание города также сопровождается эпитетом «преславная», хоть речь идет о страшном бедствии:

Із Одеси преславної
Завезли чуму.

Введение порто-франко в 1817 г. приводит к расцвету города, ставшего одним из главных торговых портов Российской империи и единственным значимым торговым портом на Юге.

В 1839 Владимир Бенедиктов сочетает возвышенное описание Одессы с упоминанием торговли:

Перл земли новороссийской,
Он цветет, блестящий град,
Полон славы мусикийской
И возвышенных отрад,
На морском высоком бреге
Он вознесся в южной неге
Над окрестною страной
И пред дольними красами
Щеголяет небесами,
Морем, солнцем и луной.
<…>
А Одесса что царица:
У подножия пшеница,
Из червонцев слит венец.

Болеслав Маркевич вспоминал о своей жизни в Одессе в сороковые годы девятнадцатого века: «Единственный уголок в России, где дышится свободно», – говорили не дорожившие службою господа и баре, <…> переселяясь из столиц или поселяясь временно в этом действительно жившем непохожею на тогдашнюю жизнь русских городов жизнью, окраинном местечке России».

Английский путешественник Л. Олифант в 1852 году отмечает склонность одесситов восторженно хвастать своим городом (черта, сохранившаяся и в следующих веках) и космополитический характер города:

«Влюбленные в свой город одесситы на борту парохода два дня и две ночи внушали мне, что ничто из виденного в Москве или Санкт-Петербурге не могло дать мне ни малейшего представления об очаровании Одессы. По их словам, она объединяла в себе прелести всех столиц Европы. Статуи и опера были итальянскими; бульвары и магазины французскими; клубы – английскими; а отели не имели равных в Европе. И все это вместе должно было превзойти мои самые смелые ожидания. <…>

Следует признать, что Одесса очень космополитичный город. Почти у каждой страны в Европе здесь есть свой представитель, и главные улицы заполнены всевозможными костюмами. Дух деятельности и предприимчивости, царящий в Одессе, в общем-то, чужд русским городам в целом. Причина этого, несомненно, в быстром росте города и его смешанном населении. Жители Одессы имеют гораздо больше свобод, чем жители любого другого города в империи. Меня поразила необычная свобода в курении и разговоре среди тех, с кем я общался».

Отмена порто-франко в 1859 приводит к некоторому упадку, который к концу века вновь сменяется экономическим расцветом. Но уже начинают звучать грустные фразы о минувшей славе Одессы.

В конце XIX века публикует очерки из серии «Старая Одесса» Александр Дерибас. И, по его мнению, очарование Одессы, лучшие ее годы уже в прошлом. Даже знаменитая одесская пыль – и то раньше была лучше: «Настоящий старый одессит не может не тосковать по прежней одесской пыли. <…> Прежняя одесская пыль была не такою, как ныне; она была благоуханною – как пыль цветов».

В 1894 году Одессе исполнилось сто лет. В этом же году родился и главный творец мифа об Одессе XX века Исаак Бабель. А составляющие одесского мифа конца XIX века впервые собирает воедино Влас Дорошевич, выпустивший в 1895 книгу «Одесса, одесситы и одесситки». Он одним из первых пишет о сформировавшемся к тому времени одесском языке: «И мы удивляемся, как ни один предприимчивый издатель не выпустил до сих пор в свет «самоучителя одесского языка», на пользу приезжим. Без знания одесского языка тут вас ждет масса водевильных недоразумений и чисто опереточных qui pro quo».

К концу XIX века появляется представление об Одессе как о городе, в котором легко можно разбогатеть, особенно маленькому человеку, особенно еврею из местечка. Ярче всего это описано в рассказах Шолом-Алейхема: «Я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, его величие и красоту, его жителей с их чудесными характерами, а также блестящие дела, которые здесь можно делать».

О том же писал и учитель Шолом-Алейхема, основоположник литературы на идиш Менделе Мойхер-Сфорим: «Одесса – что табакерка с потайным замком: надо знать, какую пружинку нажать, – тогда она легко раскрывается, – засовывай пальцы и доставай добрую понюшку табаку». Семен Юшкевич описал в своих рассказах новый тип одесситов – маклеров и спекулянтов, так называемых «людей воздуха».

Образ Одессы десятых годов двадцатого века в представлении человека среднего класса иной. Петр Пильский в очерке «Лики городов» дает картину беззаботного города:

«Я поражен, пленен, заворожен ею, этой легкомысленной, хохочущей, жизнерадостной, страстной, веселой южанкой. Ни один город не имеет столько верных патриотов.

Одессит – тип.

Это – русский марселец. Легкомысленный хвастун, лентяй, весь внешний, великолепный лгун, задорный шутник. <…> …поет и зовет весь этот чудо-город, город-легенда, суматоха и стон. Приезжайте в Одессу, приезжайте в Одессу! <…>

Шопенгауэр был пессимистом и женоненавистником, но только потому, что он никогда не был в Одессе. <…>

Громадный город великого, неистощимого, сказочного безумия, дышащий духами и преступлением, ни на кого непохожий, прекрасный, бурный, спешащий. <…> Вот место, где так хорошо и сладко сойти с ума, – и это море, и эта зелень, одно – гордое, другая – скромная, эти запахи морской гнили, тубероз, юга, женщин и духов, и этот нервный бег!»

Но почти в то же время Леонид Андреев, высмеивая упоминавшуюся привычку одесситов неумеренно гордиться своим городом, пишет: «Одесса, к которой перехожу, – город хвастун и фат дурного тона».

Исаак Бабель, бесспорно, творец мифа о бандитской Одессе. Но в одном из первых своих опубликованных очерков «Одесса» (1915) он дает поэтическое описание городского населения:

«Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики, и делает свое обычное дело Карл Маркс. <…>

В Одессе есть порт, а в порту – пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания – поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания».

Противореча себе, в «Листках об Одессе» в том же году он скажет: «Одесса стоит крепко, и ее изумительная способность ассимиляции не потеряна».

Но уже прозвучала фраза об увядании. Позднее, в повести «Пятеро», и Жаботинский будет вспоминать о конце XIX века как о времени, «когда Одесса была царицей».

Первый удар по одесскому мифу нанесла экономика – отмена порто-франко. Второй – революция 1917 года, вернее, приход большевиков в 1920. Новой власти европейский город, живущий торговлей, и его легкомысленные жители были не нужны.

В литературе первым об этом заявил Владимир Нарбут в 1921 в стихотворении «Годовщина взятия Одессы».

– О, город Ришелье и Де-Рибаса,
забудь себя!
Умри и – встань другим!
Твой скарб сметен и продан за бесценок.
<…>
Разодрана завеса,
и капище не храм, а прах и тлен.
Не Ришелье, а Марксова Одесса
приподнялась с натруженных колен.

В письме к Исааку Лившицу в 1924 Бабель написал: «Одесса мертвее, чем мертвый Ленин».

Но примерно в то же время рождается новая легенда: «Одесса – Голливуд на Черном море». Уже в 1926 году Юрий Яновский писал:

«Одесити – народ гарячий і симпатичний. Над усе вони кохають Одесу. Всі славетні люди з історії й географії, як відомо, були одеситами – це першого ж дня скаже Одеса, запевняючи вас, що Чарлі Чаплін народився на Молдаванці – від веселого вантажника Каплан. Той же Чарлі – за днів своєї юності – бігав босоніж на березі під кінофабрикою і, кидаючи в Чорне море камінці, згорав на одеському сонці. Ніхто навіть не подумав накрутити з нього кількох паршивих метрів фільму – з цього босого й замурзаного хлопця, в якому струміла талановита кров вантажника Каплан.

Коли ви довірливо слухатимете, не перериваючи й разу промовця, – ще й не те почуєте. Вам доводитимуть, що Дуглас Фербенкс є незаконний син тітки Рухлі з пристані. Вона ще була тоді молодою і вродливою юнкою з очима «как море», стомилася після довгого робочого дня, таскаючи цукор на широкій спині, і лягла спати на теплому камені одеської ночі.

Цим скористався молодий мрійник з американського корабля «White House» і засліпив соромливу дівчину золотом та подарунками. До самого ранку умоляв він її сотнею різних мов серед портових пахощів. Камінь кришився, розпадаючись на порох, від жаркої промови моряка.

А на ранок молода Рухля крізь сльози дивилась на «White House», – як увозив він частину її серця і батька її майбутнього синка – Дугласа.

Багато ще дечого почуєте ви від одесита, коли він заб'є вашу молодість феєрверком сенсацій, А якщо ви, людина бувала, обіллєте його вогонь водою вашого скепсису та скажете, що Одеса «так собі», – він огляне вас презирливо й викине свого останнього козиря:

– Так собі? А море?!

Країна веселого народу – це Одеса. На широких вулицях її росте ніби трава, бо кожний одесит не ходить ніколи просто, а все наче обминає якусь травинку. П'яні там – перші лицарі Веселого ордену. Вони ходять на тротуарах сотнями – витончені, чемні і граціозні, і своєю вдачею можуть звести з розуму навіть не одесита».

Это взгляд советского писателя. А эмигранты ностальгически вспоминали былую прелесть и блеск Одессы. В 1923 году Саша Черный написал стихотворение «В Одессе»:

Вдоль деревянной длинной дамбы
Хвосты товарных поездов.
Тюки в брезенте, словно ямбы,
Пленяют четкостью рядов.
Дымят гиганты-пароходы,
Снуют матросы и купцы.
Арбузной коркой пахнут воды –
И зыбь, и блеск во все концы.
<…>
Горит над жирным турком феска,
Студент гарцует средь девиц…
Внизу среди морского блеска
Чернь пароходных верениц…
Казаки, статные, как кони,
Кружком расселись в павильоне…
Урядник грузен, как бугай.
Запели… Эх, не вспоминай!

Впрочем, в 1928 году Надежда Тэффи пишет об Одессе времен гражданской войны «Не город, а сплошной анекдот! <…> Жить в анекдоте ведь не весело, скорее трагично».

Владимир Жаботинский, завершивший в 1935-36 годах повесть «Пятеро» вдохновенным описанием, можно сказать, гимном Одессе, очерк «Моя столица» (1931) заканчивает трагическими словами об уничтожении города:

«Одессу, как вавилонскую башню, с первого камня строили все племена – то есть, как уже доложено выше, все (по-моему) истинно великие племена истории; все ее строили, и каждое вложило в нее кусок своей гордости.

Оттого и получилась в итоге та степень муниципальной гордости, коей только слабым, далеко не крайним образцом является настоящий очерк.

Только то грустно, что всего этого уже нет, и Одесса давно уж не такая. Давно, еще задолго до нынешнего мора и глада, и труса, стало меркнуть и сереть то великолепие многоцветности – высокая прерогатива радуги, бриллианта, империй. Александрия Севера постепенно превращалась в южную Калугу; а теперь,

говорят, совсем и нет больше на том месте никакого города – трактором, от Куликова поля до Ланжерона, проволокли борону, а комья потом посыпали солью. Жаль…»

Тем же 1931 годом датировано стихотворение одессита Семена Липкина «Городу на море»:

Где же страшные вывески меховщиков?
Клейкий запах столярной? Цирюльни альков?
Часовых мастерских паутина?
Где ж турецких пекарен цукатный дурман?

Золотые сандалии тучных армян?
Как мне скучно вдали карантина!
Ты, красавица, нынче как будто не та:
Неприметна родня моя вся – нищета,

Запах моря на старом погосте!

В рассказе И. Бабеля «Улица Данте» (1933) есть несколько строк, не вошедших в первую публикацию: «…я уехал в Марсель. Там увидел я родину свою – Одессу, какою она стала бы через двадцать лет, если бы ей не преградили прежние пути, увидел неосуществившееся будущее наших улиц, набережных и кораблей». Причина упадка Бабелю очевидна, и золотой век Одессы уже в прошлом.

Вторит своему другу и учителю Семен Гехт в повести «Пароход идет в Яффу и обратно» (1936). Мне кажется, что по настроению этот текст схож с последней главой «Пятеро» Жаботинского (которую Гехт никак не мог прочесть).

«Кто же поселился в доме Ашкенази на Воронцовской улице и на ее божественной даче в конце Французского бульвара, над красноватым обрывом, заросшим ароматным терновником и высокими полынными кустами? Кто живет в доме Блюмберга, Хаеса, Кондиаса? Кто торгует в магазинах Пташникова, Бомзе и Дубинского? Кто работает и управляет на заводах Гена, Попова и в доках Ропита, и на складах Юротата? Купаются ли еще в Горячей Луже на Пересыпи, у мельницы Вайнштейна? Что стало с богатыми болгарскими огородами на полях орошения? Что делается на Куликовом

поле, на Толчке, на Косарке, на Бугаевке, на Ярмарочной площади? Кто вдыхает запахи сирени, акаций и маслин на дачах Вальтуха, Цудека, Маразли и Натансона? Кто сидит в Городской думе? Кто поет в Городском театре? Кто бродит по Хаджибеевским горам и кто гуляет по саду Трезвости? На Еврейской были меховые лавки, а на Малой Арнаутской – немецкие трактиры и постоялые дворы. Кто там сейчас? На Старорезничной играла в театре Болгаровой Эстер Каминская, на Прохоровской гудела мельница Инбера, в Городском саду управлял оркестром Прибик. Что там сейчас?»

«Amo – amare» эмигранта Дона Аминадо – то же противопоставление оживленной жизни города в прошлом и грустного настоящего.

Кипит, не смолкая, работа в порту.
Скрипят корабельные цепи.
Безумные ласточки, взяв высоту,
Летят в молдаванские степи.
Играет шарманка. Цыганка поет,
Очей расточая сиянье.
А город лиловой сиренью цветет,
Как в первые дни мирозданья.
<…>
Приходит волна, и уходит волна.
А сердце все медленней бьется.
И чует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернется.
Что ветер, который пришел из пустынь,
Сердца приучая к смиренью,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью.

1940-е

Вопреки этому Константин Паустовский в повести «Черное море», написанной в 1935 году, закладывает основы того представления об Одессе, которое будет создавать во всех своих книгах, посвященных городу:

«Одесса – это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики – банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это – Одесса».

Новый виток одесского мифа связан именно с Паустовским, с повестью «Время больших ожиданий», увидевшей свет в 1959 году. Публикация повести вызвала интерес к городу и писателям юго-западной школы, в частности И. Бабелю и Э. Багрицкому.

Паустовский упоминал «одесское торжище» на Новом базаре в начале двадцатых. Со временем перепродажа (или спекуляция) дефицитного товара перенеслась на Толчок – рынок, неоднократно менявший место своего расположения и ставший одной из легенд Одессы – аналога Толчку в 1960-1970-е гг. не было в Советском Союзе.

Первая часть неоконченной повести Александра Галича «Блошиный рынок» (1976-1977) называлась «Прощай, Одесса». Галич писал: «Одесса, как известно, самый необыкновенный город на всем белом свете. Я знаю это твердо и не советую никому спорить со мною по этому поводу».

Он же одним из первых описал одесский Толчок, придав ему мистические черты:

«…О, знаменитая Одесская барахолка, великий блошиный рынок, один из немногих, чудом уцелевших и при этом, даже официально узаконенных, сказочных островков частной инициативы и предпринимательства! Под открытым небом, на огромном пространстве, огороженном со всех четырех сторон высоким забором, кипит, пылит, кричит, хохочет и сокрушается несметное, неисчислимое человеческое множество, оно выплескивается на прилегающие улочки и переулки, перемахивает через ограду находящегося в непосредственном соседстве с блошиным рынком еврейского кладбища…

О, барахолка!

Уже не однажды какой-нибудь вновь назначенный ретивый начальник из горкома партии или горисполкома пытался поставить

вопрос о ее закрытии. И тогда происходило чудо – сначала где-то в отдалении начинал погромыхивать гром и посверкивать молния, ощущались таинственные подземные толчки, колебание почвы, земля расступалась, и именно на том самом месте, где стоит Одесса, образовывалась глубокая трещина, в эту трещину бесследно и навсегда проваливался злополучный ретивый начальник, земля смыкалась вновь, а барахолка, хотя и переезжала на какое-нибудь новое место, как ни в чем не бывало продолжала жить своей неописуемой, безобразной и ликующей жизнью…»

И ему же принадлежит изумительно точное описание Одессы конца шестидесятых, точнее, одесского лета. Но и здесь идет речь о прекрасном прошлом.

«Отгремело, кончилось летнее сумасшествие, когда в Одессу – к солнцу, к веселому морю, к дешевым овощам и фруктам – съезжаются несметными ордами москвичи и ленинградцы, жители Сибири, Урала и Средней Азии; когда позавтракать в кафе можно только, простояв три часа в распаленной очереди; когда мечтать о номере в гостинице смеют лишь самые удачливые и ловкие, а прочие люди средних способностей селятся где попало – снимают углы, балконы, чуланы.

А коренные жители, ошалев от этого золотого дождя, ухитряются пустить в дело, приспособить для ночлега и жилья крылечки, лодки и даже гамаки во дворе или в саду.

Это безумие, этот громоподобный прилив, пробиваясь в конце апреля, достигает своего зенита в июле и в августе. Но уже в первых числах сентября начинается стремительный отлив – уезжают родители с детьми школьного возраста, уезжают студенты и преподаватели – уезжают на машинах, улетают в самолетах, берут с боем отходящие поезда.

И Одесса пустеет, опоминается, приходит в себя, подсчитывая доходы, – до следующего лета, до нового золотого дождя.

Впрочем, старые одесситы утверждают, что в те кошмарные времена, когда помещики и капиталисты только и знали, что грабили народ и выколачивали из него прибавочную стоимость, именно октябрь месяц считался в Одессе лучшим временем года и назывался «бархатным сезоном».

Именно в октябре месяце с раннего утра и до позднего вечера в ротонде на Приморском бульваре духовой оркестр городской по-

жарной дружины под управлением маэстро Каца наяривал марши, вальсы и польки; и нарядные дамы, покачивая ажурными зонтиками, прогуливались по дорожкам бульвара в сопровождении усатых кавалеров в котелках и штиблетах; именно в октябре отчаянный рыжий авиатор Уточкин при несметном скоплении зрителей совершал над одесским ипподромом свои показательные полеты; по вечерам кавалькады карет тянулись в Аркадию, на пляжи, где дамы и господа купались при лунном свете, а потом спешили назад, в город – в игральные дома, в гостиницы, в рестораны».

Забавно, но примерно о тех же годах Бабель писал как о «временах увядания».

В 1976 году эмигрировал из Одессы Аркадий Львов. В многотомном романе «Двор» (1968-1972, 2005) он описывает еще одну деталь одесского мифа XX века – многонациональный одесский двор, составляющий особый мир.

Надо сказать, что ирония и самоирония – одна из главных особенностей жителей Одессы. У Юрия Михайлика среди многих стихов о родном городе есть шутливое стихотворение «У городов, бесспорно, есть отличья…». Написано оно в конце шестидесятых – начале семидесятых.

Есть в городе моем среди диковин
одна, которой я обеспокоен:
в Одессе конных памятников нет.
<…>
А без коней в Одессе очень странно.
И так уж есть Фонтан, где нет фонтана,
есть Мельницы, где мельниц ни следа,
и Молдаванка есть без молдаванов,
Черемушки, где в липах и каштанах
черемухой не пахло никогда.

Неожиданное преломление одесский миф получает в творчестве писателя, никогда в Одессе не бывавшего, – английского фантаста Майкла Муркока. В 1980 он пишет повесть об альтернативной истории России «Стальной царь». Герой его во время гражданской войны попадает на несколько дней в Одессу.

«Одесса – великолепный многонациональный морской порт, родина многих выдающихся поэтов, писателей, художников, прочих титанов духа. <…> в порту стояло больше торговых, нежели военных судов. Улицы кишели людьми всех наций и цветов кожи. Пахло пряностями и закусками пяти континентов <…> здесь царила жизнерадостная беззаботная атмосфера, которая дала мне пример лучших сторон славянской души.

<…> Она полна музыки, остроумных торговых перепалок, романтики. Мне невольно захотелось остаться в этом городе навсегда. Я не знаю ни одного другого города, способного сравниться с Одессой. <…> в Одессе повсеместно царит всепобеждающий дух свободы, который, как я думаю, делает всех ее жителей верноподданными единственной и неповторимой в мире державы – Одессы-мамы».

«Одесса-мама» – так называют наш город: то с любовью, то с иронией, то со злобой. Что ж, пусть. Это как в том анекдоте: «Я не золотой, чтобы всем нравиться».

Но в реальной жизни все заметнее исчезновение того, что делало Одессу не похожей ни на один из других городов мира. Даниил Гранин сравнивал два приезда в Одессу – в 1956 и 1982 годах.

«Крикливый Привоз, неслыханной красоты и мощи базары, одесский говор, одесский юмор, кому это, как говорится, мешало? В то лето 1956 года Паустовский еще мог показать свою Одессу, еще на рынке тощий инвалид в тельняшке мог заставить купить велосипедный звонок, на который все будут заглядываться! Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Одессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили, всю одесскость, одессизм, ее говор, ее шутки, ее обычаи…

Ревнители однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Паустовского. Южнорусская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным, чужеземным. <…> Набережная и лестница смотрелись отсюда так же красиво, все стало чище, портовые краны выглядели внушительнее, цветов стало больше. Дома были свежеокрашены, играли фонтаны, в киосках открыто продавали жевательную резинку. Но прежней Одессы не стало. Имелся красивый морской город, областной

центр, почему-то знаменитый, а почему – неизвестно. Люди говорили с чуть заметным южным акцентом, но примерно так же, как в Николаеве и Херсоне, и надписи всюду были правильные, никаких вольностей, и шутили так же, как всюду. Наконец-то добились, чтобы этот город стал как все другие города».

Это взгляд извне. Но почти в то же время, в начале восьмидесятых, одесский поэт Анатолий Гланц пишет поэму «Одесса».

Этот город теперь деловит и точен,
Он лоснится довольством у всех обочин.
Но все реже услышишь от раза к разу
Здесь одесскую фразу.

Да, проходят годы, смелеет пресса,
Но стареет в лужах моя Одесса…
Чудо-город, который давал все сразу,
Помутился, как разум.

С каждым годом, с каждым разрушенным зданием, с каждым уехавшим из города в поисках лучшей жизни реальная Одесса утрачивает свою особость, и приехавшие сюда в надежде найти следы одесского мифа вынуждены довольствоваться литературным.

Но сквозь всю горечь утрат, бессилие и беспомощность прорываются наши воспоминания о прошлом Одессы, которое кажется сейчас если и не прекрасным, то счастливым. А это ведь не одно и то же. И, как утверждал Анатолий Гланц,

Только стоит ли сетовать и ругаться?
Сохраним это счастье вдыхать акации…
Пусть тебе ветерком проскользнет за ворот
Этот ласковый город.

Леонид Авербух

Одесские музы поэтов

Кто вдохновлял Валентина Катаева?

Вряд ли многие могли бы похвастаться более причудливыми и крутыми виражами судьбы, чем у нашего признанного земляка, классика Валентина Петровича Катаева. Одно перечисление званий и наград, которых он был удостоен за прожитые почти 90 лет (1897-1986), впечатляет – как количеством, так и удивительным разнообразием. Кавалер двух Георгиевских крестов и ордена Святой Анны 4-й степени и… трех орденов Ленина, лауреат Сталинской премии и Герой Социалистического Труда, боевой офицер, прапорщик российской царской армии и «прапорщик Керенского» (с его слов), раненный и отравленный газом, штабс-капитан Добровольческой армии ген. Деникина, участник белогвардейского подполья и, наконец, военный корреспондент – полковник Советской армии в годы Великой Отечественной войны…

В 1912 году в «Одесском вестнике» публикуются первые небольшие юмористические рассказы юного Катаева. В этом же году отдельными изданиями выходят в Одессе два более объемных его рассказа – «Пробуждение» и «Темная личность». В первом из них описывался отход молодого человека от революционного движения под влиянием вспыхнувшей в нем любви к девушке, а во втором сатирически изображались Александр Куприн, Аркадий Аверченко и Михаил Корнфельд – издатель журналов «Стрекоза», «Сатирикон», «Спрут», «Синий журнал» и других.

Талантливые писатели, авторы лучших образцов классической прозы, как правило, не чужды поэзии, о чем иногда не знают даже увлеченные поклонники их творчества. Как писал поэт

Евгений Рейн («Арион» № 4, 2002), Валентин Катаев, один из лучших русских прозаиков XX века, не выпустил ни одного поэтического сборника. Но стихи писал всю жизнь и в одесских литературных кругах стал известен именно как поэт.

П.В. Катаев с сыновьями. 1910 г.

В молодости ему чрезвычайно повезло – его к себе приблизил Бунин, которого он всегда считал своим учителем. Бунинская «традиционость» в сочетании с необычайной зоркостью, скрытым новаторством и поиском единственных интонационных решений, стали на долгие годы путеводным компасом Катаева-поэта. Вот как он описывает выход яхты в море:

Захватывает дух от крена,
Шумит от ветра в голове.
И за кормою льется пена
По маслянистой синеве.

Е. Рейн однажды спросил Валентина Петровича, почему он так и не выпустил книги стихов. Они ведь нравились Бунину, Мандельштаму, Багрицкому – это ли не путевка в поэзию! Престарелый Катаев только развел руками и вымолвил: «Не судьба». Кстати, книга была собрана – в 1926-м. Под интонационно резким названием «Первое, огонь!», напоминавшим о биографии автора, служившего в Первую мировую в артиллерийских частях. Катаев давно уже был знаменитым на всю страну и переведенным на многие языки прозаиком, когда его изумительные стихи на смерть Маяковского появились наконец в его десятитомнике. В 30-е годы проза оттеснила в творчестве Катаева

Валентин – гимназист старших классов

поэзию, увела ее в тень. Но с началом Великой Отечественной войны он к стихам вернулся. И это были уже другие стихи. Где-то, на глубине, в них еще чувствуются отзвуки бунинских уроков, но голос теперь окончательно свой – и если обнаруживает сходство, то с собственной поздней катаевской прозой, так хорошо всем нам известной. Среди них мы находим подлинные шедевры: «Соловьи», «Могила Тамерлана», среднеазиатский цикл… То есть Катаев был и остался поэтом.

Наиболее содержательная, основанная на скрупулезном изучении биографических материалов и многочисленных встреч автора с современниками, биографами и комментаторами, книга о В.П. Катаеве издана в 2016 году в серии ЖЗЛ сравнительно молодым писателем Сергеем Александровичем Шаргуновым, возглавившим в мае 2019 года журнал «Юность», основанный и долго возглавлявшийся героем его книги. В этой книге, названной «Катаев. Погоня за вечной весной», С. Шаргунов (да и не он один – со слов и записей современников) пишет, что «Валька бегал за всеми девочками в Отраде». Известны имена тех, кому он посвящал стихи: Тася Запорожченко, Мара и Мила Булатович, Люля Шамраевская и, конечно, Ирен Алексинская, о которой следует говорить отдельно. Первое свидание пятнадцатилетний Валя назначил знакомой четырнадцатилетней девочке. И когда оно состоялось, не знал, что делать. Сводило с ума само сладкое слово «свидание»… «Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен», – признавался Катаев. И он же: «Мой донжуанский

список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла».

Самые ранние известные рукописи Катаева – стихотворные записи в альбом Тасе (Наталье) Запорожченко 1912 года, сестре его товарища Женьки «Дубастого», которые жили в Отраде по соседству.

Я грущу в эти вешние дни…
Милый друг, успокой же меня…

Или:

Был я мал и глуп, когда впервые
Написал сюда шестнадцать строк…
Мне смеялись глазки голубые
И звенел веселый голосок.

В будущем Наталья, как и ее брат, не раз будет гостить у него в Переделкине.

В далекие теперь уже 70-е годы ныне покойный С.З. Лущик познакомил меня с Евгением Ермиловичем Запорожченко, интереснейшим человеком, инженером, художником, краеведом, яхтенным капитаном, эмигрантом, участником французского Сопротивления. Один из героев повести Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», будучи уже достаточно пожилым человеком, Евгений Ермилович продолжал внешне вполне соответствовать своей необычной юношеской кличке.

А еще намного раньше, в середине 40-х, мне довелось узнать и его сестру Наталью Ермиловну, которая заведовала кафедрой иностранных языков в Одесском мединституте, где я тогда учился. Недавно умерший сын Катаева, Павел Валентинович Катаев, с которым удалось коротко пообщаться в 2015 г., в своих воспоминаниях об отце («Доктор велел мадеру пить…») ошибочно называет ее Татьяной. В альбомах сестер Мары и Милы (Тамары и Милицы) Булатович появляются, сопровождаемые автопортретами и рисунками, стихи юного Вали. Обеим он признавался в любви. Одно стихотворение так и называлось: «Маре

Булатович от влюбленного поэта!!!», а в другом, посвященном Миле, сообщалось:

Я не смогу Вас позабыть:
Довольно Вас хоть раз увидеть –
Чтобы безумно полюбить
Или безумно ненавидеть!

Про Вас пишу не много, Мила:
«Клянусь я разумом осла,
Клянусь слезами крокодила,
Что Мила чертовски мила».

Все это похоже на чепуху, пишет Шаргунов, на подростково-кавалерскую забаву, да и в старости Катаев отмахивался: «Это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишу тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи», но и замечал при этом: «Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности».

Вероятно, наиболее серьезным надо было бы считать его отношение к девушке с «сиреневым именем» Ирен. Как же много «сирени» в этих стихах и романах поэтов минувшего века! Помните Елену Дю-Буше Гумилева?..

В 1913 году, поменяв множество квартир, после Базарной, 4, где родились оба брата, Катаевы переехали на Пироговскую, 3, Валя познакомился с четырьмя сестрами Алексинскими. Одна, Инна, старше его, «отпала», как пишет Шаргунов, другие, близняшки Шура и Мура, были слишком малы, осталась Ирина, она же Ирен. Ирина Константиновна Алексинская родилась 5 мая 1900 года. Отец – генерал-майор артиллерии, мать – любительница музыки и поэзии. Болезненная девочка, в отличие от сестер, получила домашнее образование, рисовала, писала стихи, играла на рояле – в доме образовалось что-то вроде салона или «кружка поклонников». Сестра Шура вспоминала, что Катаев «влюбился в сестру с первого взгляда». Так это или не так, однако о ней им написано больше, чем о какой-либо другой… Она явилась как прототипом подлой Ирен Заря-Заряницкой в «Зимнем ветре», так

и милейшей Миньоны в «Юношеском романе». И главное – ей посвящены совсем не шаловливые юношеские стихи. А была ли любовь?

И.К. Алексинская

Вот, например, сохранившийся отрывок из письма: «Дорогая Ирен! Страшная и жестокая вещь любовь! Она неслышно и легко подходит, ласково целует глаза, обманывает, волнует, мучит и никогда не уходит, не отомстив за себя. Я не знаю, что со мной делается…». Обманывался ли он и обманывал ли ее, как осознал под конец жизни, а по-настоящему любил другую? – задается вопросом биограф.

На фотографиях Ирен часто прижимает к себе кошек, в ее круглом личике с большими глазами тоже есть что-то задумчиво-кошачье, и Катаев писал о ее «кошачьем язычке». В голодные годы она стала лепить из глины и раскрашивать кошек и диковинных монстриков, которых сестрицы продавали «на толчке».

На одной из последних фотографий 1927 года, где Ирен, уже лежачая, с лицом, как череп, белая кошка поверх одеяла внимательно щурится в объектив… Рожденная в мае, она считала сирень своим цветком. «За то, что май тебя крестил / И дал сиреневое имя…» – писал Катаев, а в другом стихотворении (журнал «Жизнь», 1918, № 1, июнь) объяснялся так:

Твое сиреневое имя
В душе как тайну берегу.
Иду тропинками глухими,
Твое сиреневое имя
Пишу под ветками сквозными
Дрожащим стэком на снегу…

В ее записной книжке было немало его стихотворных посвящений (некоторые печатались в одесских газетах и даже столичных журналах), но она писала и сама. Вот, к примеру, стихотворение «Поэту – от девочки с сиреневым именем»: адресат назван «возлюбленным», но, как кажется, – только для рифмы и размера. Такое впечатление, что ему следовало бы называться «влюбленным»:

Из сиреневой душистой неги
Я сплету причудливый букет
И тебе его в окошко брошу –
Получай, возлюбленный поэт!
Отряхнись скорей от сонной лени
И, вдыхая запах, – вспоминай:
Это та – чье имя из сирени
Сплел тебе, для счастья, звонкий май.

Прапорщик Валентин Катаев. Портрет, опубликованный в журнале «Весь мир». 1916 год

Читая эти стихи, пишет автор, вспоминаешь катаевское наблюдение – в ней было много снисходительного и повелительного, от отца. Губы для выговора, а не для поцелуя… Уйдя на фронт Первой мировой, Катаев попал под протекцию ее отца (служил в его артиллерийской бригаде) и неустанно слал ей письма, несколько раз наведываясь в Одессу с разрешения генерала. В это же время в журнале «Театр и кино» (1916) появляется его стихотворение «К ногам Июли Шамраевской» (и ей тоже он слал письма из действующей армии).

В 1916-1917 годах он учился в Одесском пехотном училище и снова мог постоянно видеться с Ирен. Потом были очередное отбытие на фронт, ранение, возвращение – порвали они отношения в конце 1918-го – начале 1919 года, и большой вопрос, что их связывало, кроме строчек и рифм («Когда впивая влажными губами мой поцелуй, / Ты вздрогнешь, как лоза…» – сулил он). А что же их развело?

Прежняя социальная иерархия обвалилась. В 1919-м Одессу взяли красные… Потом откатили. В 1920-м вернулись окончательно. Приходилось приноравливаться. Шаргунов задается вопросом: а не был ли этот роман с самого начала выдуманным?

Для Ирен «лишний поклонник», для Валентина – романтика странствующего рыцаря. И сам себе отвечает: «Все-таки, видимо, чувство было, ведь была же тоска несовпадения». Вспоминает же он ночное объяснение, после чего, отвергнутый, до рассвета просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху:

И ныло от тоски все существо мое,
Тоска была подобна черной глыбе,
И если бы вы поняли ее,
То разлюбить меня, я знаю, не смогли бы.

Или она предпочла ему другого? Он вспоминал про ее «серьезный роман» с его гимназическим товарищем, затем бежавшим за границу…

Ирина умерла от туберкулеза (снова этот коварный туберкулез! – **Л. А.**), прикованная к постели, 13 октября 1927 года. При последней встрече в начале 1920-х она отдала Валентину пачку его фронтовых писем. В 1960-м Александра и Мария Алексинские вернули Катаеву другие его письма, хранившиеся у покойной. У этого была предыстория – Катаев свел с Ирен счеты в романе 1960 года «Зимний ветер», где всех назвал по именам и внешность бывшей пассии выписал с абсолютной точностью.

Петя Бачей влюблен в Ирен, дочь генерала, барышню с «крупно вьющимися волосами бронзового оттенка» и «серовато-лиловыми глазами», которая «возрастом старше сестер-двойняшек, но младше красавицы Инны». Ее отец расстрелян (в действительности

же – эвакуировался), и она исполнена злобы: «Теперь кончено. Россия должна быть только монархией и ничем другим. А всех большевиков во главе с Лениным надо вздернуть на первой осине». Она стреляет в Петю из дамского револьвера, но мимо, а он – и, кажется мне, пишет Шаргунов, совсем не по идеологическим причинам – «несколько раз с наслаждением и злорадством хлопнул ее по щекам, приговаривая:

– Ах ты дрянь, ах ты генеральская тварь…

Она тонко завыла от боли и унижения и побежала по аллее, закрывая лицо руками. Черная вуаль зацепилась за сучок и повисла на кусте, с которого посыпался иней…». Страстный вымысел уязвленного мужчины – комментирует автор книги.

Отец Ирины, полковник, а затем генерал Константин Гаврилович Алексинский во время Первой мировой командовал 64-й артиллерийской бригадой. Участник Белого движения на Юге России. Эмигрировал в Югославию в мае 1920 г.

В июне 1961 года Валентин Петрович писал в Одессу оскорбленным сестрам Алексинским, принося извинения и заверяя в прежней любви, но как бы даже насмешливо:

«Дорогие «сестры А»! Вы неправы, обвиняя меня в том, что я вывел в своем романе «Зимний ветер» вашу семью. Это недоразумение, основанное на деталях… Ваши имена не столь самобытны, чтобы служить прямым указанием на семью… Вы должны понять, что у писательства есть свои великие законы, которые очень трудно перешагнуть». Звучит неубедительно… Вместе с тем Катаев не раз указывал на несбывшуюся несчастную любовь, которую не мог забыть и которая переплавлялась в литературу.

О ней ли, об Ирен шла речь? Или это другая потаенная любовь? Или это собирательная «горечь прежних любовных неудач»?

В «Юношеском романе» он писал, что в Миньону (Ирен) был влюблен «поверхностно, как бы буднично», а «безнадежно и горько» любил некую Ганзю…

Вместе с тем Валентина Голубовская в 67-м номере альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» ссылается на статью Е. Голубовского и А. Дроздовского в журнале «Юность» в сентябре 1986 года «Юношеский роман» (Письма Валентина Катаева с фронта

Первой мировой войны, не вошедшие в книгу). Приведенные в ней несколько писем, сохранившихся в доме на Пироговской, 3, где жили в свое время и Алексинские, и Катаевы, не отданные адресату в двадцатых годах. Они заполняют пробелы в этом, как назвала его В. Голубовская, документальном романе. Вот отрывок из новонайденного письма в стихах:

Ирен, я видел вас во сне
И нынче полон только вами,

Как хорошо, как славно мне
Писать о вас, Ирен, стихами!

В своей работе «Флирты Французского бульвара» Алена Яворская пишет:

«Воздух Французского бульвара кружит голову, совсем рядом, за зеленью и дворцами-дачами – море. И девушки в таком обрамлении становятся красивее и возвышеннее, и слова любви легче слетают с уст.

Яркий пример тому – Валентин Катаев, трубадур Французского бульвара. Почти в каждой его повести об Одессе этот бульвар упоминается. Да и как иначе – здесь он впервые целовался. «Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался, посвистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я, мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания». И самая литературная любовь Вали Катаева – Ирен Алексинская – жила на Французском бульваре, 23». (Это как раз напротив дома на Пироговской, 3, упоминаемого как еще один из многих адресов обоих семейств. – **Л. А.**)

И стихи, написанные об этом доме на Французском бульваре:

И вновь к тебе. Который раз?
Которое звено?
За мигом – миг. За часом – час.
И вот – твое окно.

И все как прежде. Тот же дом,
И только ночь светлей.
И только свет в окне твоем
От месяца темней.

В этот дом и приходил Валя Катаев – влюбленный гимназист, затем влюбленный прапорщик. Из этого же дома 18 ноября 1918 года он вышел после разрыва, оглушенный горем, и через Французский бульвар спустился вниз, к морю, а позже написал:

Вверху молчали лунные сады,
Прибой у скал считал песок, как четки.
Всю эту ночь у дремлющей воды
Я просидел на киле старой лодки.
И ныло от тоски все существо мое.
Тоска была тяжелей черной глыбы,
И если бы Вы поняли ее,
То разлюбить, я знаю, не смогли бы.

Это он написал в 1918. А через 32 года в «Зимнем ветре» тетя Пети Бачея будет сердито выговаривать племяннику: «Хорош же ты будешь, друг мой, когда твоего милого тестюшку благоверное воинство повесит на первом же фонаре на углу Пироговской и Французского бульвара! Кроме того, я совершенно не понимаю, что ты нашел в мадемуазель Ирен? Самая банальная генеральская дочка».

А спустя еще 30 лет, уже через 62 года, в 1980, Ирен-Миньона станет героиней «Юношеского романа»: «Миньона была хороша собой, не слишком, но все-таки… Она была нарядна, неглупа, начитанна, дочь генерала, у нее были *сиреневые* (курсив мой. – **Л. А.**)

глаза, бронзовые волосы в крупных завитках. Она была склонна к флирту, который называла на английский манер – флерт… Короткий и грустный роман с Миньоной, ее горячие руки, кошачьи глаза в осажденном, лишенном света городе при звуках ночной винтовочной стрельбы и быстрое охлаждение Миньоны, когда она вдруг меня разлюбила, и я всю ночь просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху».

Несколько лет назад Одесский литмузей выпустил замечательный сборник «Влюбленный Валентин. Влюбленный в Валентину» (автор проекта – Лала Алескерова, составитель – Алена Яворская, предисловие – Елена Каракина), герои которого – два знаменитых брата-одессита, писатели Валентин Катаев и Евгений Петров. В основу книги легли письма братьев своим возлюбленным. Книга эта состоит из двух частей. «Влюбленный Валентин» – рассказ о юношеской любви Валентина Катаева к Ирине Алексинской, юной одесситке, «которая вдохновила начинающего поэта на создание стихов, а много десятилетий спустя послужила прототипом героинь повестей знаменитого прозаика». «Влюбленный в Валентину» – Евгений Петров, в отличие от старшего брата, свое чувство отдал одной-единственной женщине – своей жене Валентине Леонтьевне Грюнзайд (Катаевой) (в свое время – первой из трех «адресаток» «Трех толстяков» Ю. Олеши. – **Л. А.**).

Поди пойми этих поэтов… А кто же такая Ганзя из «Юношеского романа», которую Валентин «безнадежно и горько» любил? Это еще одна одесская муза Катаева, которая в жизни звалась Зоя Корбул. Сведениями о ней мы обязаны Константину Васильеву, профессору-медику, который исследовал ее судьбу, в том числе – в фонде Высших женских курсов в Одесском облгосархиве, и изложил в статье «Римлянка-изгнанница» (1997). Катаев описал ее внешность так: глаза «карие, какие часто встречаются у молдаванок», волосы «темно-каштановые с еле заметным золотистым отливом», невысокая – «неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, «Дюймовочкам». Но любил он ее не за внешность. Он никак не мог описать ее прекрасную неуловимость. Неосуществленное, связанное с ней какое-то обещание счастья томило его всю жизнь.

«Не о ней ли упоминавшийся рассказ семнадцатилетнего Катаева «Весенний звон»?» – вопрошает автор и цитирует: «– Ах да! – развязно восклицаю я. – Христос воскресе! Я и забыл… Все хорошо, но в любви самое паршивое это то, что надо целоваться». Спустя полстолетия тот же автор напишет: «– Христос воскрес, – сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней… – Воистину, – ответила она и спросила, улыбаясь: – Надо целоваться?».

Зоя Ивановна Корбул родилась 6 августа 1898 года в имении своих родителей, расположенном неподалеку от Днестра. Отец – «*…дворянин поручик запаса армии Иоанн Георгиевич Корбул и законная жена его Мария Васильевна, оба православные*». По семейному преданию, их род брал начало от римского полководца Кобулона.

Катаев придумал фамилию Траян не случайно, имея в виду Марка Ульпия Траяна – блестящего римского полководца. «Судьба привела меня, наконец, к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой».

Зоя училась в известной одесской частной гимназии О.С. Белен-де-Баллю. Он тянулся к девушке и молчал. В 1915-м Зоя поступила на историко-филологический факультет Одесских высших женских курсов. «Хотя она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как в юности, странная прозрачная стена моей молчаливой робости и ее милого равнодушия».

Катаев описал и ее жениха, а потом мужа Сергея Стефанского, дворянина, офицера, спортсмена «с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя».

Не могу не заметить, что С.В. Стефанский был сыном профессора Вячеслава Карловича Стефанского, заведовавшего кафедрой инфекционных болезней Одесского мединститута еще в пору моей учебы в нем. Умер в 1949 г.

Зоя обвенчалась с Сергеем в 1919-м. Через месяц был крещен их новорожденный сын, а в начале 1920 года с приходом красных они уплыли в Константинополь. В Одессе умер этот их первый и последний ребенок, оставленный на руках у Зои-

ной матери, и был убит Зоин брат-белогвардеец, которого Катаев запомнил «застенчивым гимназистом». В 1963 году Валентин Петрович и Зоя, уже после смерти мужа, встретились в Лос-Анджелесе. «Америка была для меня последней надеждой еще хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря – с ранней юности». Через несколько лет он снова прилетел в Лос-Анджелес и пришел к ней. Запись из 1960-х на обороте визитки, присланной им Зое: «С Новым годом. Неужели у Вас нет потребностей написать мне?».

Зоя и Валентин умерли в один год – он в апреле, она в августе…

А как быть с тем, что в повести «Трава забвенья» она, «маленькая голодная царица», поджавшая «сизые от купания губы», по мнению некоторых критиков, превращается в Клавдию Зарембу, жестокую большевичку. Сомнительно, по-моему. И вообще, трудно поддается разгадке этот повторяющийся на фоне Гражданской войны тревожный образ «девушки из совпартшколы», которая в его прозе то с болезненной тоской, то с ледяной решимостью сдает чекистам возлюбленного офицера – почти как Ирен из «Зимнего ветра», выдохнувшая: «Убейте его, он изменник». Трудно сказать, но одно несомненно – если у Катаева повторяется некий образ, значит, во-первых, кто-то был, а во-вторых, кто-то зацепил…

Сам же Валентин Петрович в интервью А.И. Розенбойму в 1978 г. для «Вечерней Одессы» сказал, что «Юношеский роман» – это не автобиография, а биография поколения… По его собственному признанию, Катаев тайно был влюблен еще в одну одесситку – сестру друга Юрия Олеши Ванду, умершую от тифа в 1919 г., хотя и видел ее мимолетно. «В предсмертном бреду она часто произносила мое имя, даже звала меня к себе», – говорил он, со слов Юрия Карловича.

В 1921 г. Катаев вступил в Одессе в первый официальный брак с Людмилой Гершуни. Когда известный краевед, писатель и журналист А.Ю. Розенбойм, встречавшийся и беседовавший с Катаевым, посещавший его в Переделкине, задал ему вопрос об этом браке, Катаев с явным недовольством спросил: «А откуда вы знаете?». И этим ограничился.

Как явствует из архивов, Людмила родилась в Одессе 27 ноября 1901 года. Родители: одесский 2-й гильдии купеческий сын Рафаил Хаимов Гершуни, мать – Эйдля. «12 мая 1921 года в городском ЗАГСе сделана запись о женитьбе Валентина Катаева, 1897 г. р., на Людмиле Гершуни (ГАОО, Р-8085, оп. 1, 223 д. 88, л. 27)» – см. «Дом князя Гагарина», вып. 3, ч. 2, с. 223, Одесса, 2004.

Более она никем и нигде не упоминается. В браке Людмила Гершуни стала Катаевой. По этим же данным… 12 января 1922 года (ровно через восемь месяцев) на основании обоюдного согласия разведены: Катаев Валентин, литератор, и Катаева Людмила, домохозяйка. «После расторжения брака желает именоваться Гершуни».

Весной 1921-го Катаев отправился в Харьков, а в начале 1922-го уехал покорять Москву. По свидетельству Шаргунова, С.З. Лущик и А.Ю. Розенбойм утверждали: «После разрыва с Катаевым она покончила с собой…».

И, быть может, как считает Шаргунов, о ней эти строчки от 1921 года:

Но одной я ночи не забуду,
Той, когда зеркальным отраженьем
Плыл по звездам полуночный звон,
И когда, счастливый и влюбленный,
Я от гонких строчек отрывался,
Выходил на темный двор под звезды
И, дрожа, произносил: Эсфирь!

В Харькове Катаев познакомился с О.Э. Мандельштамом. Н.Я. Мандельштам вспоминает: «О. Э. хорошо относился к Катаеву: «В нем есть настоящий бандитский шик», – говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в 1922 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей». И далее: «Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства… «Они все такие, – сказал О. Э., – только этот умен».

А Катаева ждала любовь к сестре еще одного приятеля…

Как свидетельствует «Булгаковская энциклопедия», до середины 20-х годов Валентин Петрович дружил с М.А. Булгаковым. Первая жена Булгакова Т.Н. Лаппа писала: «…Леля приехала в Москву… Был у нее роман с Катаевым. Он в нее влюбился, ну и она тоже. Это году в 23-м, в 24-м было, в Москве. Стала часто приходить к нам, и Катаев тут же. Хотел жениться, но Булгаков воспротивился, пошел к Наде, она на Лельку нажала, и она перестала ходить к нам. И Михаил с Катаевым из-за этого так поссорились, что разговаривать перестали. Особенно после того, как Катаев фельетон про Булгакова написал – в печати его, кажется, не было, – что он считает, что для женитьбы у человека должно быть столько-то пар кальсон, столько-то червонцев, столько-то еще чего-то, что Булгаков того не любит, этого не любит, советскую власть не любит… ядовитый такой фельетон…». Ю.Л. Слезкин вспоминал об этом: «Катаев был влюблен в сестру Булгакова, хотел на ней жениться – Миша возмущался. «Нужно иметь средства, чтобы жениться», – говорил он».

Романтические события в жизни нашего героя причудливо переплетаются, наслаиваются друг на друга, порой совпадая по времени…

…Однажды, еще в 1919 году, некая одесская гимназистка заметила высокого молодого человека, бредущего по бульвару в красной феске и с букетом фиалок в петлице…

Их познакомили.

И там вдалеке у фонтана,
Где дышится всем так легко,
Впервые увидел вас, Анна
Сергеевна Коваленко.

С Анной они поженятся в Москве в 1923-м… Как полагали некоторые – спешно и в отместку Леле Булгаковой. А брак с ней, тем не менее, продлился более 10 лет…

Подробнее об этой одесской музе Катаева. Анна родилась 8 июля 1903 года в Одессе на Коблевской улице в семье коллежского секретаря Сергея Сергеевича Коваленко и Анны Николаевны Филипповой. Изъяснялась на четырех языках, стала художницей.

В 1919 году ее родители слегли с тифом в одну больницу. Отец умер, мать выжила.

За Анной ухаживал брат Ильфа, художник Михаил Файнзильберг (МАФ, Ми-фа). Была она строга, с колючим характером, но он говорил: «Я точно знаю, кто тебе подойдет». У нее было прозвище Муха. Еще ее называли Мусей. Она участвовала в «красном» «Коллективе художниц» и помогала украшать плакатами город. С подругами в 1920-м они замотали кумачом памятник Екатерине, превратив его в своего рода коммунистическую мумию. Брат Сергей, ставший механиком, то и дело выручал провиантом – хлебом, колбасой, сыром – ее друзей-богемцев, как он выражался, «босяков». На вопрос «Как вы революцию пережили?» Анна отвечала: «Танцевали…». Перебраться в Москву ее уговаривали настойчиво… Катаев помогал ей. Она вспоминала: передавал гонорары от одесских публикаций через Бабеля. По многу раз призывные послания в Одессу отправляла тройка друзей – Катаев, Олеша, Ильф.

Из письма Катаева Анне: «Покупай только самое необходимое, остальное устроится здесь. День приезда телеграфируй точно – встретим. Лирическую часть откладываем до встречи. Сейчас торопимся: Маяковский читает новую поэму «Про это» (об отвергнутой любви). Целую лапы. ВалКатаев».

Когда Анна перебралась в Москву, они сразу поженились. В начале мая Катаев сообщал ее матери в Одессу:

«Честное слово, я не знаю, как в таких случаях надо писать, в общем, я женился на Мусе. Как это произошло, я до сих пор не могу как следует понять. Не знаю, известно ли Вам, что года 2 тому назад я был страшно влюблен в Мусю. Муся тоже была ко мне в достаточной степени нежна. Сейчас эта старая нежность развилась с такой силой, какой ни я, ни Муся от себя не ожидали.

Я уверен, что Муся будет мне хорошей женой и добрым другом, а я ее очень люблю. Сейчас мы счастливы всерьез и надолго. Мне хочется быть Вашим нежным сыном – ведь у меня нет ни отца, ни матери. Хорошо?»

«Я привязалась к Вале и люблю его, – в июне писала матери Муха. – Если бы ты знала, какой он милый, он совсем как большой ребенок».

Катаев стал посылать Анне Николаевне шутливые отчеты о налаженности их быта, сопровождая выразительными картинками: ножи, вилки, ложки, щетка, шкаф, кушетка, этажерка, «завел себе текущий счет в Госбанке»… «Теперь, если Вы, мамаша, *хочите* узнать за свою дочку, многоуважаемую Мусю, – юродствовал он, – то *просю* Вас убедиться в *етом*» (курсив мой. – **Л. А.**).

В. Катаев в период брака с Анной Коваленко

И еще: «Мы счастливы вполне, сильнее, чем вчера и позавчера, а завтра и послезавтра будем еще счастливее. Даже удивительно за что нам такое счастье». «Живу под боком у семейного счастья», – вторил Катаеву Олеша.

«Я женился на своей старой любви – Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашел доброго товарища и нежную жену», – писал мастер «экспансивных поцелуев» в автобиографии 1924 года. Вскоре он поселил у них Мухину сестру Тамару, приютил надолго и Анну Николаевну.

Временами Анна возвращалась в Одессу. После письменных «сплетен», которые посылал Мухе Олеша, Валентин писал ей: «Да, пью. Иногда. Бутылочки три на всю компанию. Удовлетворена? Ты видишь меня «бледного и с головной болью». Бывает. Особенно, когда получаю твои мучительные письма… То, что я редко пишу тебе, – понятно. Ведь за эти писания мне ни один издатель до моей смерти или юбилея не заплатит ни копейки».

Муха, отчитываясь Валентину о жизни в Одессе, передавала разговоры с «пышной свитой»: «Я узнаю, что я москвичка, художница, богачка, и что у моей приятельницы и у меня «богатый бюст». Кроме того, я узнаю массу интересных новостей о себе, о Москве, о моем муже», – и сообщала, что на пляже к ней подошел

Остап Шор: «Я всем ответила, как поживает знаменитый Катаев и когда он приедет».

В другом письме жене Катаев давал бой ее тревогам, высмеивая некогда любимую «синеглазку»: «Вчера был хорошенький номерок: у нас была в гостях Леля Булгакова вместе с Татьяной Николаевной Булгаковой. Фурор был необыкновенный. У Лели лупится нос. Она очень толстая, красная, некрасивая и усатая. Она очень хотела посмотреть на тебя хоть одним глазком. Я ей посоветовал специально съездить в Одессу. Лелин визит показал мне достаточно наглядно, что от прошлого не осталось даже пепла. Леля флиртует напропалую с какими-то летчиками, летает и вообще режется на авиационную даму. Татьяна Николаевна мучительно разводится с Мишунчиком. Сегодня, кажется, Леля уезжает в Киев. Мне бы не хотелось, чтобы ты, Муха, хоть на волосок ревновала. Не надо. Я люблю только тебя. Это как новая экономическая политика – всерьез и надолго».

Катаев и Анна приняли решение забрать к себе Милу – дочь Сергея, овдовевшего брата Анны (Валентин увидел Милу в 1927-м, когда остановились в Одессе проездом из Сорренто, и шутливо предложил ее отцу: «Продай мне эту девочку»). Почти десять лет Катаев воспитывал девочку и заменял ей отца.

«Валя», «Хлебосольная теща и симпатичная Аннушка, безропотная его супруга, всегда были рады гостям», – поделился очевидец. В это время, пишет Шаргунов, Асеев упоминал «Валентина Катаева, печатавшего в «ЛЕФе» свои стихи, которые он потом превратил в прозу», например в 4-м номере «ЛЕФа» за 1923 год была напечатана не самая типичная для Катаева «Война» («Ночь передергивала карты. / У судорожного костра…»), на которую близкий к акмеизму литературный критик из Берлина Вера Лурье отозвалась так: «Честные акмеистические стихи Катаева напоминают Гумилева, сдобренного Пастернаком».

Валентин и Анна расстались в середине 1930-х… Мила-Людмила рассказывает, что однажды летом, приехав в Москву с дачи, теща Анна Николаевна обнаружила в каждой комнате «вертеп разврата», доложила обо всем дачнице-дочери, и будто бы та, будучи «дамой крутого нрава», вопреки всем просьбам мужа с ним немедленно порвала – указала на дверь…

Расставались тяжело, вслед в окно летела медвежья шкура… Основную часть вещей забирал для Катаева Алексей Крученых. Правда, золотое кольцо с бриллиантом навсегда осталось с ней. Она работала ретушером – и родные запомнили ее постоянно согнувшейся над столом. Катаев отдал ей квартиру (тогда уже другую, из пяти комнаток в Малом Головином переулке, 12, куда переехали из Мыльникова). Хотел помогать материально, но она упрямо отказывалась. Стала сдавать половину квартиры молодым архитекторам.

Дочь Катаева Евгения рассказывала, как в 1950-е годы гуляла с отцом, и возле «Елисеевского» магазина он приветливо пообщался с какой-то женщиной, а потом сообщил: «Моя бывшая жена». Дома Женя принялась расспрашивать мать: «У папы была другая жена? Почему же они развелись?». – «Она была жуткая зануда. Что ни случалось, она только и ныла: «Все плохо», «Ой, бедный», вот ему это все и надоело».

Первые два года после развода Анна была совершенно без сил, по выражению ее племянницы, никакая… В 1939-м вышла замуж за верного давнего ухажера, художника Владимира Роскина, оформлявшего советские выставки за рубежом, который в 1919-1922 годах вместе с Маяковским принимал участие в создании «Окон РОСТА». Роскин влюбленно кружил возле с момента ее появления в Москве.

Умерла Анна Сергеевна там же, в Москве, в 1980-м году.

С разрешения племянницы Анны Людмилы Сергеевны Шаргунов публикует такую картину из ее личного архива: «В свои девяносто она, затягиваясь сигаретой и поблескивая бриллиантами золотого кольца, в начале 20-х купленного «Валей», ясно и ярко рассказала, как он развлекал ее стихами и катал на извозчике, водил на Страстной бульвар, где сажал на верблюда, который однажды, чем-то разгневанный, оплевал его с ног до головы. И весь в верблюжьей зловонной и тягучей слюне Катаев бежал с девочкой по бульвару… Отмывшись, сидел в кресле, вытянув ноги к печке, она сидела на его ногах, а он что-то торопливо писал в блокнот…».

«Может быть, эта любовь – как и все в мире – не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда». В 1944-м военном году Катаев написал:

Их очень много. Их – избыток.
Их больше, чем душевных сил, –
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил.

Они его почти не помнят,
И он почти не помнит их,
Но, Боже! – сколько темных комнат
И поцелуев неживых.

Какая мука дни и годы
Носить постыдный жар в крови
И быть невольником свободы,
Не став невольником любви…

«Дон-Жуан» (1944)

В 1935 году тридцативосьмилетний Катаев женился на Эстер Давыдовне Бреннер (1913, Париж – 2009, Москва), которая была моложе его на шестнадцать лет. Ее родители, польские евреи, оказались в эмиграции после сибирской политической ссылки. Ее имя упоминается в таких книгах, как «Трава забвения», «Святой колодец», «Алмазный мой венец». Ей, Эстер Давыдовне, также посвящена повесть «Белеет парус одинокий».

Через год в семье Катаевых появилась дочь, еще через два года – сын.

Рассказывая в «Алмазном моем венце» о своем идеале «ослепительной и порочной» женщины, Катаев фактически воспроизвел портрет Эстер в молодости: «Стройная, длинноногая, в серебряных туфельках… поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза… Ее можно видеть в «Метрополе» вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников».

В свою очередь, Эстер Давыдовна, вспоминая про знакомство с Валентином Петровичем, говорила: «Он был необыкновенно красив, рыцарствен, галантен, а главное – в каждую

минуту интересен». Эстер Давыдовна, Эста, как называл ее супруг, всегда была эталоном элегантного стиля. У них и в доме не было ни одного предмета, который не подвергся бы ее жесточайшему отбору. Это в полной мере отвечало эстетическому восприятию мира самим Валентином Катаевым, стремившимся к гармонии творчестве и абсолютно во всем, что его окружало…

Дети супругов – Евгения Валентиновна Катаева (названа в честь бабушки, матери Валентина Катаева, род. 1936) и сын Павел Валентинович Катаев (р. 1938), окончил в 1965 г. факультет журналистики МГУ. Учившийся вместе с ним журналист Георгий Громыко характеризовал его как душевного, доброго, компанейского парня. Он был членом Союза писателей СССР с 1971 года. Работал в «Литературной газете», «Литературной России», Агентстве печати «Новости» (АПН). В советское время был известен преимущественно как детский писатель. Краткая встреча и беседа с П.В. Катаевым в 2015 г. в Одессе оставила впечатление о нем как об очень интеллигентном и скромном человеке, пристрастном поклоннике творчества отца.

Однако именно от него стало известно, что в безусловно удачном браке родителей был момент, когда Эстер и Валентин стояли на грани развода, в 1948 году. Основной причиной были нередко случавшиеся запои главы семейства.

В упомянутой выше книге об отце «Доктор велел мадеру пить…» он пишет об этом: «Прекрасно помню момент, когда мама вдруг очень серьезно и спокойно заговорила со мной, десятилетним мальчиком, о возможном разводе с отцом и рассказала, как она твердо и спокойно поставила в известность папу, что забирает детей и уходит, потому что устала и не желает больше терпеть многодневные загулы, непонятных гостей, пьяные скандалы. «А тебе и не надо никуда уходить, – сказал папа, – я больше не пью». Слово свое он сдержал…».

Павел Валентинович Катаев по непонятной причине в 1990-е годы, в отличие от своего отца, даже не был включен в число 245 русских детских писателей XX века в соответствующем словаре. Он умер в Израиле в мае 2019 г. на 81 году жизни.

Зять Катаева (второй муж Евгении Катаевой) – еврейский советский поэт, редактор и общественный деятель А.А. Вергелис (1918-1999).

Внучка Катаева (дочь Евгении Катаевой от первого брака, о котором практически ничего не известно) – Валентина Эдуардовна Рой, журналистка.

Литератор Татьяна Вирта писала, что именно Эстер подходило определение «муза писателя»: она не только создавала мужу условия для творчества, но и «распространяла вокруг себя мощнейшее поле интеллектуального влияния. Книгу «Святой колодец» Татьяна Вирта назвала «гимном любви» Катаева к семье – автор, наблюдая за женой немного со стороны, не устает восхищаться ее деликатностью, преданностью, элегантностью; он припоминает и сложные периоды их совместной жизни, когда чета преодолевала кризисы: «Мы опять любили друг друга, но теперь эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной любви».

«Это был изумительный брак, – сказала о нем близкая знакомая семьи Катаевых популярная писательница Дарья Донцова. Так что, главной оказалась не одна из немалочисленных одесских, а *парижско-московская муза* нашего земляка, с которой он прожил в счастливом браке более 50 лет…

Валентин Петрович скончался в больнице 12 апреля 1986 года, успев пролистать принесенный женой очередной том собрания сочинений. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Там же в 2009 году была погребена и Эстер Давыдовна, дожившая до девяноста пяти лет»…

Прожив 64 года своей жизни в Москве и Переделкине, по манерам и речи Катаев до конца жизни оставался одесситом. Русскую и украинскую литературу он узнавал в детстве с голоса родителей во время домашних чтений; на улице слышал идиш и городской мещанский жаргон, в котором были смешаны греческие, румынские и цыганские слова. Язык Одессы в значительной степени стал литературным языком Катаева, а сама Одесса стала не просто фоном для многих произведений Валентина Катаева, но их полноправным героем. Оправдав слова Бунина, предсказавшего ему исключительное литературное

будущее, Катаев прожил долгую насыщенную жизнь, творил и наблюдал литературу нескольких эпох, от Серебряного века до шестидесятничества и перестройки, общался и дружил со многими, без преувеличения, виднейшими поэтами и писателями столетия.

Ко Дню города в 2017 году на одесской Аллее звезд появилась звезда памяти нашего выдающегося земляка.

Юрий Садомский

Зеленые глаза Зулейхи

Так есть ли в жизни место чудесам?.. С точки зрения атеистов – нет. Но атеисты люди скучные, у них слабо развиты фантазия и воображение. А у молодого писателя Гузель Яхиной с этими качествами дела обстоят отменно, потому и удалось ей создать роман «Зулейха открывает глаза», да так, что и с романом, и с его автором поистине чудо произошло. Иначе как объяснить ситуацию, что первый роман молодого автора получает всеобщее признание и вместе с ним сильное неприятие части критики, и в дополнение несколько престижных премий, в том числе премию «Большая книга»… Так что с отрицанием чудес стоит повременить, тем более что жанр книги «Зулейха открывает глаза» таит в себе, именно таит, а не хранит, определенную жанровую многослойность, начиная от романного реализма и вплоть до притчевой иносказательности.

В чем же реализм романа, более того – «эпохальный» реализм? А в том, что действие романа разворачивается в 30-е годы, и называется это время «эпоха коллективизации и индустриализации страны», то бишь СССР. О жертвах и злодеяниях сталинского режима той поры известно всем, как гражданам бывшего Союза, так и за его пределами, и лишь очень ленивый не кинул камень в то уже далекое время.

Множество книг различной значимости написано про события той поры, включая книги писателей-гигантов, как то Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Юрий Нагибин и еще достаточного количества авторов различного калибра. Все произведения накалены страстным осмыслением того периода, как правило, бескомпромиссным со знаком плюс либо со знаком минус. Да оно и понятно:

тысячи и тысячи загубленных жизней, несметное количество поломанных судеб не могут восприниматься созерцательно…

Вот и в романе «Зулейха открывает глаза» с первых страниц, да что там страниц, с первых строк мы окунаемся в леденящий душу кошмар глухой татарской деревни. Кошмар лютой зимней стужи и не менее лютого мракобесия деревенского домостроя, где «мокрая курица», как называет безропотную Зульхию ее свекровь Упыриха, хрестоматийный образец домостроевской тирании образца Кабанихи из «Грозы» Островского, с той разницей, что Кабаниха лютовала в первой половине XIX века, а незрячая садистка Упыриха доживает свой век сто лет спустя…

Гузель Яхина скрупулезно живописует один день жизни Зульхии, с этого дня, по сути, начинается роман, и этот день говорит о предыдущей жизни Зульхии, насквозь пропитанной дремучими языческими предрассудками, тотальным бесправием женщины-жены, звероподобной тиранией свекрови и безоговорочным послушанием мужа Зульхии по имени Муртаза своей лютой матери. Но тем не менее Зульхия убеждена, что у нее хороший муж; он сам выбрал щуплую малосильную девушку Зульхию себе в жены, привел в дом, защищает от тирании матери, регулярно исполняет супружеский долг, регулярно бьет, одним словом, Муртаза хороший муж, и ей повезло.

Себя же Зульхия, напротив, ощущает плохой женой, неполноценной, достойной порицаний Упырихи, уже потому, что не получается у нее рожать здоровых детей: троих девочек родила Зульхия, и все они умерли в младенчестве. Только и остается, исполняя языческие обряды, задабривать дух кладбища «Зираиясе», умоляя оберегать могилы детей… Меж этих могил находится и тайный схрон, вырытый Муртазой, куда он с помощью Зульхии привозит и прячет мешки с посевным зерном, узнав накануне о долженствующем прибыть отряде уполномоченных по коллективизации…

Муртаза, не желая отдавать добро, убивает топором корову, расчленяет ее на мясо, собирается так же поступить с лошадью, но Зульхия виснет на нем, не позволяя сделать это…

Тут и появляется Иван Игнатов во главе отряда красноармейцев и местной бедноты… Муртаза, ослепленный ненавистью,

замахивается топором на Игнатова, тот успевает выхватить револьвер и застрелить Муртазу на глазах у Зульхии…

…С этого дня начинаются нескончаемые мытарства Зульхии, не только физические, но и мытарства женщины, взросшей на скрижалях ислама… Ее выселяют из дома и вместе с такими же «раскулаченными» бедолагами отправляют в неведомую мистическую Сибирь, путь в которую лежит через досель невиданную Казань, через святотатскую ночевку в мечети, где вынужденно спят рядом мужчины и женщины, не стесняясь и не чураясь блуда…

Так оканчиваются сутки жизни Зульхии, а дальше Гузель Яхина постепенно знакомит нас с другими персонажами романа, начиная с профессора казанского университета Вольфа Карловича Лейбе. Профессор медицины Лейбе, выживший из ума старик, живет в скорлупе сказочного яйца, в которой он, профессор Вольф Лейбе, по-прежнему надевает вычищенный обожаемой им домработницей Груней мундир и идет преподавать студентам, идет делать сложнейшие операции в особо почитаемой им отрасли медицины – гинекологии… Но все эти действа, увы, лишь результат пребывания в «сказочном яйце», то есть в безумии, где обретается профессор, а на самом деле… есть лишь кабинет и одна комната, что остались ему от большой профессорской квартиры, превращенной в коммуналку, где домработница Груня, как ему кажется, ухаживает за ним и чистит его мундир. В действительности же Груня под диктовку сожителя пишет донос на Лейбе, рассчитывая, что арест старика позволит ей занять его комнату. Расчет оправдался…

…И оказался профессор Вольф Лейбе в одной теплушке, на одних нарах рядом с татарской крестьянкой Зулейхой Валеевой в многомесячном путешествии-скитании в неведомую пугающую Сибирь…

Как уже говорилось, литературы о лихих годах коллективизации, о жутких преступных проявлениях сталинского беззакония написано бессчетное количество, всего и всякого. Эта тема стала общим местом в отечественной литературной историографии. Но почему при несомненной избитости темы роман Гузель Яхиной читается с напряженным интересом, почему он не травми-

рует сознание, не вызывает отторжение у читателя сцен жестокого насилия?

Роман «Зулейха отрывает глаза», как все по-настоящему талантливые произведения, хранит в себе некую тайну, а тайны, как правило, алогичны, противоречивы и парадоксальны. Вот эту тайну, тайну творческого подхода в рассмотрении трагического периода огромной, заселенной великим множеством народов и народностей страны, своеобразно увиденную и не менее своеобразно отраженную молодой женщиной и начинающим автором Гузель Яхиной, интересно попытаться постичь…

Начало разгадки, думается, следует искать в том, что автор нашумевшего романа – женщина, притом восточная женщина мусульманской закваски. Думается, неспроста множество раз в романе упоминаются зеленые глаза Зулейхи: как тут не вспомнить, что зеленый – это цвет ислама? А теплушка, в которую уполномоченный НКВД Иван Игнатов погружает «раскулаченных» и «бывших», сродни ветхозаветному Ноеву ковчегу, где каждой твари по паре… Тут и татарские, и не татарские крестьяне, тут ленинградские интеллигенты, духовенство и мастеровой люд, и даже уголовник, куда же без них…

Нескончаемый мучительный путь полон мрачными событиями: голод, ужасающая антисанитария, смерти младенцев и стариков… Но!.. Начинают мерцать мистические искры метаморфоз. «Искрит», когда жесткий и бескомпромиссный коммунист Игнатов жестко и бескомпромиссно выбивает у начальства улучшение кормежки для голодающих в теплушках переселенцев… Но!.. Особо знаковым событием становится известие о том, что измученная, обессиленная, истощенная Зулейха – беременна…

Первым это слово произносит старый профессор Вольф Лейбе, опытным взглядом ученого-медика он определяет не только сам факт, но и количество недель беременности Зулейхи, как это принято в гинекологии, которое в точности совпадает с последней ночью, проведенной Зулейхой с еще живым мужем Муртазой…

С изумлением нужно отметить мистическую константу: в безумных фантазиях профессора наступает выраженная ремиссия, его разум обретает логическую устойчивость, не теряя при этом привлекательных особенностей прежнего безумия.

Осознание Зулейхой факта своей беременности становится потрясением, оно обрушивает на нее мистический калейдоскоп – мерещится Упыриха с ее пророчествами-проклятиями в адрес Зулейхи за то, что не может она родить здорового ребенка, предсказания о скорой и неизбежной смерти Зулейхи… Но сейчас беременность Зулейхи ставит под сомнение пророчества, которым она безоговорочно верила. Беременность взваливает на Зулеху ответственность за новую жизнь, которую она вынашивает, притом у нее нет сомнений, что родится опять девочка – и вскорости умрет, как все предыдущие…

Беременность Зулейхи усиливает мистические всполохи в темной и мрачной теплушке переселенцев. Вынашиваемая Зулехой в их присутствии новая жизнь освещает и освящает попутчиков Зулейхи, включая Ивана Игнатова, у них мобилизуются внутренние резервы духовных сил, что придает им силы физические… Вскорости они им понадобятся, и понадобятся в немалом количестве, как одни, так и другие…

…Это произойдет, когда наконец окончатся мытарства железнодорожного пути, и переселенцы будут погружены в трюм ржавой и ветхой баржи, и Игнатов собственноручно запрет трюм на ржавый, как сама баржа, замок, и все это поплывет по Енисею, а затем по Ангаре, и ночью случится буря, и старая баржа станет тонуть, а Игнатов не сумеет открыть ржавый замок, и две сотни переселенцев уйдут вместе с баржой на дно Ангары… Только несколько человек, находящиеся не в трюме, а на палубе, сумели спастись, в их числе Зулейха, которую спас и вытащил на берег сам Иван Игнатов…

И на совершенно диком берегу таежной Ангары начинается фантасмагорическая жизнь кучки людей. Иначе как мистической и ирреальной ее назвать невозможно: накануне сибирской зимы, без необходимого инструмента, без теплой одежды, без провианта, а только с несколькими одноручными пилами и небольшим мешочком револьверных патронов, что подвез на своем катерке следовавший за баржей оперуполномоченный Ефим Кузнец, остались эти несколько человек на диком таежном берегу в надежде, что Ефим Кузнец вернется через месяц с продуктами, строительным инструментом и новой партией ссыльных… Так он обещал Игнатову…

Не правда ли, история, от которой стынет кровь? Но роман Гузель Яхиной читается, тем не менее, если не с легкостью, то уж точно с удовольствием. Не потому ли, что при всем жестоком реализме роман написан с присущей восточным женщинам мудростью, которая, в свою очередь, пропитана притчевой поэтикой…

Наиболее существенное, что отличает роман Яхиной о репрессиях 30-х годов от других произведений на ту же тему других авторов, в том, что у нее этот период выражен как проявление социальной стихии, сродни наводнению, извержению вулкана либо засухе, и клеймить эти проявления или осуждать их бессмысленно и нелепо… Тем более что природные катаклизмы обладают не только разрушительной, но и могучей живительной и преобразующей силой. Только они в состоянии в значительной степени, а то и коренным образом преобразить устоявшийся и потому утративший жизнеспособность порядок вещей. А социум как гармоничная часть бытия также подвержен катаклизмам, над которыми не властна воля человека. Иными словами, во всем боля Божья (или Аллаха, что, в сущности одно и то же), и это очень близко мировоззрению восточного человека…

Поэтому то, что начинает происходить и обретает реальность на берегу Ангары, вполне соответствует понятию «промысел Божий»: накануне сибирской зимы кучка людей, в основном пожилые интеллигенты из Ленинграда – Изабелла Леопольдовна, профессор агрономии Константин Арнольдович Сумлинский, живописец Илья Петрович Иконников, профессор-медик Вольф Карлович Лейбе, мастеровой человек однорукий Лука, «глубоко» беременная и потому немощная крестьянка Зулейха, уголовник и мерзавец Горелов и, наконец, поставленный над этими «робинзонами» оперуполномоченный Иван Игнатов, одноручными пилами начинают рыть-выцарапывать землянку, одновременно под руководством многоопытного Луки этими же пилами сооружать бревенчатое покрытие, в то же время заготавливать дрова на долгую зимнюю пору… А Иван Игнатов в тайге револьвером добывает тетеревов, из которых Зулейха и Изабелла Леопольдовна варят похлебку, и все ждут прибытия Зиновия Кузнеца… Обещал ведь…

Надежда на спасительное явление Кузнеца слабеет, но сила духа горстки людей, наоборот, крепнет. Они начинают ощущать в себе неведомые ранее силы и возможности в преодолении немыслимых невзгод, чем вызывают у Игнатова раздражающее его чувство уважения и… желание во что бы то ни стало спасти этих людей. Игнатов корит себя за невольные «слабости», что пришли на смену «здоровой» классовой ненависти, привычной и надежной…

И тут вот грянуло вроде ожидаемое, но в то же время совершенно внезапное – роды Зулейхи…

Вольф Лейбе, оглядев и прощупав изнемогающую от боли роженицу, сразу оценил, что плод лежит неправильно, родить Зулейха не сможет, и он… решается…

Эта сцена, сцена разрешения от бремени Зулейхи, несомненно, вершина литературного мастерства Гузель Яхиной в данном романе. Откровенно физиологические подробности того, как голой рукой, омытой самогоном, бутыль которого оставил Зиновий Кузнец, Лейбе проникает в чрево Зулейхи, на ощупь поправляет в нем плод и с превеликой осторожностью извлекает его на свет Божий… Но в процессе этого немыслимого священнодействия происходит еще одно чудотворение: скорлупа фантастического яйца, в котором находилась голова пораженного безумием профессора, начинает трескаться и разламываться, и к концу священнодействия профессор Лейбе целиком освобожден от своего сладостного безумия…

Для Зулейхи завершение ее беременности есть также освобождение от устойчивого ощущения ущербности. Она родила не девочку, обреченную, как все предыдущие, на скорую смерть, а мальчика, за жизнь которого будет бороться, и силы для этого черпает от тепла тельца малютки, от дыхания и лепета крохотного Юзуфа – так Зулейха назвала сына…

А сил нужно великое множество не только Зулейхе, но и всей малочисленной колонии. Пришла зима с положенной сибирской суровостью, Ангара замерзла и стала, а также стало ясно, что рассчитывать на спасительное прибытие Зиновия Кузнеца более не приходится. В лицо переселенцам явственно повеяло смертным дыханием неминуемой гибели от голода, холода, болезней…

Но… Иван Игнатов с жестокой непримиримостью поднимал с рассветом колонистов и гнал их в тайгу на заготовку дров под приглядом подлого уголовника Горелова, а сам, изготовив снегоступы, отправлялся на охоту. И эта жестокость Игнатова спасала переселенцев, она заставляла их находить в себе силы сражаться за жизнь. И они их находили.

И перезимовали… Еле живые… Но живые. В полном отчаянии, но с надеждой… И как бывает, очень редко, но бывает, когда та самая, что с косой и дышит могильным хладом, но тут… появился из-за поворота Ангары катерок Зиновия Кузнеца, а за ним баржа с парой сотен новых «раскулаченных кровососов»…

Увидя искаженное злобой лицо Игнатова и направленный на него револьвер, но уже с пустым барабаном, Зиновий Кузнец не испугался, а очень искренне и очень цинично удивился тому, что Игнатов жив и, более того, сохранил жизнь всем переселенцам…

С того момента на месте крохотной стоянки оборванных, заросших, немытых, но не утративших человеческий облик людей зарождается и растет не просто поселок, но своеобразный городок-полис по подобию греческих полисов… Отсутствие озлобленности у «первопроходцев» стала основой хозяйственной и нравственной жизни народившегося поселка Семрук. И обе эти ипостаси нежданно рожденного общественного организма формируют и оттачивают характеры и личностные качества «колонистов». Уже не землянка, а деревянные бараки, построенные собственными руками, служат им кровом, построен лазарет, где священнодействует Вольф Лейбе, Изабелла Леопольдовна погружена в педагогические потуги, Константин Арнольдович Сумлинский творит чудеса практической агрономии, создав не насильственный, а действительно добровольческий колхоз. Построен поселковый клуб, и по инициативе Зиновия Кузнеца он должен быть идеологически правильно оформлен. И тут пришел звездный час живописца Ильи Петровича Иконникова. Он вытребовал у Кузнеца покупку немалого количества красок, кистей и прочего необходимого материала, по памяти написал множество видов Парижа, Петербурга, расписал стены и потолок клуба, создав своеобразный храм, роспись которого символизировала устремленность

к сияющему совершенству. Малограмотный, но сильно пьяный Кузнец после мучительных, но кратких раздумий работу Иконникова одобрил.

А Зулейха?! Хрупкая, безропотная, «мокрая курица», как называла ее Упыриха… А Зулейха, защищая в тайге младенца Юзуфа, застрелила медведя, что стало трамплином для превращения ее из помощника повара и уборщицы при лазарете в промыслового охотника, и преуспеяния в этом сугубо мужском деле.

Но еще Зулейха впервые почувствовала себя женщиной, она впервые полюбила, полюбила страстно и самозабвенно, и это чувство в ней было обострено отчаянием, так как полюбила она убийцу своего мужа Муртазы, а именно – Ивана Игнатова. Долго и мучительно сопротивлялась она чувству, но... Увы…

Увы, потому что Юзуфа чуть не разорвали волки, когда он пошел встречать ее с охоты, Зулейха успела спасти сына, постреляв волчью стаю, но этот случай и приходящая во снах укоряющая ее Упыриха поселили в душе Зулейхи уверенность, что случай с Юзуфом – расплата за любовь, или, как утверждала снотворная Упыриха, за греховный блуд с Игнатовым. И Зулейха решительно и бесповоротно прерывает эту связь, несмотря на все усилия Игнатова удержать ее.

Так шли годы, формировался и окреп физически Юзуф. Вопреки таежной и ссыльной дремучести окружающей среды Юзуф развивался под влиянием образованных и интеллигентных людей, что не могло не иметь последствий. Живя рядом с Вольфом Лейбе и наблюдая его в работе, Юзуф, к великой радости профессора, увлекся медициной. Старик Лейбе со всем жаром, присущим его романтической натуре, взялся обучать Юзуфа премудростям медицины, восторженно надеясь, что Юзуф придет ему на смену в Семруковском лазарете. Однако Юзуф все чаще захаживал в клуб, в мастерскую Иконникова. Сперва с любопытством, а затем с нарастающим вниманием приглядываясь к волшебным превращениям красок в волнующие непостижимой красотой виды Парижа и Ленинграда. Эта увлеченность постепенно переросла в страстное желание научиться этому колдовству, и он стал пробовать себя в живописи под ревнивым и придирчивым вниманием Иконникова.

Война… Она грянула в немыслимой дали от таежного Семрука. Долго ее отзвуки добирались до поселков «классово чуждых». В действующую армию этот контингент не брали. Но до поры до времени. Потери на фронте убитыми и пленными были столь велики, что не до жиру, и просьбы добровольцев среди ссыльных и даже заключенных стали удовлетворять. Это обстоятельство обеспокоило Зулейху – призывной возраст Юзуфа был не за горами. А у Ильи Петровича Иконникова призывной возраст был давно позади, но тем не менее, он упорно настаивал и добился своего. Илья Петрович убыл на фронт, и ни единой весточки от него не приходило. Это никого не изумляло, это вызывало лишь горестные вздохи…

Война как высшая форма общественного несчастья обостряет и проявляет суть личности. Не минул сей тест убежденного борца за новую светлую жизнь, красноармейца, а ныне младшего командира НКВД Ивана Игнатова. Прибывший в очередной раз с очередным количеством водки Зиновий Кузнец известил, что многочисленные просьбы Ивана отозвать его из затянувшейся командировки и даже повысить в звании могут быть удовлетворены. Надо всего лишь ему, Ивану Игнатову, проявить революционную бдительность и выявить среди поселенцев Семрука пару десятков «заговорщиков, пораженцев и паникеров», и списочек сей предоставить Кузнецу, а уж он сумеет добыть признательные показания. Ну и вознагражден будет Иван как положено, аттестационный лист на него уже заполнен, остается только подписать. Дисциплинированный, не терпящий беспринципных компромиссов большевик Иван Игнатов выпил раз, выпил два и… разразился возмущенной тирадой: мол, его, верного стража революции, не раз глядевшего в глаза смерти, пытаются спровоцировать, проверить, готов ли он совершить беззаконие, и он просит, чтобы Зиновий передал им: это никому не удастся. Кузнец помутневшим от выпитого взором смотрел на Ивана, понимая: Игнатов валяет Ваньку, не желая участвовать в гнусности, затеваемой Кузнецом. Дыша пьяными испарениями друг другу в лицо, они совершенно трезво осознали: этот разговор – рубеж между ними и начало далеко идущих последствий.

Шла война. Дошли до Игнатова слухи, что в одном из поселений на Ангаре выявлена организованная «группа вредителей», часть из которых расстреляна, часть получила длительные сроки. Игнатов понял: недалек его час.

Лес не любит шума, тайга не исключение. Тихонько прошелестело по таежным поселениям известие, что война окончилась. Никаких шумных ликований и торжеств в Семруке не наблюдалось, только стали прибывать новые партии «неблагонадежных». И вдруг пришло письмо на имя Юзуфа. Ни имя, ни обратный адрес отправителя не были Юзуфу знакомы. В письме не было ни единого слова, но были рисунки с видами Парижа. Юзуф понял: это послание от Иконникова, и тот ждет Юзуфа.

У Юзуфа давно вызрело желание добраться до Ленинграда и поступить в Академию художеств. У него не было сомнений, что его примут, главное – добраться до Ленинграда. Но как? Способ один – бежать из Семрука. Юзуф был убежден, что если он доберется до академии без документов, только со своими живописными работами, то обязательно будет принят. Письмо от Иконникова стало детонатором во взрывном замысле Юзуфа. У него давно была припрятана лодка в зарослях на берегу Ангары, на ней Юзуф и намеревался доплыть до Красноярска, а там… как Бог даст добираться в Ленинград.

О замысле Юзуфа с ужасом узнала Зулейха. Но еще больший ужас у нее вызывало осознание, что ни ей и никому другому не удастся отговорить Юзуфа от безумной затеи. Тогда она решилась. Она пошла к Ивану Игнатову.

Игнатов тоже решился. Не на то, к чему готовился Юзуф. Игнатов решился на противоположное, он решил остаться в Семруке навсегда.

Накануне после долгого отсутствия прибыл в Семрук Зиновий Кузнец, уже в полковничьих погонах, и привез приказ, который с привычным спокойным цинизмом вручил Игнатову. Приказ гласил, что Игнатов лишается своего и без того невысокого офицерского звания, более того, он увольняется из органов как не оправдавший доверия, а вместо него комендантом Семрука назначается восстановленный во всех правах уголовник Горелов.

Но… великая милость Кузнеца: он разрешил Ивану остаться жить в Семруке.

Пять минут дал Кузнец на сборы. Игнатов достал из сейфа метрику – «Юзуф Валиев 1930 года рождения», кинул ее в жерло печи, чиркнул спичкой. Побежал огонек по сухой бумаге… Затем извлек чистый бланк метрики и вписал в нее: «Иосиф Игнатов, 1930 года рождения. Мать: Зулейха Валиева, крестьянка. Отец: Иван Игнатов, красноармеец»…

Ставит печать, прячет метрику в карман и стремительно, насколько позволяет хромота, идет к Зулейхе.

«– Скорее пусть уходит, – сказал он. – Немедленно, сейчас.

Зулейха засуетилась, кинулась собирать вещи, еды какой.

– Некогда, – Игнатов положил ей руку на плечо. – Так пусть идет, пустым.

В правый нагрудный карман ветхого, истертого до легкости пиджака с разномастными пуговицами Юзуф положил два письма, в левый новую метрику и толстую пачку мятых разноцветных купюр – тоже Игнатов дал. Зулейха столько денег в жизни не видела. Вот и все, что взял с собой. Она даже не успела сказать Игнатову спасибо – тот ушел быстро, как исчез. А Зулейха с сыном побежали в тайгу, к утесу, где была спрятана старая лодка».

Все!.. Роман окончен. Но осталось тревожное чувство недосказанности. О чем роман? О страшном периоде репрессий?.. Но герои романа не ропщут по этому поводу. О человеческих страданиях? Может быть. Сразу вспоминается древняя мудрость: «страдания совершенствуют душу». Действительно, на протяжении действия романа герои становятся притягательнее, ярче, трепетнее в духовном развитии. Все, кроме законченного мерзавца Горелова, в котором совершенствовалась только мерзость. Даже человек с иезуитскими наклонностями Зиновий Кузнец чувствует некие угрызения совести в конце романа, когда говорит Игнатову: «Не нужен ты мне в органах, Ваня. Ни здесь, ни где еще». Присутствие Ивана Игнатова в единой с Кузнецом среде делает эту среду для Кузнеца неуютной и токсичной для него…

Писатель изначально и до самого конца погружает героев романа в атмосферу первородности и первозданности, будь то глухая татарская деревня или жуткая железнодорожная теплушка,

или же таежная глухомань, где отовсюду веет гибелью. Но когда все сие подсвечивается волшебным светом человеческой красоты и тепла, то рождается гармония, и она побуждает читать роман, а читая – сопереживать и наслаждаться.

«Зулейха открывает глаза»… Чьи глаза открывает Зулейха? Только свои? Или наши тоже? И на что Зулейха открывает глаза?

Несомненно, что Зулейха открывает глаза на новое звонкое имя – Гузель Яхина, которое появилось в российской литературе.

Елизавета Кузьминская-Полихрониди

Димитрис Маниотис,

греческий художник-самоучка XX века

Я хочу рассказать о судьбе и творчестве выдающегося греческого художника-монументалиста, родившегося в Одессе, Дмитрия Фомича Маниотиса (греч. Δημήτρης Μανιώτης), чьи детство и юность прошли здесь, на Греческой улице, 20.

История его семьи с легкостью может послужить сценарием для приключенческого сериала, но сам он не очень любил рассказывать о себе. Подробности биографии сохранила для нас его родная сестра Евгения Фоминична Маниоти-Холинская. Евгения Холинская умерла в апреле 2007 г. в Одессе. В этом же году вышла моя первая книга «Одесская областная община греков. Вехи истории. XIX-XXI вв.», где описана история семьи грека Томаса (Фомы) Маниотиса, рассказанная ею по моей просьбе.

Семья Маниотис жила под Салониками, это было около 150 лет назад. Во время набега турок деда Евгении и Димитриса казнили: посадили на кол при всей семье: жене с дочерьми, 11-летнем сыне Фоме. Женщин оставили, мальчика взяли в янычары. В 18 лет ему удалось бежать, он добрался домой ночью, но родные со слезами велели ему немедленно уходить, чтобы не повторить судьбу своего отца: «Беги немедленно, беги в Россию». Больше мальчик свою мать и сестер никогда не видел.

Мать Димитриса Маниотиса Ольга Маниотис

Так Томас Маниотис на 19-м году жизни попал в Россию и двадцать лет жил в Санкт-Петербурге. Начинал коробейником, занимался торговлей. Знал несколько языков – английский, турецкий, итальянский, русский, французский и греческий. Стал кондитером, затем ресторатором, работал день и ночь, а позже приобрел гостиницу, сам был шеф-поваром и кондитером в своем ресторане.

В 40 лет он встретил девушку Ольгу Семенову, русскую дворянку, аристократичную, оставшуюся с детства сиротой и вынужденную работать гувернанткой. В ее семье был свой герб и право на потомственное дворянство. Мать Ольги, россиянка итальянского происхождения, родившаяся в Санкт-Петербурге, обучалась здесь манерам, чтобы стать фрейлиной при царском дворе. Томас познакомился с Ольгой и женился на ней в начале 1910 года. К этому периоду Томас Маниотис был уже состоятельным человеком. Он имел свой выезд, на карете красовался герб жены, жили они неплохо до 1917 г., венчались и крестили детей (две дочери), Евгению и Элли (официальное имя Лиза), в посольской греческой церкви. Там же была греческая школа, которую девочки посещали. Во время октябрьского переворота все состояние практически пропало, часть своих сбережений Томас оставил в греческом посольстве. Приехали в Одессу, спасаясь от революции и надеясь, что сюда это безумие не докатится, приобрели квартирку № 49 на Греческой улице, 20.

Там родился 10 июля 1923 г. Димитрий Маниотис, Дима, младший сын, будущий знаменитый художник, и там же умерла в детстве Элли, заболев инфекционной болезнью.

Семейная легенда о том, почему они, как многие тогда, не уехали в Константинополь, обвиняет в этом маленького Диму – трехлетний, он играл дома, нашел и изрезал документы отца, семьи, и уехать они уже не смогли.

Маниотис-старший пытался как-то приспособиться к новой власти, начать какое-то свое дело, но ничего не получилось, устроился работать в столовой оперного театра. Диме понравилось ходить туда, звуки классической музыки он любил впоследствии так же сильно, как живопись, и хорошо разбирался в музыке. (Единственная его картина, посвященная Одессе, изображает оперный театр.)

Мальчик был способным, начал рисовать рано. «В мои семь лет я понял, что у меня есть что-то отличное от окружающих – живопись. С тех пор я был застрахован от трагедии художественного самовыражения».

К сожалению, у кого он учился в Одессе живописи, мы пока не знаем, как и не знаем, в какой школе-десятилетке он учился, и кто там преподавал рисование, но очень хочется верить, что он попал в хорошие руки, такие как у А.Н. Стилиануди, преподававшего в нескольких школах города. В Одессе Дима берет первые уроки живописи. Отец поддерживает сына. Евгения вспоминала, что учителя говорили отцу, что у мальчика превосходный талант рисовальщика.

Наступают тридцатые годы XX века, отцу в императивной форме предлагают принять советское гражданство, Томас отказывается, и его высылают в 1937 г. в Сибирь. Мать едет за ним, берет с собой Диму. Отца они не нашли и вернулись домой. Дикая природа Сибири, тайга оставят маленькому Димитрию много воспоминаний, которые он позже выразит в своих пейзажах с исключительной живостью на холсте, рисуя леса тополей и берез, снег, медведей, косуль.

Отец переписывался с семьей какое-то время, они пытались ему что-то послать: шапку, чеснок. Молоденький брат Таси Влисмас – подруги Евгении – оказался там вместе с ним и смог о нем рассказать по возвращении. Томас Маниотис оттуда не вернулся. А мать самого Томаса, бабушка Евгении и Димы, оставшаяся в Греции, дожила до ста лет, она все ждала сына, но ее надежды не сбылись.

Семья осталась нищей: не было наволочки, простыни, голодали, бедствовали, а у них стены ломали в квартире, пытались что-то найти, считая, что Томас привез с собой из Питера ценности.

Семья распадается, мать и Димитрия принудительно депортировали в Грецию, а поскольку его сестра Евгения уже вышла замуж за советского гражданина, она осталась в Одессе. Уезжая из Одессы, юный Маниотис взял с собой только ласковое имя Дима, так звали его дома, в Одессе, так его продолжали звать близкие и потом, до конца его жизни.

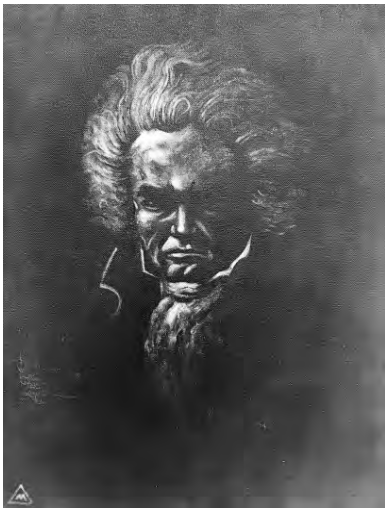
Его мать умирает от голода в 1941 году, до последнего поддерживая сына, а жизнь восемнадцатилетнего Димы Маниотиса сохранит мэр острова Сирос, ценитель искусства Теодорос Каракалас, который случайно увидел работы Димитрия уже после смерти его матери. Наблюдая за страстью рисовать и поняв уровень таланта молодого Димы к живописи, Т. Каракалас берет его в свою семью, дает ему работу, еду и достает ему (в военное время) необходимые материалы.

В 18 лет на острове Сирос прошла первая выставка молодого художника и сразу принесла ему всегреческое признание.

После войны он приехал в Афины, где был принят в Школу изящных искусств. Однако долго Димитрий там не продержался. Либеральный дух со взрывным темпераментом не выдержали консервативности и замечаний профессоров о том, что он использует красный («коммунистический») цвет, и, не проучившись и года, он ушел. «Меня считали очень «грязным» из-за свободы прикасаться к кисти и думать ею, о чем хочу», – говорил он, смеясь, об этом эпизоде своей жизни, по словам дочери, художницы Ольги Маниотис. «Но они (преподаватели) все же смогли сделать мне хорошо, потому что тогда я пошел к гроссмейстерам – Микеланджело, Рубенсу, Делакруа… И еще кое-что: я нахожу мертвых лучше живых. Вы знаете, о чем мы говорим с Людвигом? Боже, дай мне его волю в моем собственном искусстве!»

Людвиг был не кем иным, как Бетховеном, которого он считал своим великим духовным наставником, что отразилось в творчестве Маниотиса двумя портретами великого композитора-бунтаря, написанными в особенной манере.

Он восхищался композитором, потерявшим слух, сочинявшим гениальную музыку, не имея возможности самому ее слышать. Восхищался его упорством, волей и победой над собственной немощью, выраженной в великой музыке. Всегда рисовал свои картины под звуки классической музыки, вспоминали впоследствии его дети, чаще всего слушал своего Людвига.



Портрет Бетховена

В течение короткого времени Маниотис был учеником у художника Спироса Викатоса* и изучал скульптуру у Васоса Фалерея**.

В 1948 году он женится на Катерине Керваниду (из семьи беженцев из Малой Азии), молодые переехали на остров Сирос, где Катерина стала преподавать, так как ранее окончила Академию Раллио и стала учителем. (Одесская семья Ралли, так же, как одесситы Г. Маразли и Ф. Родоканаки, открывали и содержали свои многочисленные учебные учреждения по всей Греции, оказывая помощь недавно ставшей независимой молодой республике.)

В 1949 году у пары родился первый сын. Димитрис Маниотис из любви и благодарности к мэру о. Сирос, спасшему его когда-то от голодной смерти, дает своему сыну имя Феодор. Крестит первенца лично мэр Теодорос Каракал. Рождество 1950 года совпадает с рождением дочери Ольги.

---

* Спиридон Викатос (греч. Σπυρίδων Βικάτος Аргостолион Кефалиния 24 сентября 1878 – Афины 6 июня 1960) – греческий художник XX века. Один из последних представителей «Мюнхенской школы греческой живописи».

** Васос Фалерей (1905 – 7 октября 1979) (греч. Ο Βάσος Φαληρέας), греческий скульптор, один из самых важных представителей академической школы скульптуры в Греции в XX веке.

В течение нескольких лет Маниотис занимается керамикой, работает на заводе Керамейкос, его заинтересовало гончарное ремесло и греческая античная манера. Основам гончарного ремесла его обучал известный немецкий керамист Макс Эльстер. В 1980 году Димитрис уже сам преподавал дочери Ольге роспись по керамике.

В 1952 году он поселился в Каламате, где отвечал за художественный отдел керамики. Не оставляя своей любви к живописи, он рисует картины, лепит кувшины и тарелки и составляет отчеты о керамике. Он находится под влиянием своего фаворита Делакруа, пока не находит свой стиль выражения. В Каламате в августе 1954 года родился его третий сын Ахиллес.

В 1955 году он поселился на Самосе, где его жена была назначена учителем. Здесь, свободный от поиска средств к существованию, он занимается только своим искусством. Он начинает рисовать на больших поверхностях, считая, что так больше возможностей для самовыражения. В 1956 году в Контакейке (о. Самос) в мастерской он разложил свой холст и впервые нарисовал «свободные души» в виде лоша-

дей. Поскольку места было мало, он вышел и посмотрел в окно, чтобы увидеть картину издалека.

В 1959 году они переехали в столицу острова, Вати, где он без передышки рисовал свои картины на больших пространствах. Вдохновленный техникой окрашивания поверхности цветами радужной оболочки (не прямыми, а круглыми, полукруглыми), он дожидался, когда фон хорошо высохнет, и на этой основе сверху рисовал нужный ему объект белым цветом. Первая картина в этом стиле, посвященная свободным душам мира (лошадям), была выставлена в 1960 году в Парнасе. Ее сразу купил судовладелец Никос Номикос.

В поисках еще больших площадей он находит большой особняк немецкого металлургического завода Михльберг, наиболее подходящий по высоте и размеру. Здесь будет нарисована его знаменитая «Октябрьская революция» (длиной 30 метров и высотой 2 метра). Поскольку не было тридцатифутового лайнера, ему пришлось заказать из Голландии три рулона десятиметрового черного холста, чтобы подготовить фон. Сын вспоминал, что в семье все всегда было подчинено творчеству отца. Даже нуждаясь, они покупали сначала не мебель и продукты, а краски и холсты, выписывая все это из Голландии, к краскам всегда прилагалась свежая грампластинка классической музыки. Вся семья помогала ему готовить выставки – картины были большими, их надо было перетаскивать, разворачивать, сыновья часто готовили фон, чтобы сократить ему время для написания самих картин.

«Октябрьская революция» была нарисована полностью голыми руками, с помощью ладоней, пальцев и ногтей. Когда его пальцы начинали кровоточить, он прекращал и есть, и писать, чтобы раны зажили, и он мог быстрее продолжить работу. Самая длинная поверхность, которую он мог повесить в мастерской, была семь метров. Он рисовал семь метров, ждал, чтобы хорошо высохло, свертывал в рулон. Затем рисовал следующий кусок, а затем делал ассоциации. Сам художник смог увидеть свою картину целиком на выставке во дворце Заппион* в Афинах на Пасху

* Выставочный зал «Заппион» (греч. Ζάππειον μέγαρο) – здание в классическом стиле, построенное в Афинах австрийским архитектором Теофилом фон Хансеном для проведения первых олимпий.

1969 года. Работа над картиной заняла два года (1963-1965). У Маниотиса был дар рисовать очень быстро.

* * *

Историческое событие Октябрьской революции – восстание человека против ограничений в его постоянной борьбе за свободу. Димитрис Маниотис выразил личную и общую символику. Яркие цвета – красный, зеленый, желтый – подчеркивают фигуры воинов. Свет питал его искусство, которое изо всех сил пыталось сломать границы пространства и времени.

«Тем не менее этот свет питал его несовместимый с человеческой ложью и низостью характер», – говорила об отце Ольга Маниотис.

Также в Милберге им была написана «Зои» (жизнь), его вторая по величине большая картина (7,5 метра в длину и 5 метров в высоту), «Кавказ» и многие другие замечательные работы. Со временем в его индивидуальном стиле, которым он был вдохновлен долгие годы, произошли небольшие изменения, но – всегда с использованием цветов радуги.

Начиная картину, он делал особый фон (цветной или монохромный). Он «лает» на поверхность цветом и, пока цвет еще свежий, в нужных местах удаляет свежий цвет, а с раскрывающимся белым холстом отображается его тема. В Греции тогда так никто не писал, это было и новаторством, и дерзостью. «Но если бы мы хотели сконцентрировать всю духовную позицию Маниотиса как в его искусстве, так и в его жизни, мы бы выбрали символ, в который он верил сам: Прометей», – говорила об отце Ольга Маниотис.

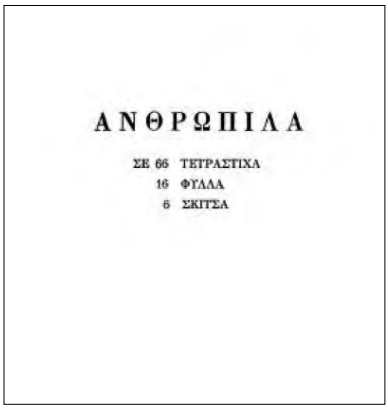
Я с ней соглашусь. Мальчик, ученик советской школы, понимавший ужас авторитарного советского строя, имевший репрессированного отца и рассказы матери-дворянки о прошлой жизни, выпестовал свой характер в свободолюбивой Одессе, оставаясь бунтарем. Он писал свои картины «против всех». Его творчество убивало и авторитарность СССР, и либеральность тогдашней Греции. Действительно, картина «Прометей» (и в этот ряд я бы поставила его «Джордано Бруно» и «Бетховена») – это гимн бунтарству человека против косности жизни. Символ щедрого подношения духовного человека всему человечеству. Но он при этом считал, что бунтарство, даже с его осознанием и личным выбором, является грубым наказанием, которое ревнивые боги накладывают на каждого Прометея, трагической тревогой творения.

Спешил писать. «Какую причину я приведу Микеланджело по картинам, которые я не создал, не приложил усилий, чтобы их нарисовать?» – он интуитивно задумывался о своем конце…

На Самосе он пробудет до 1966 года и окончательно вернется в Афины. Он продолжает непрерывно рисовать, создав огромную коллекцию картин, около 1000 маленьких и больших, его любимые сюжеты: пейзажи (особенно в жаркой Греции впечатляют его снежные пейзажи), лошади-души, марины, мифология, стиль ню. Рисует по памяти маслом, акварелью, темперой, из-под его кисти выходят портреты известных людей, особенную известность получили два портрета Л. Бетховена – интересно, что сделаны они одним коричневым цветом, где лицо, прическа и одежда композитора переданы только разницей тени, растушевкой, и впечатление от портретов очень внушительное. Эту же технику он применит, только в красных тонах, к «Джордано Бруно» и «Прометею».

Маниотис, всю свою жизнь проживший у моря, был отличным маринистом. Мне кажется, что среди десятка морских пейзажей есть несколько изображений и нашего Черного моря – уж больно эти картины не похожи на сладкие рекламные виды Эгейского средиземноморья.

Афины принесли ему известность и популярность. Он часто делает большие индивидуальные выставки в «Мегароне Заппион» (самый большой выставочный зал Греции) и других местах.


ΑΝΘΡΩΠΙΛΑ

ΣΕ 66 ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ
16 ΦΥΛΛΑ
6 ΣΚΙΤΣΑ

Обложки его поэтических сборников, изданных в Греции

Многие картины сразу раскупались коллекционерами и любителями, их можно встретить в домах судовладельцев, в Национальной галерее, в коллекции В. Фриссира*, Библиотеке Самоса и у многих друзей. Тем не менее, когда неизвестный человек выразил желание иметь картину, но у него не было денег, Маниотис просто отдал ее ему.

Он писал до конца своей жизни, которая оборвалась 3 апреля 1985 года, смерть нашла его рано, в возрасте 62 лет, он ушел, оставив множество незаконченных работ на разных этапах. Рак легких, по словам врачей, был вызван токсическими веществами красок, которыми он дышал, пока они были свежими,

* Музей Фриссираса – это современный музей живописи в Афинах. Он был основан Vlassis Frysiras, юристом и коллекционером, экспозиция состоит из более чем 3000 произведений искусства, картин и скульптур греческих и европейских художников.

в огромных количествах в течение многих часов каждый день.

Помимо живописи, он также занимался написанием сочинений, хронографов (анекдотов) и поэзии. В 1978 году в Греции были выпущены два поэтических сборника «…И легенда продолжается» и «Человек», в которых есть оригинальные эскизы. Писать он стал, когда почувствовал, что уже не может рисовать по многу часов в день, чтобы как-то компенсировать свою жажду творить.

В Одессу Димитрис Маниотис приезжал два раза, был в гостях у Евгении, бывал и в Санкт-Петербурге, где прошла молодость его родителей. Он очень хотел установить в Одессе в каком-то музее экспозицию из своих художественных работ, подарить их городу, но тогдашние власти отнеслись к его предложению равнодушно, тянули время, места не нашлось, он поехал в Санкт-Петербург и сразу договорился там, подарив свои работы городу на Неве.

Он очень обиделся на равнодушие одесситов, которые и знать ничего не знали о нем. В Одессу он рвался приехать еще, но уже был неизлечимо болен. Его последняя работа – «Аппиева дорога». У Евгении были его книжки на греческом языке – его басни, стихи, анекдоты, истории, воспоминания, несколько рисунков, зарисовки. У него осталась вдова, с которой Евгения переписывалась, и трое детей. Его книжки на греческом языке и эскизы, подаренные им сестре Евгении, пропали после ее смерти.

В некрологе, посвященном ему, писалось: «Димитрис Маниотис рисовал быстро, используя все – кисти, губки, шпатели, мастерки, руки, тряпки, лес, чтобы они могли придать картине именно то, что он хотел. Из-за больших размеров его картин он имел прозвище «Художник грузоотправителя», так как его работам почти

невозможно было проникнуть в дома или другие места людей с низким доходом, главным образом из-за объема. Однако он часто жертвовал свои работы тем, кто хотел этого, но просто не мог их купить. Его работа «Октябрьская революция» сама по себе была революционным нововведением для своего времени, преодолев все ранее существовавшие стандарты и клише. Тридцать метров в длину и два в высоту (3000×200 см) в трех рулонах по десять метров. Проект был завершен за два года, и он полностью раскрасил его пальцами, ладонями и ногтями! В своих монохромных работах он работал абстрактно, после того как рисовал холст, а затем «стирал» его, удаляя ненужный для него цвет, создавая тени и свет в точках, нужных будущей картине. Никос Кундурос* назвал его гением, и не случайно».

* Никос Кундурос (греч. Νίκος Κούνδουρος; 15 декабря 1926, Айос-Николаос, Крит, Греция – 22 февраля 2017, Афины, Греция) – греческий кинорежиссер, сценарист, продюсер, художник и монтажер.

Публикации

298 Исаак Бабель: письма из Одессы
Предисловие, публикация и примечания Елены Погорельской

Исаак Бабель: письма из Одессы

Несмотря на отсутствие основного архива И.Э. Бабеля, пропавшего во время ареста 15 мая 1939 г. и до сих пор не найденного, его писем, сбереженных адресатами, сохранилось немало. Около тысячи писем, которые датируются 1925-1939 гг., отправлено сестре и матери в Бельгию, где Мария Эммануиловна жила с конца 1924 г., а Фейга Ароновна – с лета 1926-го. Местонахождение оригиналов писем в настоящее время неизвестно, но в архиве Гуверовского института войны, революции и мира (Стэнфорд, США) имеются почти все ксерокопии с оригиналов, по которым они и печатаются в настоящей публикации.

Вероятно, мы можем говорить о таком явлении, как «одесский текст» Бабеля. В него наряду с классическим циклом «Одесские рассказы» («Король», «Как это делалось в Одессе», «Отец», «Любка Казак»), дополняющими этот цикл новеллами «Справедливость в скобках», «Конец богадельни», «Фроим Грач», примыкающими к нему драмой «Закат» и киноповестью «Беня Крик» могут быть отнесены рассказы, действие которых происходит в Одессе: «В подвале» (1931), «Пробуждение» (1931), «Карл-Янкель» (1931), «Ди Грассо» (1937), неоконченный ранний набросок «Детство. У бабушки» (1915); а кроме того, очерк «Одесса» (1916) – юношеская эстетическая декларация писателя, два «Листка об Одессе» 1918 г. и предисловие к неизданному «Сборнику семи одесситов». Неотделимой частью этого «одесского текста» надо считать фрагменты эпистолярия писателя, посвященные его родному городу. Вот примеры из писем разных периодов и по-разному эмоционально окрашенных, адресованных школьному товарищу и ближайшему другу Бабеля Исааку Лившицу.

17 апреля 1923 г., после переезда Лившица в Москву, Бабель пишет ему:

«Читаю московскую вашу литературу. Мне не ндравится. В Одессе совсем ничего нет. Я здесь рак на безрыбье.

Прежних моих знакомых я застал в весьма авантажном виде. Они подкормились, жены распухли, детки поправились, но все это сугубо провинциально. Этого раньше в Одессе не было, и этим она сейчас очень плоха – провинциализмом».*

В 1924 г., после смерти Ленина, Бабель выскажет суждение еще более резкое: «Одесса мертвее, чем мертвый Ленин. Здесь ужасно».** Но уже 28 октября 1927 г. в письме из Марселя воскликнет: «Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель».*** Наконец, 8 августа 1936-го, вновь из Одессы, ностальгически заметит: «Одесса бедна, нища, не отремонтирована и прекрасна по-прежнему».****

Хорошо известна такая особенность характера Бабеля, как склонность к мистификации, стремление прятаться, утаивать правду даже в повседневных делах и мелочах. Вместе с тем он всегда аккуратно, даже педантично проставлял в своих письмах дату и место, откуда то или иное письмо отправлено. По письмам несложно составить хронологию его передвижений и пребываний в разных городах и весях. Из писем Бабеля родным выстраивается ряд биографических сюжетов. Один из них связан с Одессой.

Поскольку первое письмо сестре датируется 23 февраля 1925 г., мы не можем назвать точную дату его переезда из Одессы в Москву. Мы знаем только, что он перевез сюда маму, сестру и жену не позднее лета 1924 г. (Точнее, поначалу для Бабеля и его семьи это был подмосковный Сергиев Посад.)

Писатель всегда стремился приехать в родной город. Выступая на вечере памяти Эдуарда Багрицкого в годовщину его смерти, 16 февраля 1935 г., Бабель сказал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять истории, стариться…». Скорее всего, друзья говорили не всерьез, но вот о постоянном пристанище в Одессе, о чем-то вроде дачи Бабель в середине 1930-х гг.

---

* Бабель И. Письма другу: Из архива И.Л. Лившица / Сост., подгот. текста, коммент. Е.И. Погорельской. – М.: Три квадрата, 2007, с. 16.

** Там же, с. 22.

*** Там же, с. 25.

**** Там же, с. 96

на самом деле задумывался: ему необходим был теплый климат – такой, как на его родине.*

После переезда писателя в Москву ему удалось лишь очень коротко побывать в Одессе в самом начале апреля 1927 г. Он на несколько дней ездил тогда в Винницу и Одессу из Киева, выступал в этих городах. Длительные пребывания Бабеля в Одессе относятся к осени 1935 и к концу лета и осени 1936 г. Ниже публикуются письма из Одессы, написанные в эти периоды.

В поездках 1935 и 1936 гг. его сопровождала жена Антонина Николаевна Пирожкова. Однако мы не найдем в письмах упоминаний о ней. Дело в том, что, щадя чувства матери и сестры, которые были очень привязаны к Евгении Борисовне и к Наталье, он скрывал от них свою вторую семью.

А.Н. Пирожкова вспоминала об этих поездках на родину Бабеля. Вот красочные детали из ее мемуаров о пребывании в Одессе в 1935 г., которыми я хочу предварить публикацию писем:

«Из Киева мы отправились поездом в Одессу. Вещи оставили в камере хранения и поехали в Аркадию искать жилье. Сняли две комнаты, расположенные на разных уровнях, с двумя выходами. Участок был очень большой, совершенно голый, без деревьев и кустарника; по самому краю обрыва к морю его ограничивал деревянный забор, узкая деревянная лесенка с множеством ступеней вела прямо на пляж. Завтраком кормила нас хозяйка, муж которой был рыбаком, а обедать, после того как слегка спадала жара, мы ходили в город, обычно в гостиницу «Красная», а иногда в «Лондонскую». Тогда еще можно было получить в Одессе такие местные великолепные и любимые Бабелем блюда, как баклажанная икра со льда, баклажаны по-гречески и фаршированные перцы и помидоры.

После обеда мы гуляли вдвоем с Бабелем или большой компанией или заходили за Юрием Карловичем Олешей и отправлялись на Приморский бульвар. Иногда забирались в отдаленные уголки города, и Бабель показывал мне дома, где он бывал, – там жили его знакомые или родственники.

В Одессе в то лето шли съемки нескольких кинокартин. В гостинице «Красная» на Пушкинской улице разместилось много мос-

* В конце концов Бабель взял дачу в писательском поселке Переделкино под Москвой.

ковских актеров и несколько режиссеров. В гостинице «Лондонская» на нижнем этаже в узкой комнате рядом с главным входом жил Олеша.

После завтрака Бабель обычно работал, расхаживая по комнате или по обширному участку вдоль моря. Как-то я спросила: о чем он все время думает?

– Хочу сказать обо всем этом, – обвел он рукой вокруг, – минимальным количеством слов, да ничего не выходит; иногда же сочиняю в уме целые истории…

В комнате на столе лежали разложенные Бабелем бумажки, и он время от времени что-то на них записывал. Но, даже проходя мимо стола, я на них не смотрела – так строг был бабелевский запрет.

Иногда Бабель отправлялся с хозяином-рыбаком в море ловить бычков. Происходило это так рано, что я и не просыпалась, когда Бабель уходил из дому, а будил он меня завтракать, когда они уже возвращались. В те дни на завтрак бывали жаренные на постном масле бычки.

Бабель водил меня на Одесскую кинофабрику посмотреть его фильм «Беня Крик», снятый режиссером В. Вильнером. Картину эту он считал неудавшейся.

Бабель любил Одессу и хотел там со временем поселиться. Он и писатель Славин взяли рядом по участку земли где-то за 16-й станцией. К осени 1935 года на участке Бабеля был проведен только водопровод; дом так и не был построен. Место было голое, на крутом берегу моря. Спуск к воде вел по тропинке в глинистом грунте. Аромат в тех местах какой-то особенный; кругом – море и степь».**

* * *

К сожалению, не удалось прокомментировать ряд имен, упоминаемых в письмах Бабеля. Поэтому обращаюсь к читателям-одесситам с просьбой откликнуться и сообщить автору настоящей публикации, если кому-нибудь что-либо известно об этих лицах.

** Пирожкова А. Я пытаюсь восстановить черты: О Бабеле – и не только о нем. – М.: АСТ, 2013, с. 256-258.

1. 19 сентября 1935

Одесса, 19.IX.35

На родине… Говорят, прикосновение к родной земле дает новые силы… Блаженствую, живу на даче, купаюсь… Дача в Аркадии, очень комфортабельно. Приехал сюда шестнадцатого, два дня прожил, как лорд, в Лондонской, со вчерашнего дня в Аркадии – она неузнаваема, пальмы, дорожки, зонты на пляже. В остальном Одесса отстала – бедна, провинциальна, за штатом, но прекрасна по-прежнему. Нигде еще не был, никому не сказался, ходил по городу. Ришельевская, 17, Тираспольская, 12[1], все, как было; вывески Натанзона и Гурфинкеля[2] – очевидно, они еще там… Я эгоистически рад, что мало новых зданий и мало изменений – все сразу узнаешь… Сегодня объявлюсь теткам[3] и войду в «курс»… Обо всем донесу. Жду адреса Тобиаш[4], я его потерял… В Киеве был на маневрах и видел вещи, которые прочие смертные еще не видели… Какие-то призрачные дела призывают меня в Москву, но я постараюсь здесь пробыть как можно дольше; чувствую, что возрождаюсь духовно и физически. Сегодня пойду на почту – может, от вас есть уже что-нибудь. Теперь в Одессе две большие почты – одна, старая, на Садовой, другая на месте маленькой – на углу Почтовой и Екатерининской. Разговор в Одессе по-прежнему колоритный – я выпил «ту» рюмку водки, дайте мне «те» тефтели. Охранители порядка здесь называются «тыи люди…». На несколько дней опоздал к великому событию – гонимые паламидой <sic!> к одесским берегам подошли невиданные косяки скумбрии, она выбрасывалась сама на берег, брали ее руками, мальчишки дрались рыбой на улицах…

По мере накопления сведений – буду доносить. Сегодня условились с Анютой[5] поехать на кладбище.[6]

И.

[1] Одесские адреса семьи Бабеля: на Тираспольской, 12, они жили после возвращения из Николаева в конце 1905 года, на Ришельевской, 17, – с 1909-го вплоть до отъезда из Одессы в 1924-м после смерти отца Э.И. Бабеля (умер 2 марта 1924 года).

[2] Речь идет о Якове Германовиче Натансоне (1879 – после 1920), меценате, юристе, присяжном поверенном, издателе, и Х.Г. Гурфинкеле, купце 2-й гильдии, владельце магазинов галантереи и мануфактуры в Одессе.

[3] В Одессе оставались две тетки Бабеля, сестры его матери – Соня и Анюта (см. далее).

[4] Сведений о данном лице не найдено.

[5] Анюта – Геся Ароновна Швехвель (в замужестве Кушнир; ум. 1941), акушерка, сестра Ф.А. Бабель.

[6] Речь идет о Втором еврейском кладбище, где в 1924 году был похоронен Эммануил Исаакович Бабель.

2. 21 сентября 1935

Одесса, 21.IX.35 Par avion

Живу в Аркадии, оправдывающей свое древнее наименование. Лето стоит во всем блеске. По нескольку раз схожу к морю, загораю, купаюсь. В город еще не ездил, уж очень здесь хорошо. Сегодня поеду к Анюте, завтра генеральная ревизия Молдаванки, буду у Сони[1]. Два раза в день ем скумбрию во всех видах. В течение нескольких дней улов был великолепным, но теперь рыбаки жалуются – скумбрию разгоняют паламиды <sic!>. Посылаю вам Ришельевскую улицу.[2] В адресе обязательно пишите – «Главный почтамт».

И.

[1] Соня – Зельда Ароновна Швехвель (в замужестве Нахамкис), акушерка, сестра Ф.А. Бабель.

[2] Письмо написано на почтовой карточке с видом Ришельевской улицы.

3. 23 сентября 1935

Одесса, 23.IX.35

Вчера был у Анюты, завтра поеду на Молдаванку к Соне. Кушниры[1] мало постарели, девочка с остреньким личиком[2], сильно «одесская», разговор с Мало<й> Арнаутской. Живут все в одной комнате, загроможденной мебелью до последних пределов (Анюта верна себе), идиот Гофман[3] на службе (все глупеет), Ада[4] тоже работает. На стенах у Анюты полный набор семейных портретов (с незапамятных времен), узнал много наших безделушек, все это очень трогательно. Скляр[5], оказывается, служит, недавно даже

экзамен какой-то выдержал. Способ выражения, по-прежнему, у него резкий.

Погода все еще божественная.

И.

[1] Кушниры – Геся Ароновна (Анюта) и ее муж провизор Кисель-Иегуда Авраамович.

[2] Внучка Г.А. и К.-И.А. Кушнир Гофман Зинаида Евгеньевна (в замужестве Калмыкова, р. 1930)

[3] Гофман Евгений Георгиевич (Жоржевич, ум. 1959), зять Г.А. и К.-И.А. Кушнир.

[4] Кушнир Ада Кисилевна (1900-1981), бухгалтер, двоюродная сестра Бабеля.

[5] Сведений о данном лице не найдено.

4. 30 сентября 1935

Одесса, 30.IX.35

Письма ваши получил с опозданием, все приходил на почту после закрытия. Сообщения о маминой болезни особенно тяжелы для меня на нашей родине. Родственников всех ублажу, девочке ношу подарки. Продолжаю себя очень хорошо чувствовать в Одессе, надеюсь что-нибудь здесь «сработать». К Левиаш[1] зайду. Пишу на почте, поэтому – бегло, кроме того, нахожусь под впечатлением плачевных твоих известий. Дня два здесь было ветрено, холодно, сегодня вернулось лето. От Жени[2] давно ничего нет. Попрежнему живу на даче, на самом берегу моря. Вот бы вас сюда. Кланяйся маме. *И*.

[1] Сведений о данном лице или семье не найдено.

[2] Бабель Евгения Борисовна (урожд. Гронфайн; 1896-1957), художница, первая жена писателя; с конца 1925 г. жила во Франции.

5. 3 октября 1935

Одесса, 3.X.35

Как здоровье? Молюсь за вас собственному богу…

Видел вчера Анюту и Соню, рассматривал несколько часов старые фотографии: нашел обеих бабушек, мои и Мерины

гимназические снимки, маму с двухлетней дочерью, всех моих товарищей – Черкеса, Вайнтрауба, Лившица[1]… Все эти снимки отдам здесь на кинофабрику, их переснимут, часть карточек оставлю себе, часть отошлю вам…

Здесь по-прежнему удивительная погода, не хочется двигаться из Аркадии, кроме того, работаю лучше, чем где бы то было. В воскресенье, перед Иом-кипур, экспедиция с обеими тетками на кладбище – хочу привести в достойное состояние все могилы. Из Москвы мне перевели деньги. По получении еще раз будут одарены тетки и Левиаш.

И.

[1] Черкес Григорий – выпускник Одесского коммерческого училища (ОКУ) 1912 г. Вайнтрауб Арон – одноклассник Бабеля по ОКУ. Лившиц Исаак Леопольдович (1892-1978), одноклассник и ближайший друг Бабеля, издательский работник. Судьба фотографий Фейги Ароновны с двухлетней Мери и школьных товарищей Бабеля неизвестна. До нас дошла лишь фотография предположительно 1908 г., запечатлевшая одноклассников Арона Вайнтрауба, Абрама Крахмальникова, Исаака Бабеля и Исаака Лившица в форменных фуражках и зимних пальто с барашковыми воротниками.

6. 9 октября 1935

Одесса, 9.X.35

Купальный сезон в этом удивительном городе продолжается. Дни стоят сияющие. Провожу их на даче, на берегу моря, в трудах и одиночестве. Рыбачка, хозяйка моя, готовит восхитительные одесские блюда. С ужасом думаю об отъезде в Москву. Всякие городские дела здесь откладываю на то время, когда начнется дурная погода. Впрочем, всякое посещение города дает уму и сердцу обильную пищу. Один визит к Столярскому чего стоит!..[1] Я ночевал у них. Маэстро ходит весь пестренький, с шевелюрой, в пижамах и клетчатых штанах. Здесь школа его имени, он лучший преподаватель скрипичной игры в Союзе, вундеркинды из-под его рук сыплются, как горох, благополучие полное, он любимец и баловень – и даже дочь, сильно напиханная годами, недавно вышла замуж. Сильно кланяется вам…

О наших «визитах» вам, вероятно, писала Анюта, повторяться не буду. Отдал фотографу переснять старые редкие карточки, чего у вас нет – пришлю. От мамы категорически требуем выздоровления. Посмотрела бы она, как бодро бегает Соня, живущая полной жизнью, какой молодицей выглядит Анюта (гораздо моложе и лучше Кати[2]). Все ее подруги – вроде Сони Фельдштейн[3] выглядят несокрушимо…

Я рассчитываю, что работа моя в Одессе очень приблизит меня к свиданию с вами. Получил трогательное письмо от Наташи[4].

Мне пишите по-прежнему в Одессу. О перемене адреса – уведомлю вас телеграммой. В Одессе я снова открыл существование бога и молюсь ему о мамином скорейшем выздоровлении.

И.

[1] Столярский Петр (Пинхус) Соломонович (1871-1944) – знаменитый преподаватель игры на скрипке. Бабель вывел его в образе Загурского в рассказе «Пробуждение» (1931). Подробнее о встречах Бабеля и Столярского в 1930-е гг. см.: *Погорельская Е.* Частица живой Одессы: Исаак Бабель о П.С. Столярском // Всемирные одесские новости. 2017, № 2 (100), с. 4.

[2] Катя – Швехвель Гитл Ароновна (в замужестве Ляхецкая), младшая из сестер Швехвель, зубной врач; жила в Москве.

[3] Сведений о данном лице не найдено.

[4] Дочь Бабеля и Евгении Борисовны Наталья родилась в Париже 17 июля 1929 г. Стала литературоведом, переехала в США. Публиковала рассказы и письма отца.

7. 13 октября 1935

Одесса, 13.X.35

Был сегодня на почте. К огорчению – ничего от вас не получил. Очень волнуюсь.

Собираюсь с моей дачи в город. Буду вспоминать это время с добрым чувством. Еще сегодня утром купались в море, к вечеру поднялся осенний ветер. Пишу вам в третьем часу ночи, слышен прибой волн и свист ветра. На всей громадной даче – я да сторож, да сторожиха. В последние дни – полнолуние, ночи такой красоты, что даже грустно становится. Стою на обрыве над морем и не в силах уйти к себе…

С тетками вижусь часто… Их и Е. Я.[1] ждут в ближайшие дни богатые дары.

Постараюсь пробыть на юге до конца октября. Больше сидеть нельзя будет, п<отому> ч<то> дела в Москве достаточно срочные. Стараюсь набраться сил для Москвы – в Лермонтовском курорте (великолепно оборудованном) делаю по рецепту проф. Калины (брат покойного[2], набитый, веселый дурак, но очень хороший доктор, теперь профессор) ингаляцию для носа и греюсь под горным солнцем – это, по-моему, единственно правильное лечение, в Москве не додумались. Калина, по-моему, правильно определил, что у меня никаких болезней и изменений в носоглотке нет, а больна только слизистая оболочка. Так как я к тому же пророк в собственном отечестве – то доктора (все поклонники) заставляют меня принимать всякие диковинные души и морские ванны. Терапевт, перед тем как прописать все это, выслушал меня и объявил, что сердце у меня хорошее, каковой диагноз был мне приятен.

Всю корреспонденцию направляйте пока в Одессу. Пишите мне.

И.

[1] Кто скрывается за этими инициалами, установить не удалось. Нельзя исключить описку.

[2] По всей видимости, брат Калины, с которым общался Бабель в 1935 г., – Калина Осип Григорьевич, лечивший болезни уха, горла, носа и принимавший, как сказано в справочнике «Вся Одесса» за 1913 г., на Тираспольской, 8.

8. 19 октября 1935

Одесса, 19.X.35

Прелестная мамаша, божий цветочек. Надеюсь, что на ближайших футбольных состязаниях – ты возьмешь первый приз. У нас такие гражданки, как ты, прыгают с парашютом и сдают норму на звание ворошиловского стрелка…

В Одессе продолжаются мягкие, солнечные дни. Пальто еще люди не надевали. Я рассчитываю здесь пробыть до конца месяца. Потом – небольшой заезд в Киев и Москва. Запасаюсь здо-

ровьем – каждый день лежу под горным солнцем, принимаю морские ванны, делаю себе ингаляцию. От Жени очень скудные сведения, собираюсь бить ей телеграмму.

Вопрос о дальнейших моих передвижениях решится в Москве. Польза, приносимая мне пребыванием в Одессе, громадна – и душа, и мозги перетряхнулись. Может, еще и потому, что жить здесь хорошо – можно сказать, любим народом… На улице подходят незнакомые люди, все чистильщики и газетчики кланяются и вступают в совершенно невообразимые разговоры. Был как-то вечер в Сибиряковском театре[1], я пробормотал несколько слов, потом, когда я выходил, тысячные толпы молодежи собрались на Херсонской, загородили дорогу автомобилю, орали и не давали уехать. Как видите, добрый одесский народ жив еще…

Встречаю множество моих товарищей по школе, они все бухгалтеры, все пощипанные и притихшие. Один я что-то никак не чувствую обстоятельств времени и места…

Итак, во что бы то ни стало будьте здоровы. J'embrasse Grisha[2].

И.

Полпреда, похоже, не знаю, но узнать легко.

[1] Одесский театр, названный по имени его основателя оперного певца и антрепренера Александра Иллиодоровича Сибирякова (1863-1936). Открыт в 1903 г. Ныне Одесский театр оперы и балета.

[2] Обнимаю Гришу (*фр.*). Гриша – Григорий Романович Шапошников, врач-акушер, муж Марии Эммануиловны, сестры писателя.

9. 23 октября 1935

Одесса, 23.X.35

Уважаемые родственники и наставники.

Неотложные дела призывают в Москву, но я упираюсь. В Одессе хлеб моей души, и сюда надо мне вернуться. По-прежнему – особенный город. В Москву надо по делам литературным и международным; узнать, состоится ли пленум в ноябре в Париже.[1] Узнаю, кстати, в Москве о нашем бельгийском представительстве. Об отъезде буду вам телеграфировать заблаговременно, так что пока продолжайте писать в Одессу. С тетками вижусь, с минуты на минуту должен получить деньги из Москвы, тогда последуют жесты.

Я здесь веду жизнь мудрую – вдыхаю носом всякие щелочи и масла, грею морду под лампой Баха[2], к этому прихватываю, благо, бесплатно (все бесплатно в этой удивительной стране!) морские и углекислые ванны, с циркуляционным душем… Все это принимаю в Лермонтовском курорте… Здесь весна продолжается, а короткие напоминания об осени проходят бесследно.

Больше не имею кое-чего писать[3], п<отому> ч<то> надо бегать и заниматься.

ИБ

[1] В июне 1935 г. Бабель участвовал в антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры в Париже. Но в отличие, например, от Пастернака, приехавшего вместе с ним на конгресс с опозданием, Бабель даже не был избран в Бюро Международной ассоциации писателей в защиту мира. Однако на свое участие в писательских форумах за границей, которые могли стать продолжением работы конгресса, он рассчитывал. Это давало бы ему новую возможность встретиться с родными. 13 ноября 1935 года, уже из Москвы, он сообщал матери и сестре: «Пленум, который предполагали назначить в ноябре, – на некоторое время отложен. Мне дали понять, что я смогу повидаться с родными в любое время, как только обнаружу какую-нибудь «продукцию» – чем я единственно и должен теперь заниматься. Наездившись – я теперь с наслаждением сижу у теплой печки, в пуховых брюссельских комнатных туфлях, и неторопливо себе чего-то кропаю…». Весьма любопытно и неожиданно в этом плане и его более позднее письмо в Бельгию от 24 июня 1936 г.: «17 июня в числе прочих я должен был ехать в Лондон на писательский конгресс. Из-за смерти А. М. поездка наша перенесена на осень. Планы мои на лето надо было радикально изменить». Однако в состав советской делегации на пленум в Лондоне Бабель не выдвигался, а из-за смерти М. Горького СССР был там представлен одним Эренбургом.

[2] Ртутно-кварцевая лампа, применяемая для лечения различных заболеваний.

[3] Переделанная цитата из рассказа Бабеля «Соль»: «Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится, в нашем простом быту – господнего дерьма не перетаскать».

10. 8 августа 1936

Одесса, 8.VIII.36

Незабвенные земляки.

Неделя ушла у меня на переезды, гостиницы, на страдания от удушающей жары. Вчера поселился на берегу моря в Еван-

гелическом переулке – рядом с Лермонтовским курортом, где я буду лечиться. Вчера меня осматривали врачи – нашли сильное переутомление и ничего больше. Один из них – терапевт – сказал: дело вам портят бронхи; если бы не они – вашему организму можно только позавидовать. Пройду курс лечения носа у Калины – прошлогоднее дало блестящие результаты – ингаляция и горное солнце – буду купаться, ванны и всякая механо-терапия…

Одесса такая же очаровательная, но обшарпанная и бедная. Вчера встретил у Лермонтовского курорта Катю и Ляхецкого[1]; они лечатся всеми возможными процедурами, они-то, собственно, мне комнату и сняли…

В смысле погоды – здесь благодать – жара спала, а то хоть пропадай – в Одессе доходило до 60° на солнце, в Москве до 50°. Дня три уже держится необыкновенно приятная, прохладная и солнечная погода…

Остальных теток и дядек – еще не видел, но всех посещу…

Теперь просьба к вам – писать мне как можно чаще. В Одессе нет ни телефона, и письма доходят не так быстро, как в Москве, – и я чувствую себя оторванным – Сима, к сожалению, далеко. Все это меня беспокоит, поэтому хоть коротко, но пишите мне обо всем…

Как вы поживаете в Остенде? Написала ли вам Женя? Я все скорблю – хоть бы четверть нашего солнца вам…

Обо всех маленьких происшествиях курортной моей жизни – буду сообщать вам аккуратно – платите мне тем же… Я всего второй день на покое и уже посвежел настолько, что из зеркала смотрит совсем другая рожа. Адрес всегда один и тот же – Главный почтамт, до востребования. Привет Грише.

И.

[1] Ляхецкий Иосиф Моисеевич, муж Г.А. Швехвель (Кати).

11. 10 августа 1936

Одесса, 10.VIII.36

Отходим от жары – погода прохладная и ветреная, ночью была буря. 14-го начинаю лечение носа (ингаляция и лампа Баха) и всякое прочее ублаготворение – ванны, массаж и проч. Уже чувствую

себя несравнимо с Москвой. Живу, кажется, в бывшем особняке Бирнбаума[1] (так утверждает Катя), Ляхецкие рядом – на Ланжероновском бульваре. Он чудаковат до крайности. Обедами кормит меня хозяйка. Меню: синие, бычки, пшонка, дыня и прочие традиционные вещи, за исключением скумбрии, которой в этом году нет… Пишите почаще.

И.

[1] Бирнбаум.

12. 13 августа 1936

Одесса, 15.VIII.36

Получил первое ваше письмо в Одессу. У нас, увы, погода великолепная, не то что в Остенде. Я пока еще, кроме Кати, никого не видел, отдыхаю от московской суеты – и набираюсь с силами. Умнее поступка, чем поехать в Одессу, нельзя было придумать. Процедуры начинаю принимать с 15-го. По совету врачей, до начала курортного лечения надо было дать организму полный отдых и максимум сна – что я в меру сил и выполняю. Желаю вам первым делом солнца и хорошей погоды. Одновременно пишу Жене и Наташе.

И.

13. 20 августа 1936

Одесса, 20.VIII.36

Вчера вечером были у меня в гостях Анюта с Катей. Увы, без хлопот и здесь не обойдется. Анюта до сих пор живет вчетвером в одной комнате, до краев заставленной мебелью, к тому же с зятем, раздражающим ее своей блаженной глупостью. Постараюсь найти ей здесь комнату и, главное, службу – а то она превратилась в няньку при девочке, что бессмысленно. 23-го устраивается семейный обед у Сони на Молдаванке – куда мы все и отправимся. Вчера же выяснилось, что я живу в доме (Евангельский переулок, возле моря), в котором до самой революции проживал Бирнбаум. Вот совпадение… В доме этом я ненадолго, занимаюсь подысканием подходящего жилища, с каждым днем чувствую себя все

лучше, переутомление и нервозность Москвы помаленьку улетучиваются. Несколько дней не был на почте – надеюсь, что меня ждут письма от вас и Жени. Погода у нас превосходная, я аккуратно купаюсь.

И.

14. 15 августа 1936

Одесса, 15.8.36

Ничего нового. Прохожу т<ак> наз<ываемые> процедуры, купаюсь, гуляю, дышу поэтическим и литературным воздухом Одессы – надежды на него возлагаю большие. Живу в роскошных, но временных помещениях – был на Ближних Мельницах – вот райское место, если бы море… Исподволь подыскиваю себе хибарочку. От Жени, увы, сведений нет. У теток все как полагается. Одна беда – начинает портиться погода, дышит осенью, как у вас? Пишите, золотые мои, почаще.

ИБ

15. 28 августа 1936

Одесса, 28.8.36

Mes enfants.[1] Жалобы ваши мне непонятны – я пишу очень аккуратно. Все письма скопились, вероятно, в Брюсселе. Очень сожалею о том, что отпуск ваш кончается. Увы, бельгийская погода перебросилась и к нам – дня три уже пронзительный ветер и холод. Но мы все уповаем… И потом – с чего вы вообразили себе всякие страхи о моих болестях. Я проделываю у того же неувядающего Калины тот же курс лечения, что и в прошлом году, – лампа Баха и ингаляция. Целый год у меня не было насморков, я приписываю это лечению и сейчас принимаю профилактические меры на следующий год. Я не имею здесь никаких сведений ни от Жени, ни от Симы[2] и Бори[3]; Боря обещал вам написать в конце августа – не знаю, сдержал ли он свое обещание. Обыкновенно он чрезвычайно точен. Катя со своим глупейшим супругом (к тому же лишившимся половины пальца на левой руке) отбыла вчера

в Москву. Я здесь жду хорошей погоды и шлю вам свое благословение. Пишите par avion[4].

ИБ

[1] Дети мои (*фр.*).

[2] Швехвель Сима Ароновна (во втором замужестве Фаерман) – сестра Ф.А. Бабель.

[3] Сведений о данном лице не найдено. Речь не идет о муже С.А. Швехвель: его звали Израиль. Возможно, Борис – это их сын.

[4] Воздушная почта (*фр.*).

16. 1 сентября 1936

Одесса, 1.9.36

Вчера в трамвае у меня вырезали часы – один из любимейших предметов моего обихода. Этих же воров я когда-то воспевал, так что жаловаться не имею права. Вот – главная новость. У меня проездом в Ялту гостит Эйзенштейн[1]. В Ялте через несколько дней он начинает съемки по моему сценарию, и мы дорабатываем здесь последние сцены. В последних числах сентября я, вероятно, тоже совершу вояж в Ялту[2], поем там виноград и посмотрю наиболее важные съемки. Эйзенштейн говорит, что по сравнению с Москвой я неузнаваем и физически, и духовно; работаю в десять раз лучше, чем в Москве.

ИБ

[1] Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) в 1936 г. работал с Бабелем над вторым вариантом сценария к фильму «Бежин луг» (работа не была завершена, фильм запретили, единственная копия сгорела во время пожара в годы Великой Отечественной войны).

[2] В Ялту Бабель выехал 26 сентября, вернулся в Одесу 22 октября (см. далее).

17. 5 сентября 1936

Одесса, 5.IX.36

Я все еще живу рядом с Лермонтовским курортом – но это последние дни. На выбор есть несколько квартир – завтра, наверное, остановлюсь на одной из них. Я приехал сюда без всяких болезней,

но с крайним переутомлением и весь избитый московской суетой. Начинаю оживать не по дням, а <по> часам. И душа, и тело входят в норму. Теперь меня отсюда никуда, кроме как в Брюссель, не выгонят. Думаю, что и работа пойдет не та… Я до сих пор мало с кем виделся, исполнял предписания врачей – отдыхал и спал. Теперь, как только приобрету оседлость, – начну делать визиты и займусь тетками. Сегодня поговорю в санатории о массаже – мне почему-то тоже кажется, что это будет благодетельная вещь.

Фотографии я получил и сделал достоянием всего семейства. Все охали и восхищались.

Очень обидно, что так долго идут письма и нельзя позвонить по телефону. Москва теперь настоящая столица – устроенная, moderne[1], а здесь все старинка, сердцу приятная, но, выходит, неудобная. Погода все время была средняя, но, похоже, установилась, как говорят в Одессе, «та» погода.

И.

[1] Современная (*фр.*).

18. 10 сентября 1936

Одесса, 10.IX.36

Посылаю вам (с обязательным возвратом) собственноручное письмо Наташи. Женя сообщает о ней чудеса. Их адрес: Kensington Hôtel, La Croix (Var)[1]. Это возле St. Raphaël. Итак, мы расселились у трех морей. Помогла им уехать Сима. Наташа, как и следовало ожидать, командует всем отелем и пленяет все сердца. Женя просит у всех прощения за неписание – отговаривается плохим почерком и крайней нелюбовью к эпистолярному искусству. У нее все благополучно. Край, в котором они живут, – это благословенные места…

Что касается меня – то люди, видевшие меня в Москве, отказываются признать меня в Одессе – такой я получил глянец. Чувствую себя с каждым днем лучше. До чего оно умно вышло, что я уехал из Москвы – это даже рассказать трудно. Посижу здесь подольше – пока не закончу заветной одной книжонки.

Жду ваших фотографий, обещаю в обмен свои. Катя с Ляхецким давно уехали – я вам своевременно об этом писал. Делами теток я пока не занимаюсь, п<отому> ч<то> поглощен своим устройством. Я, по правде, присматриваю здесь усадебку в дачной местности – на постоянное владение – для того чтобы иметь место, куда бы в нужный момент я мог скрыться для работы – а то темп и ритм нашей жизни таковы, что, глядишь, все сроки пройдут – и так и не выберешь времени для размышления и кропотливого занятия своим ремеслом. Как только это дело оборудую – займусь Анютиными квартирными делами. Что касается Скляров, то они на Госпитальной logés[2] очень великолепно, скромная наличность дает им полное удовлетворение. Одесса переполнена интуристами, (главн<ым> образом) американцами одесского же происхождения – приехавшими сюда к родственникам (через Интурист) после двадцати, тридцати и сорокалетнего отсутствия. Вот бы Розу[3] подбить… В Лондонской – неописуемые сцены. С Госпитальной, с Базарной, с Костецкой к американским дядюшкам тащатся евреи… Крики, возгласы и объятия – все это легко себе представить… Мне бы, конечно, тоже хотелось, чтобы меня мои дядюшки навестили.

ИБ

Женя извиняется, что не пишет, но и она, и Наташа чувствуют себя на курорте очень хорошо.

ИБ

[1] Вероятно, Ля-Круа-Вальмер – коммуна на юго-востоке Франции, в регионе Прованс, департамент Вар.

[2] Расквартированы (фр.).

[3] Роза Эдельсон – родственница или близкая знакомая Бабелей, жившая в Америке.

19. 17 сентября 1936

Одесса, 17.IX.36

Благорастворение воздухов… Снова лето и «радость бытия». Поздравляю вас с новым годом[1]. Вчера у меня незабываемый вечер. Пошел с дураковатым Ляхецким (он вернулся)

в синагогу на Мастерской улице[2] (за Колонтаевской); с детства знакомая обстановка, лица, старухи в «фарчейлах»[3], старики с громоподобными голосами. Очень рад, что пошел, конечно, не обошлось без молитвы – на свой лад и не тому богу – главным образом за вас…

Так как Женя сознает свою вину – то вы должны ей написать. Адрес у вас есть. Как климат в Брюсселе? Меня на несколько дней вызывают в Ялту. Если поеду, буду вам телеграфировать.

Salut[4]!

ИБ

[1] Речь идет о Рош-а-Шана, еврейском Новом годе.

[2] Мастерская улица идет параллельно Балковской.

[3] Фарчейл – платок в переводе с идиша.

[4] Привет (*фр.*).

20. 22 сентября 1936

Одесса, 22.IX.36

Двадцать шестого еду в Ялту. Адрес: Ялта, кинофабрика, Эйзенштейну для меня. Думаю, что одно-два письма от вас сумею получить. Погода стоит изумительная, в Ялте, наверное, еще лучше. Только бы до двадцать шестого не разыгралось море; сейчас – штиль, а с качкой у меня отношения неважные. Поедим в Ялте винограду и поездим по южному берегу… Потом возвращаюсь в Одессу. Дача здесь уже приготовлена. Адрес остается прежний. Пишите неукоснительно. После возвращения займусь всей родней; буду шить им кофточки и взносить взносы.

По-моему, от вас на почте есть письмо – вчера явился поздно, и не выдали. Принимая во внимание, что я человек безмерно занятой, а вы, наоборот, пишите часто, почтовые расходы возместим. С тем примите привет от вашего племянника и двоюродного брата.

ИБ

21. 24 сентября 1936

Одесса, 24.IX.36

Вчерась получил ваши карточки. Я их очень понравил. Вчера же отнес их Анюте, передал ей две «группы» – одну для Сони. Все они тоже карточки понравили. Ада растолстела, в отличие от моей сестры, которая держится в форме. <…> Я, продолжая свой роскошный образ жизни, – отправляюсь послезавтра в Ялту – засиживаться там не предполагаю, закончу дела с Эйзенштейном, сделаю две-три экскурсии (Массандра, Алупка, Никитский сад) – и вернусь в Одессу работать. Прошу вас две-три открытки о здоровье направить мне по адр<есу>: Ялта, кинофабрика, мне.

Женя извиняется, что не пишет, но и она, и Наташа чувствуют себя на курорте очень хорошо.

ИБ

22. 23 октября 1936

Одесса, 23.X.36

Приехал вчера вечером. Под Ялтой маленько качнуло, зато после Севастополя – вода была, как остывший суп в миске – т. е. наиболее приспособленная для такого морского волка, как я, – так что приехал в блестящем состоянии. Здесь пасмурно, но не холодно. Только что был на почте, где получил ужасающих размеров корреспонденцию. Пишу вам предварительно – как только разберусь с делами – засяду за письмо по-настоящему. Пока направление одно – как можно больше работать и не возвращаться в Москву – не доведя работы до конца. Хочу последовать Мериному совету – и пройти курс массажа, а то теряется «линия». Буду принимать морские ванны. Насчет землицы и огородика напишу вам после 25-го, к этому времени наведу исчерпывающие справки. С тем – предлагаю вам для неуклонного выполнения – быть здоровыми.

ИБ

23. 25 октября 1936

Одесса, 25.X.36

Пишу на почте. За каллиграфию не взыщите. Кроме того, сегодня весь день – с утра до вечера – занимался сочинительством, и мозги у меня в настоящую минуту в отпуску.

Приехал 22-го, о чем вам писал – и вот только что 25-го вечером вышел из своей комнаты – совсем замороченный. Похоже, что напал на дельные мысли, поэтому и тороплюсь. Кроме того – нужно теперь всякие командировки зарабатывать собственноручно, благодетеля нету уже.[1] В Москву хочу поехать только после того, как окончу работу, – и очень страшусь вызова по каким-нибудь кинематографическим делам. Работой с Эйзенштейном в Ялте я доволен, как бы фабрика не разохотилась и снова меня не вызвала.

Завтра – пойду по своим дачным делам. Мне очень хочется иметь в Одессе – вдали от мирской суеты (только здесь я и могу работать) – домик с садиком – т. е. то, о чем и вы мечтаете, – к сожалению, мне это сделать легче, чем вам. И вот перед тем, как предпринимать всякие переезды и путешествия – мне хотелось бы такую хибарку здесь за собой закрепить – думаю, что и для работы, и для семьи это будет в высшей степени полезно. Я убедился в том, что в Москву надо ехать гулять, получать деньги, заключать договоры, а работать надо где-нибудь на природе. Все мы делали до сих пор как раз наоборот… О достижениях своих в этой области буду вам аккуратно сообщать. Мне хотелось бы, чтобы и вы завели себе садик и машину – все-таки здоровее и веселее… Пока у меня, кроме квартиры в Москве, есть подмосковная громадная, только что выстроенная дача, но мне не нравится то, что она расположена в писательском поселке – может быть, обменяю ее на что-нибудь равноценное.

Очень беспокоюсь о Женином финансовом положении – не знаю, как отразится на ней девальвация франка. Как вам – лучше от этого или хуже? И вообще – похоже, что у нас спокойнее теперь, чем в Париже и даже Брюсселе.

От Симы и Марьяси[2] не имею никаких сведений, очень бы хотел знать, что с ними и где они. Как поживает Боря – когда вы с ним виделись, скоро ли он будет в Брюсселе. Напишите мне поскорее.

Тетки за время одесского и ялтинского моего житья, надо думать, захирели; неограниченные мои ресурсы все в Москве – здесь я мирно живу на жалованье – поэтому целый месяц их не освежал. Чувствую по этому поводу «харуту»[3] – и упущение сие исправлю. Погода на нашей родине свежая, но ясная и солнечная. Удивления достойно все-таки как я здесь перерождаюсь – физически и духовно. Для брюха здесь непрерывная симфония – камбала, кефаль, халва, бублики с семитатью и маком, <2 сл. нрзб.>, словом, пища, достойная «артиста». Несмотря на почту, я все-таки что-то нацарапал – до истощения чернил в stylo. Кланяюсь вам и целую вас – до завтра или послезавтра письменно, а и лично, думаю, не за горами.

И.

Страшно перечитывать, какую мыгылу[4] написал.

[1] Речь идет о М. Горьком, который умер 18 июня 1936 г. Под командировками Бабель имеет в виду поездки за рубеж.

[2] Сведений о данном лице не найдено.

[3] Харута – идишское слово, пришедшее из иврита, означает раскаяние, покаяние, глубокое сожаление.

[4] Мыгыла – длинное послание, свиток (*идиш*, от ивритского слова «магила»).

24. 29 октября 1936

Одесса, 29.X.36

А вот и неувядаемый «дюк»[1], который по-прежнему выполняет все работы, от которых отказываются люди – «нехай дюк делает» – и выслушивает многие речи – согласно приказанию: «говори до дюка»…

У нас теплая осень, идет теплый дождик. Трудимся удовлетворительно, живем мирно – ложусь в 11 ч. вечера, встаю в 7 часов, кушаю «ту» пищу, точно как дома, во времена детства, разве что побогаче – чувствую, что от этой пищи умнею. Завтра напишу подробно, поднакопились дела.

И.

[1] Письмо написано на почтовой карточке с изображением памятника герцогу де Ришелье в Одессе.

25. 1 ноября 1936

Одесса, 1/XI 36

Я живу в смысле тишины и покоя в таком блаженстве, давно уже не испытанном, что из действительной жизни, можно сказать, выключился совершенно. В комнате моей так тихо и невозмутимо – что ничего кроме как работать – не хочется; стараюсь наверстать упущенное и скопить резервы на будущее – всякие поездки в Москву и проч. (куда меня уже вызывают, главным образом по кинематографическим делам, но я пока отбиваюсь. В работе, мне кажется, наступило действительное улучшение – и я стараюсь не потерять ритм и темп.

Завтра напишу Жене – я категорически буду возражать против поездки Наташи в Швейцарию – времена теперь беспокойные и помимо всего прочего расставаться с ребенком, по-моему, просто опасно.

Завтра пойду на почту. Надеюсь, застану от вас письмо. Сегодня вечером схожу к Анюте – о впечатлениях своих завтра напишу. Погода пасмурная и теплая. Потихонечку в одиночестве гуляю и чувствую себя совершенно счастливым.

ИБ

26. 2 ноября 1936

Одесса, 2/XI 36

Пишу на почте. Несколько дней здесь не был и только сегодня получил ваше письмо от 22-го. Очень рад, что у вас побывал Боря и помог вам. Я не понял только, в какой сумме выразилась его помощь – в каких франках; бельгийский, мне кажется, меньше французского, французский меньше швейцарского и т. д. Разъясните…

Жене строго-настрого наказал Наташу в Швейцарию не отправлять, считаю момент в высокой степени не подходящим. После приезда в Одессу – я от нее тоже никаких писем не получал.

Я по-прежнему живу в раю – например, на завтрак сегодня ел рубленые яйца, гусиные шкварки и чай с малиновым вареньем… Это, по-моему, называется нум амбромо. Если результаты моих

трудов будут удовлетворительны, тогда перспективы в высшей степени утешительные. Работаю, как редко когда.

У меня к вам просьба. Попытайтесь мне прислать обыкновенной посылкой 25 сигар хорошего качества и *легчайших* – claro, *самые легкие*, какие только есть – похоже, что пошлина очень незначительна. Я к этому делу сильно пристрастился, а мои запасы кончаются. О тетках не беспокойтесь, все будет в порядке. До завтра.

И.

27. 3 ноября 1936

Одесса, 3/XI 36

Итак, родные крошки, жду от вас подробностей разговора с Борей – написанное Мериным куриным почерком никак не разобрал.

Сегодня буду у Анюты, отнесу мзду. Я теперь живу, как мудрец – т. е. на малые деньги. Москва с неограниченными возможностями далеко, поэтому мои пенсионеры маленько прихворнули – но впереди сияющие перспективы… Я тружусь, боюсь, не чрезмерно ли… Возможно, сделаю себе два-три выходных дня. Salut!

И.

28. 5 ноября 1936

Одесса, 5/XI 36

Был у Анюты – там слезы из-за квартирных дел. Зять столь обезоруживающего идиотизма, что не знаешь, с какой стороны за него приняться. Ясно одно, что это не тот человек, который может добыть для себя угол. Попытаюсь вмешаться в это дело, хотя, видит небо, некогда. Соне послал сегодня стипендию – так что праздники она проведет хорошо. С Анютой пойду к Соне Фельдштейн и там поговорим о квартирных делах.

Я блаженствую в трудах, не хочу заглядывать в будущее, и хотел, чтобы эта моя привычная жизнь продолжалась подольше. Сегодня великолепная солнечная погода. Привет, mes enfants.

И.

29. 11 ноября 1936

Одесса, 11.XI.36

Получил мамино письмо от 31/X. Отвечу по порядку. О Соне заботиться вам не надо, посылки отправлять бессмысленно. Я дал ей несколько дней т<ому> н<азад> немного денег и после 15-го дам еще. С этой стороны все будет благополучно. Анюта после 15-го тоже получит 100 рубл<ей>. О квартире для них начал хлопотать, болван этот обставил себя так, что он вообще никаких прав на добавочную жилую площадь не имеет. Меня удивило то, что мама пишет о посылке, – то, что ее надо оплачивать пошлиной в Брюсселе. Неужели это так? Тогда сигарный заказ, конечно, отменяется. Я предполагал (и предполагаю), что пошлиной надо оплачивать один раз. Если предположения мои правильны, то можете к сигарам присовокупить коробочку запасных вставных зубных щеток Gibbs (палка у меня есть) и несколько (можно побольше) пачек курительной бумаги La Croix.

Меня по делам кинематографическим спешно вызывают в Москву, но я пока отбиваюсь, требую, чтобы режиссеры ехали сюда. Трогаться сейчас с места – неохота смертная, только что расписался по-настоящему. Думаю, что в конце декабря недели на две в Москву поехать придется.

Жду от вас подробностей о житье-бытье Бори, как идет его ученье и прочее.

С одесской моей базой – я нахожусь сейчас в стадии «смотрин». Решил, что особенно далеко от города забираться не следует (у нас и на Дерибасовской тихо); участок мне коммунотдел предоставит любой. Заезжать на дачу Ковалевского (принимая во внимание, что это должна быть и зимняя квартира) – бессмысленно, больше всего из виденного меня привлекают Ближние Мельницы и Чубаевка (за 7 станцией). Надеюсь, что в ближайшие две недели я окончательно остановлюсь на каком-нибудь «объекте».

Опасения ваши насчет Наташи я разделяю; как бы Женя не заслала ее в Швейцарию – что по нынешним временам – недопустимо. Вообще, положение европейского «неравновесия» мне уже по чисто семейным причинам доставляет тяжкие заботы. Во всем же остальном – у меня сейчас как будто хороший период – так называемого «подъема»…

С тем – до свидания. Хочется надеяться, что политическая буря пройдет мимо Брюсселя. Как у вас самочувствие на этот счет?

Целую вас, mes bons amis[1], несчетно раз.

И.

[1] Мои хорошие друзья (*фр.*).

30. 15 ноября 1936

Одесса, 15/XI 36

Вчера на почте я нацарапал вам бессвязную открытку. Телеграммы от кинофабрики[1] все настойчивее – надо ехать. Постараюсь в Москве больше месяца не оставаться, постараюсь там неукоснительно работать (я только было здесь расписался). Уезжать очень жалко, но надо. Узнаю много новостей, собери справки о Парижской выставке[2]. Ответ на это письмо пишите в Москву. Рассчитываю там быть числа 25-26-го. Остающиеся мне 10 дней буду работать так, чтобы отрываться только для принятия пищи и короткой прогулки. Чем больше работаешь, тем лучше.

[1] Речь идет о съемках картины «Бежин луг».

[2] Видимо, речь идет о предстоящей Всемирной выставке в Париже 1937 г.

31. 21 ноября 1936

Одесса, 21/XI 36

В Москву поеду дней через пять. Обозреваю пройденный в Одессе путь и испытываю некоторое удовлетворение – хотя сочинение и не доведено до чистовой, но шаги сделаны такие, что теперь вряд ли и Москва сможет остановить. Похоже, что я нашел новую «форму» – поэтому и чувствую себя бодрее и увереннее, чем раньше. В Москве рассчитываю застать от вас письмо. Посылки, как вам уже известно, посылать пока не надо. В Одессе сегодня первый холодный день – у меня топится печка – все-таки это лучше любых лабораториев…

Позавчера был в трогательных гостях у моего учителя математики Попруженко[1]. Старик мне весь вечер играл на рояли. Обедал у Мошеса[2], окруженного злыми женщинами из рода Рахмиловичей; там была Тоня Гершуни[3], все вспоминавшая в восторженных выражениях о Мери. В Институте питания, директором которого состоит Леня Черкес[4], встретил сына Натанзона, восточного типа, молодого человека – доктора… Voilà[5]…

И.

[1] Попруженко Сергей Георгиевич, преподаватель математики в ОКУ. В ноябре 1938 г. Попруженко навестил Бабеля в Москве.

[2] Мошес Гецель, одноклассник Бабеля, окончивший ОКУ в 1911 г. с золотой медалью и званием кандидата коммерции.

[3] Сведений о данном лице не найдено.

[4] Сведений о данном лице не найдено. Возможно, брат Григория Черкеса, выпускника ОКУ 1912 г. (см. выше).

[5] Вот (*фр.*).

32. 24 ноября 1936

Одесса, 24.XI.36

Зима… Вчера выпал обильный снег, сегодня на окнах появились ледяные сосульки. В некотором роде – для разнообразия даже приятно… В Москву еду 27-го[1]. Теперь курьерский поезд идет до Москвы всего 26 часов – выезжаем в два часа дня, прибываем на следующий день к вечеру. Третий день не работаю – этап черновой работы закончен, теперь надо сделать перерыв, отвлечься другими делами – набраться духу – и затем в два-три месяца рассчитываю все привести в годный для печати вид. Отдых свой употребил на чтение газет, ну и тучи на горизонте!.. Даже маленькая Бельгия взволновалась[2]… Прошу вас писать мне теперь почаще – как у вас самочувствие, как дела у Гриши на службе… Во Франции тоже не слишком спокойно… Беда. Одна надежда – что инстинкт жизни победит в конечном счете.

И.

[1] 27 ноября Бабель опоздал на поезд и выехал в Москву на день позже.

[2] Возможно, имеется в виду денонсирование 11 октября 1936 г. правительством Бельгии военного союза с Францией, заявление об отказе от своих обязательств по Локарнским соглашениям 1925 г. и объявление королем Леопольдом III возвращения к политике нейтралитета; 22 октября в стране было введено военное положение в связи с активизацией фашистских выступлений.

Предисловие, публикация и примечания

Елены Погорельской

Сокровища из сокровищницы

328 Татьяна Щурова
«Пробы пера»

Татьяна Щурова

«Пробы пера»

Старая одесская периодика снова преподнесла сюрприз. Это произошло благодаря приезду к нам известного исследователя жизни и творчества Юрия Олеши Ирины Озерной осенью минувшего года. Ей необходимо было уточнить некоторые «одесские детали» в жизни писателя, и она рассказала, что обнаружила в архивах факт о первых прозаических публикациях талантливого юноши в газете «Гудок» за 1913 год.

РОБЫ ПЕРА

Весна.

Весна! весна пришла!
Зима ушла! Зима ушла!
И птички всѣ на радость намъ,
Летятъ изъ дальнихъ, теплыхъ странъ!
И всѣ такъ весело поютъ:
Весну благославляютъ
И на деревьяхъ появились,
Ужъ почки, матери листковъ.

Г. и С. Вайсбейнъ.

Молитва.

Преклонивъ колѣни, предъ тобою Боже, я молю
Пошли мнѣ, что всего дороже,
Дай мнѣ силу крѣпость справиться съ собою.
Чтобы жить умѣть съ правдою святою.

Циля Лебитъ 10 лѣтъ.

№ 13-й. Воскресенье 16-го декабря 1912 года. Годъ изданія 1-й.

ПЕРВАЯ ВЪ РОССІИ

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ

На 1 мѣсяцъ 40 коп.

АДРЕСЪ конторы и редакціи: Полицейская ул., 27 Телефонъ 60-19

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДѢТСКАЯ ГАЗЕТА „ГУДОКЪ"

ПЕРВАЯ ВЪ РОССІИ

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Цѣна 1 коп. — Воспитательно-нравственная, духовная и художественно-литературная газета — Цѣна 1 коп.

ЦИРКЪ МАЛЕВИЧЪ.

Сегодня, въ воскресенье, 16 декабря, 2 м. наибольшее **ДНЕВНОЕ** при ист. Мас. нет. артисты **Юморъ и Смѣхъ**. Дѣтск. праздникъ. Дѣти бесплат. Въ послѣдн. дорешесенье днемъ и вечер **Володя Зубрицкій**. Въ 8 ч. вечер **большое вечернее парадное** представленіе. Масса сюрпризовъ.

Театръ „Заря"

Ул. Кирпичная и Новорыб. Сегодня, 16 декабря, новая программа новыхъ картинъ. **„Люди гибнутъ за металлъ"** въ 2 част. 2500 метровъ. **„Сиротскіе милліоны"** въ 2 част. 1500 м. **„Солнечное затмѣніе въ Одессѣ"**

Электрическій ТЕАТРЪ „АПОЛЛО".

Преображенская 28. Начало ровно 8 ч. Дирекція имѣетъ честь... въ пятницу 14 декабря с. г. ... **АСТА НИЛЬСЕНЪ** исп. главную роль въ картинѣ ... **Дѣвушка безъ отчизны**

ДѢТИ!

если хотите полакомиться вкусными сладостями, такъ требуйте вездѣ **шоколадъ, карамель, ирисъ, монпасье, мармеладъ и халву** только паровой фабрики Торговаго Дома

Бр. Крахмальниковы,

которая является наибольшимъ предпріятіемъ на Югѣ Россіи. На фабрикѣ работаютъ 500 рабочихъ и ежегодно производство свыше 800 пудовъ товару.

ДІТКИ

ковбаси купуйте

тільки в українські крамниці

К. Т. ЛИТВИНЕНКА

На Садові вулиці № 19. Тел. № 44-67. Не забудьте!

ДАМЫ

при маленькомъ задаткѣ **на выплатъ** имѣете возможность

ОДѢВАТЬ дѣтей

въ дѣтскомъ конфексіонѣ

Экономія

33 ПОЧТОВАЯ 33

ДѢТИ!

Просите вашихъ родныхъ, или же сами приходите на **конфектную фабрику**

Н. М. Шапошникова

Преображенская улица домъ № 96,

гдѣ вы найдете все свѣжое,

самое лучшее изъ пряниковъ и конфектъ

по своему вкусу, сладости приготовлены изъ лучшихъ безвредныхъ продуктовъ.

Фабрика существуетъ съ 1830 года.

Съ совершеннымъ почтеніемъ **владѣлецъ Н. Шапошниковъ**

ДѢТИ ЧТО ВКУСНО?

конечно шоколадъ,—

но не забудьте только фабрики

В. Фишера, въ Одессѣ.

Представитель

Иванъ Ѳеодоровичъ Домнингъ,

Одесса, Почт. ящ. 493.

Ранее дебютом Олеши на страницах прессы считалось стихотворение «Кларимонда», напечатанное в журнале «Южный вестник» в 1915 г.

Похоже, краеведы, литературоведы и библиографы забыли, что в Одессе в 1912-1913 гг. выходила первая в России ежедневная детская газета «Гудок». Печаталась она в типографии А.М. Швейцера (Троицкая, 28), а редакция помещалась на Полицейской улице, 27. Редактором-издателем ее был С.М. Новинский, позднее к нему добавился еще один редактор-издатель, Е.Я. Мандель. Как это часто бывало в издательском деле Одессы, планы были грандиозные и долгосрочные. Однако первый номер «Гудка» вышел 4 декабря 1912 г., а последний, 93-й номер – 9 апреля 1913 г. Трудно сказать, что помешало продолжению жизни этой любопытной газеты, сделанной на хорошем профессиональном уровне. Закончился ли энтузиазм, начались ли финансовые сложности, или же увлечение издателей детским театром «Гудок», где они, судя по рекламе, были ответственными распорядителями музыкальных спектаклей?

Газета умело завоевывала внимание детей и их родителей. Здесь печатались занимательные истории, подписанные, как правило, псевдонимами: «Дядя Антон», «Дедушка Лева», «Старый Воробей» «Дон-Кихот» и т. д. Значительное место уделялось развитию детской аудитории. В газете были постоянные рубрики: «Мысли великих людей», «Энциклопедический словарь», «Задачи и шарады», «Библиография». И тут же полезная реклама для родителей, спорт, юмор. Редакция газеты сумела также привлечь к сотрудничеству популярного, известного по сатирическим публикациям в одесском журнале «Крокодил» (1911-1912 гг.) Эмиля Кроткого (1892-1963). Здесь же свои произведения он подписывал Эммануил Ге (полное настоящее имя писателя Эммануил Яковлевич Герман).

Вернемся к Олеше. И.Б. Озерная, которая в настоящее время заканчивает монографию об Олеше в серии «ЖЗЛ», думаем, подробно опишет в ней, почему юный автор 14-ти лет от роду напечатал в «Гудке» свои два рассказа под псевдонимом Мария Малиновская. Рассказы эти, безусловно, привлекают внимание своей искренностью, стремлением тонко передать, например, душевное состояние мальчика, потерявшего отца и обреченного на большие жизненные испытания («Скрипка»). Или же описание освобождения юного героя от влияния романтической литературы и рыцарских романов при столкновении с понятными будничными событиями, лишенными мистики. В этих рассказах нет еще Олеши –

№ 8-й. Вторникъ, 11-го декабря 1912 года. Годъ изданія 1-й.

ПЕРВАЯ ВЪ РОССІИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДѢТСКАЯ ГАЗЕТА

„ГУДОКЪ"

ПЕРВАЯ ВЪ РОССІИ

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ

На 1 годъ — 3 р. 50 к.
„ 6 мѣсяцевъ — 2 „ — „
„ 3 „ — 1 „ — „
На 1 мѣсяцъ 40 коп.

АДРЕСЪ конторы и редакціи: Полицейская ул., 27
Телефонъ 60-19

ОБЪЯВЛЕНІЯ
За строку петита
Передъ текстомъ — 48 коп.
Передъ текстомъ — 60 „
Послѣ текста — 20 „
Изъ числа труда и занятій не то мѣсто за объявленіе въ 3 строчки.
Пріемъ въ дѣлахъ конторы отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечер.
Пріемъ редакціи отъ 7—8.

Экстренныя объявленія принимаются во всякое время въ типографіи Шефнера.

Цѣна 1 коп. — Воспитательно-нравственная, духовная и художественно-литературная газета — Цѣна 1 коп.

ЦИРКЪ МАЛЕВИЧЪ.
Сегодня, 11 декабря въ 8 съ пол. веч. вечера.
величайшій феноменъ XX вѣка
Володя ЗУБРИЦКІЙ
Несмотря на больш. затраты цѣны мѣстамъ обыкнов. Ложи 6—40 парт. 3—50, 1—50, 1—20. Трибуны 1—40, 1—20, 65 50. Балконъ 65, 55. Галерея 35.

Календарь нашимъ юнымъ читателямъ.

ДЕКАБРЬ 31 день
Восх. 8 ч. 26 м.
Зах. 3 ч. 31 м.
Долгота дня 7 час. 05 мин.

11
24.
ВТОРНИКЪ.

Открыта подписка
на ежедневную дѣтскую газету
„ГУДОКЪ",
воспитательно-нравственная, духовная и художественно-литературная газета.
Редакція удѣлитъ много мѣста спеціальному отдѣлу „СОВѢТЪ РОДИТЕЛЯМЪ", въ которомъ коснется вопросовъ воспитанія, гигіены, спорта и проч.
Въ нашей газетѣ обѣщали принять участіе знаменитые представители печати, а также художники, педагоги, профессора, военно, врачи и другія интеллигентныя лица.
Редакція приметъ всѣ мѣры къ тому, чтобы организовать и украшать сценическія этюды, концерты, вечера, спортивныя развлеченія и прогулки для своихъ маленькихъ читателей.
Гг. подписчикамъ газеты „ГУДОКЪ"
ежемѣсячно къ воскресному номеру будетъ разсылаться безплатно изящный, художественный портретъ изъ галереи современныхъ знаменитостей съ полной биографіей ихъ, которыя составятъ въ теченіи года 52 №№
„ГАЛЛЕРЕЯ ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ".
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ — — — 3 р. 50 к.
На 1/2 года — — — 2 р. —
На 3 мѣс. — — — 1 р. 35 к.
На 1 мѣс. — — — 40 к.
Въ отдѣльной продажѣ Цѣна 1 коп.

На каждый день

Есть такія злыя... дѣти, которыя позволяютъ себѣ мучить животныхъ. Мнѣ неоднократно приходилось наблюдать, какъ какой-нибудь шалунишка вольметъ кошку. Мишку за хвостъ и начнетъ они сбивать ею въ воздухѣ круги, радуясь, что несчастное животное жалобно мяучитъ, или пинаетъ собачонку и стараетъ терзать ногами. Нечего и говорить о томъ, какъ это жестоко. Вѣдь бѣдныя животныя такія же созданія Божіи, какъ и люди. Вѣдь и они чувствуютъ голодъ, холодъ, боль, страхъ, радость и горе, вѣдь и у нихъ есть дѣти, которыхъ онѣ нѣжно любятъ и лелѣютъ... Посмотрите на эту милую собачонку, какъ она умно и ласково смотритъ на своего хозяина, какъ оригинально лизнетъ хвостикомъ и ласково лижетъ его лицо и руки послѣ долгаго отсутствія. Такъ и кажется, что если бы она обладала даромъ слова, то сейчасъ бы высказала хозяину, какъ она ему предана, какъ готова, при случаѣ, жизнь за него отдать. А вотъ извозчикъ немилосердно хлещетъ кнутомъ бѣдную замореную клячу за то, что она не такъ скоро тащитъ по косогору телѣгу съ кладью. Правда, ему некогда, онъ спѣшитъ, но почему онъ не хочетъ понять, что побоями дѣлу не поможешь, а только измучишь бѣдное животное? Есть такое общество, называемое обществомъ покровительства животнымъ, члены котораго снабжены особенными билетами и значками. Они ставятъ своей цѣлью ограждать животныхъ отъ злыхъ или невѣжественныхъ людей, которые жестоко обращаются съ животными. Если они замѣтятъ, что какой-нибудь человѣкъ мучитъ лошадь, быка или собаку, вообще—какое нибудь животное, они свистятъ, на ихъ зовъ является городовой и виновника приглашаютъ къ отвѣтственности. За напрасное истязаніе животныхъ нашъ законъ караетъ злыхъ людей.

Заграницей же помимо общества покровительства животнымъ, гдѣ членами состоятъ взрослые, есть города, гдѣ существуетъ дѣтское общество покровительства животнымъ. Членами этого общества состоятъ исключительно дѣти.

Они берутъ на себя святую задачу всѣми силами спасать животныхъ отъ злыхъ дѣтей, которыя ихъ мучаютъ и не исполняютъ свои обязанности не хуже взрослыхъ. Иногда приходится прибѣгать даже къ содѣйствію властей: ребенокъ устыдится, когда ребенокъ же покажетъ ему, что онъ поступаетъ нехорошо. Какъ вы думаете, дѣти: было бы, неправда ли, хорошо, если бы у насъ, въ Одессѣ, возникло такое дѣтское общество? Наша редакція задалась, именно, такою цѣлью организовать, съ разрѣшенія начальства, такое общество.

Это, конечно, не легко; всякое новое дѣло требуетъ громадныхъ затратъ и труда. Но Богъ труды любитъ... Я думаю, что если бы возможно было искорости осуществить нашу мысль, многіе дѣти откликнулись бы и пришли бы намъ на помощь. Неправда ли?

Старый Воробей.

„До завтра".

Мнѣ очень отрадно подѣлиться съ вами, милыя дѣти, моей радостью. Пріятно, знаете, когда уроненное въ землю сѣмо даетъ всходы, да притомъ еще гораздо скорѣе, чѣмъ ожидаешь. На днях мой товарищъ по перу, Старый Воробей, писалъ о томъ, какъ радно тревожить покой честныхъ тружениковъ, имѣющихъ право, послѣ томительнаго трудового дня, на отдыхъ. Онъ говорилъ о шалуныхъ, позволяющихъ себѣ

«короля метафор», хотя зримый образ тумана, который «превратил дома в уродливых, неуклюжих великанов, а фонари магазинов – в мутные расплывчатые пятна», запоминается…

На страницах «Гудка» находим стихотворения «Цветики» и «Звезда Вифлеема» (с некоторым налетом салонности) 20-летнего Марка Талова (1892-1969), в дальнейшем известного поэта, переводчика, мемуариста. Он с 1908 года печатал стихи в периодике, работал корректором в ре-

---

Цвѣтики.

Цвѣтики увяли.
Вѣтеръ разметалъ ихъ.
Холода сковали
Ихъ живой языкъ —
И о дняхъ бывалыхъ
Цвѣтики мечтали.
Въ снѣжныхъ покрывалахъ
Замеръ тихій крикъ.

* * *

Первыя снѣжинки
Заглушили раны.
Скрыли паутинки
Золотую нить.
Сѣрые туманы
Вздулись, какъ холстинки
Смерть настала рано.
Цвѣтикамъ не жить!..

* * *

Но весной на нивахъ,
Въ рощахъ и лѣсочкахъ,
На лугахъ красивыхъ
Вновь они взойдутъ
Новые цвѣточки,
Какъ волна въ приливахъ,
Будутъ биться въ почкахъ,
Выйдутъ, запоютъ!..

Маркъ Таловъ.

Звѣзда Виѳлеема.

Зажглась на небѣ, какъ улыбка,
Вечерняя звѣзда,
И задрожала нѣжно-зыбко,
Какъ тонкая слюда.
Былъ вечеръ благостенъ, какъ странникъ,
Молящійся за всѣхъ.
Въ тотъ вечеръ къ намъ сошелъ Изгнанникъ,
Что-бъ искупить нашъ грѣхъ.
Молчали горы и долины,
Умолкла вся земля,
И были грустны и пустынны
Вечернія поля...
И только вѣтры пролетали
И пѣли о Христѣ,
И вздрогнувъ, пальцы задрожали
Въ тоскѣ и красотѣ.
И свѣтъ столбомъ надъ мглой пещерной
Вознесся отъ звѣзды.
По весямъ вѣсть прошла безмѣрно,
Шепча: „Нѣтъ вышней мзды!..“

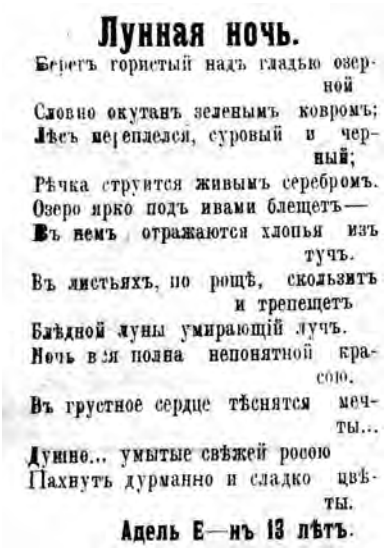
Маркъ Таловъ.

дакции газеты «Одесский листок» и даже успел в 1912 году выпустить свой первый поэтический сборник «Чаша вечерняя» (всего 16 страниц, но с обложкой работы художника Аристарха Кобцева).

Отличным начинанием в газете «Гудок» была рубрика «Юные писатели», потом она называлась «Пробы пера». Талантливые (или не очень талантливые, но смелые) одесские подростки стали посылать свои опусы в редакцию. Похоже, не было отбоя от юных и более старших авторов. Пришлось завести в газете отдел «Почтовый ящик», где без умиления редакция пыталась несколько остудить творческий пыл некоторых авторов. Назывались их фамилии, и следовало резюме: «к сожалению, не подходит», «нельзя выдавать чужую вещь за свою», «не теряйте надежды, пишите дальше», «мысли есть – исполнение слабое» и тому подобное.

Но именно в рубрике «Юные писатели» нас ожидали приятные сюрпризы. Стихотворение «Лунная ночь» было подписано Адель Е-н. 13 лет. За ним следовала краткая рецензия Эммануила Ге (Эмиля Кроткого): «Стихотворение это поистине великолепное, и если автору действительно 13 лет, то приветствую его и прошу продолжать». Стихотворение принадлежало девочке, которую потом знали под именем Аделина Адалис (1900-1969). Поэт, писательница, признанный переводчик, ученица Валерия Брюсова, которую также очень ценил Осип Мандельштам. Известно, что Адалис состояла в одесском литературном объединении «Зеленая лампа», и считалось, что у нее «тонкое, острое перо в твердой руке».

«Почтовый ящик» благосклонно отнесся к 11-летнему Максу Поляновскому, написав ему, что рассказ «Переписал» «с удовольствием напечатаем», тем более что речь в нем шла об одном незадачливом юном авторе, который



Лунная ночь.

Берегъ гористый надъ гладью озерной
Словно окутанъ зеленымъ ковромъ;
Лѣсъ переплелся, суровый и черный;
Рѣчка струится живымъ серебромъ.
Озеро ярко подъ ивами блещетъ—
Въ немъ отражаются хлопья изъ тучъ.
Въ листьяхъ, по рощѣ, скользитъ и трепещетъ
Блѣдной луны умирающій лучъ.
Ночь вся полна непонятной красою.
Въ грустное сердце тѣснятся мечты...
Душно... умытые свѣжей росою
Пахнутъ дурманно и сладко цвѣты.

Адель Е—нъ 13 лѣтъ.

непременно хотел стать писателем. А Макс Леонидович Поляновский (1901-1977) действительно стал известным журналистом и писателем, и его повесть «Улица младшего сына», написанная вместе со Львом Кассилем, неоднократно переиздавалась.

В рубрике «Юные писатели» появилось стихотворение «Исповедь морю», а затем рассказ «Блудный сын». Эти опусы были подписаны: «Блюмкин маленький. 13 лет». Безусловно, речь идет о Якове Григорьевиче Блюмкине (1898-1929), известном представителе коммунистической элиты в СССР, а также «незаменимом специалисте в области террора». Этот «черный ангел революции», личный секретарь Льва Троцкого, был также завсегдатаем столичных «Кафе поэтов» и «Стойла Пегаса», общался с Маяковским, Есениным и др., сам продолжал писать стихи и даже порой вел в Москве поэтические вечера, то есть действительно был человеком незаурядным с «широким спектром способностей и талантов». А начиналось все в Одессе. У Якова два старших брата были журналистами одесских газет, еще один брат получил признание как драматург. Любопытно, что в юношеских стихах он писал: «Тебе я поведал страданья мои / И жизни позорные путы». А в рассказе раскаявшийся грешник осознает свой «путь разврата и позорных дел»…

Ну и наконец, стихотворение «Боже, добр будь ко всем» появилось в «Гудке» с подписью: «Леон Захарович Трауберг. 11 лет». Да, выдающийся режиссер, сценарист и киновед Л.З. Трауберг (1902(1)-1990) действительно родился и рос в Одессе в семье журналиста и издателя. В родном городе, как он потом писал, получил «прививку жизнелюбия».

„Боже, добръ будь ко всѣмъ".

„Если жизнь надоѣла
Утомленъ въ борьбѣ лихой.
Если жизнь не пожалѣла,
Говори тогда за мной:"
„Боже, добръ будь ко всѣмъ".
Будь спокоенъ ты затѣмъ.
Если хочешь помолиться
(Богъ доволенъ былъ тобой,
Захотѣлъ съ добромъ явиться)
Говори тогда за мной:
„Боже, добръ будь ко всѣмъ"
Удовольствуйся ты всѣмъ.

Леонъ Захаровичъ Трауберг.
11 лѣтъ.

У каждого из этих юных авторов публикаций в забытой одесской детской газете «Гудок» потом по-разному, но очень интересно сложилась судьба, каждый из них вошел в историю XX века, оставив в ней свой неповторимый след.

И еще об одном герое газеты «Гудок» хочется упомянуть. Несколько месяцев в 1912-1913 гг. в одесском цирке проходили гастроли семилетнего вундеркинда Во-

лоди Зубрицкого. Его номера «Живая счетная машина» и «Чудеса памяти» потрясали зрителей. О нем много писали в газетах разных городов. Кстати, и Юрий Олеша вспоминал в своей книге об этом чудо-мальчике. А в жизни маленький заложник родителей – цирковых артистов, по сути, был лишен детства из-за своих феноменальных способностей и вынужден был ежедневно развлекать и удивлять публику. Удивительно ли, что выросший Владимир Степанович Зубрицкий (1904-1998) отказался от карьеры циркового артиста и стал моряком, прожившим большую, очень непростую жизнь.

Современная периодика постепенно перемещается в Интернет. Мы можем объяснить это изменениями в жизни людей нового века. И все же жаль, что у наших детей сейчас нет таких познавательных и зовущих к творчеству изданий, подобных старой одесской детской газете «Гудок». История показывает, что в этом есть смысл. Из талантливых детей Одессы таки выходит толк.

Случай

(Разсказъ доктора).

Докторъ улыбнулся и сказалъ:

– Смѣшно мнѣ, право, слушать, какъ это вы все говорите о привидѣніяхъ и тому подобной ерундѣ, ахаете, ужасаетесь... Никакихъ призраковъ нѣтъ, не вѣрьте! Я разскажу вамъ объ одномъ случаѣ, происшедшемъ со мной, благодаря которому я сталъ отрицать всякую возможность ихъ появленія... Слушайте!

Докторъ отпилъ немного чаю изъ своего стакана и началъ разсказъ.

– Это случилось уже давно, лѣтъ тридцать тому назадъ, когда я былъ еще ученикомъ. Учился я тогда въ Могилевской гимназіи и, окончивъ зимнія занятія, уже ученикомъ третьяго класса ѣхалъ на лѣто къ родителямъ въ имѣніе, находившееся въ Могилевской губерніи. Имѣніе это родители мои пріобрѣли какъ разъ въ тотъ годъ, когда я поступилъ въ гимназію. До этого оно принадлежало богатому барону, выходцу изъ Венгріи (его фамилія была, кажется, Ренненъ).

Онъ былъ вдовъ и имѣлъ единственнаго сына, девятилѣтняго Эрика, котораго безумно любилъ. Однажды Эрикъ, катаясь верхомъ, проѣзжалъ черезъ лѣсъ, гдѣ былъ застигнутъ грозой, во время которой его убило молніей. Когда крестьяне принесли найденный ими въ лѣсу трупъ Эрика къ барону, онъ въ отчаяніи покончилъ съ собой. Имѣніе досталось брату барона, отъявленному кутилѣ и моту, и онъ,

усматривая бóльшую пользу въ наличномъ капиталѣ, нежели въ недвижимомъ имуществѣ, продалъ имѣніе моимъ родителямъ.

– Въ это время среди крестьянъ населявшихъ это имѣніе, распространились слухи, что въ лѣсу, гдѣ погибъ Эрикъ, появляется маленькій мальчикъ верхомъ на бѣлой лошади – это призракъ Эрика... Мало по малу вѣра въ появленіе этого призрака твердо укоренилась между крестьянами, и было много среди нихъ такихъ. которые увѣряли, что собственными глазами видѣли его. Этой легендѣ вѣрилъ и я. Но черезъ два года послѣ пріобрѣтенія моими родителями имѣнія, со мной произошелъ случай, послѣ котораго я, слушая разговоры о привидѣніяхъ, только иронически улыбался. Это случилось, какъ я вамъ уже сказалъ, въ то лѣто, когда я, перейдя въ третій классъ гимназіи, пріѣхалъ къ родителямъ въ имѣніе. Здѣсь все еще говорили, что призракъ сына барона появляется. Къ этому я сталъ относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, но все же не отрицалъ вполнѣ правдоподобности этой легенды. Въ имѣніи я предался всѣмъ удовольствіямъ деревенской жизни: катался верхомъ, охотился, удилъ рыбу...

– Однажды, не помню почему, мнѣ пришлось вечеромъ возвращаться домой лѣсомъ. Была ясная, лунная ночь такъ что я безъ труда пробирался между деревьями. Пришлось идти очень долго. Я шелъ скоро, гонимый страхомъ, возбуждавшимся воспоминаніями о призракѣ. Я даже жалѣлъ, что не пошелъ другой дорогой, хотя тогда мнѣ пришлось бы сдѣлать лишнихъ полверсты... Но, представьте мой ужасъ, когда я, выйдя на поляну, всю залитую сіяніемъ луны, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя увидѣлъ высокую бѣлую лошадь и верхомъ на ней... маленькаго кудряваго мальчика... Волосы на головѣ у меня зашевелились, на лобъ выступили капельки холоднаго пота, я дико вскрикнулъ и потерялъ сознаніе.

– Очнувшись, я увидѣлъ себя въ избѣ лѣсника. Я лежалъ на лавкѣ, возлѣ которой стоялъ лѣсникъ Ѳома и маленькій цыганенокъ Яшка, бывшій тогда моимъ первымъ цомощникомъ въ проказахъ.

– Что, баринъ, испугались? – участливо спрашивалъ Ѳома: чай, думали, барчука того встрѣтили, котораго убило – молніей?.. А это Яшка на Снѣгирѣ съ мельницы возвращался, а вы думали – призракъ!

Я посмотрѣлъ на Яшкѵ, на его кудрявую голову и засмѣялся.

Докторъ замолчалъ. а затѣмъ, улыбаясь, добавилъ:

– Такъ вотъ, что со мной случилось... Нѣтъ никакихъ призраковъ, а вы говорите о нихъ! Ерунда это!

Трубка доктора погасла, и синій дымокъ взвился кверху.

Марія Малиновская.

СКРИПКА

Старый Соломонъ умеръ. Умеръ неожиданно для Исаака, который широко раскрытыми, изумленными глазами смотрѣлъ на вытянувшееся тѣло отца. Соломонъ никогда не болѣлъ, никогда ни на что не жаловался. Цѣлыми днями ходилъ онъ по дворамъ со своей скрипкой и, играя на ней, зарабатывалъ нѣсколько копѣекъ въ день. Вчера онъ пришелъ поздно, не заработавъ ни гроша, голодный, продрогшій, легъ на кровать и ничего не говорилъ весь вечеръ. Ночью Исаакъ слыхалъ тихіе стоны. На другой день Соломонъ, противъ обыкновенія, не пошелъ на заработки, что несказанно удивило Исаака, а къ вечеру Соломонъ умеръ...

Исаакъ долго сидѣлъ у кровати и смотрѣлъ на трупъ отца. Онъ чувствовалъ, какъ что-то подступало къ горлу и сдавливало его...

—

Утромъ въ комнату приходилъ дворникъ, приходилъ еще какой-то господинъ съ портфелемъ, позже пришли люди съ носилками и унесли трупъ. Когда они возились возлѣ кровати, Исаакъ, забившись въ уголъ комнаты, все тѣмъ же удивленнымъ взоромъ смотрѣлъ на нихъ. Одинъ изъ нихъ, высокій, плечистый съ рыжими усами спросилъ другого, указывая на Исаака:

– А что съ хлопцемъ будетъ?

Что отвѣтилъ другой, Исаакъ не разслышалъ.

Мальчикъ все сидѣлъ въ углу, устремивъ глаза въ ту сторону, гдѣ стояла кровать. Онъ долго сидѣлъ. Тѣни сгущались, и сумракъ наполнялъ комнату. Чернымъ рѣзкимъ пятномъ выдѣлялась на сѣромъ фонѣ стѣны скрипка. Глядя на нее, Исаакъ вспомнилъ, какъ отецъ училъ его играть на ней. Теперь Исаакъ умѣлъ играть всѣ тѣ пѣсенки, которыя игралъ его отецъ, расхаживая по дворамъ. Исаакъ снялъ со стѣны скрипку. взялъ смычокъ, и звуки полились... Они ширились, росли и то звонко оглушали всю комнату, то тихо, жалобно дрожали... Слезы текли по щекамъ мальчика. Онъ игралъ, изливая въ звукахъ всю свою скорбь. Онъ игралъ долго, въ комнатѣ стало совсѣмъ темно.

Скрипка рыдала...

—

На слѣдующій день Исаакъ никуда не выходилъ: онъ сидѣлъ въ углу и игралъ. Игралъ, забывъ обо всемъ, весь отдавшись звукамъ, волной разливавшимся по комнатѣ. Онъ вспоминалъ отца, видѣлъ его вѣчно скорбное лицо, слышалъ его тихій, покорный голосъ, видѣлъ свою худую, чахоточную мать, вспоминалъ свое дѣтство,

обиды и горечь, вспоминалъ всю жизнь свою... Онъ игралъ и рыдалъ вмѣстѣ со скрипкой...

Вдругъ дверь комнаты открылась и на ея порогѣ показался дворникъ. Словно въ туманѣ, Исаакъ увидѣлъ его бородатое лицо и будто издалека услышалъ грубый голосъ:

– Ты что разыгрался, ошалѣлъ, что ли? Всѣ жильцы жалуются! Тоже музыкантъ! Брось играть!

– Вотъ что, малецъ, продолжалъ дворникъ: хозяинъ денегъ за комату требуетъ, батька твой померъ, платить тебѣ нечѣмъ... Я этотъ струментъ и занесу хозяину замѣсто платы, а ты сиди здѣсь, покамѣстъ полиція вмѣшается...

Дворникъ взялъ скрипку и вышелъ.

—

Когда стало темнѣть, Исаакъ вышелъ на улицу. Густой туманъ опустился на городъ и измѣнилъ очертанія домовъ. Онъ превратилъ ихъ въ уродливыхъ, неуклюжихъ великановъ, а фонари магазиновъ – въ мутныя расплывчатыя пятна... Мелкими капельками садился онъ на крыши домовъ, на мостовую, на спины прохожихъ, спѣшившихъ домой укрыться отъ ненастной погоды. По мокрой мостовой съ ревомъ проносились автомобили, катились экипажи. Исаакъ шелъ, не обращая вниманія на окружавшую его жизнь. Красные, воспаленные глаза его были устремлены въ пространство. Онъ не зналъ куда идетъ, ему было все равно, онъ не имѣлъ отца, у него отняли скрипку, которой онъ могъ повѣдать свое горе...

Марія Малиновская.

Блудный сынъ

РАЗСКАЗЪ

Темная осенняя ночь окутала своимъ непроницаемымъ мракомъ засыпающій городъ. Кругомъ была тишина, изрѣдка прерываемая налетѣвшимъ бурнымъ порывомъ вѣтра, со стономъ гнувшаго стволы завялыхъ акацій. Онъ стоялъ на перекресткѣ улицы. Его голодныя глаза блуждали по сторонамъ. Онъ 3 дня не ѣлъ. Его темное лицо, окаймленное узкой бородкой, юркая низенькая фигурка, порванный костюмъ, дырявые башмаки, черная шляпа съ широкими полями надвинутая на лобъ, выдавали его профессію. Онъ стоялъ прислонившись къ дереву, въ его головѣ не витали обыкновенныя мысли: куда пойти? гдѣ переночевать? Наоборотъ,

онъ предался мечтамъ, онъ вспоминалъ свое прошлое. Вотъ онъ видитъ себя на колѣнахъ старушки няни, разсказывающей ему сказку: о дальнихъ моряхъ, о странахъ гдѣ вмѣсто дня ночь. Далѣе онъ видитъ себя взрослымъ человѣкомъ, въ компаніи дурныхъ людей, толкающихъ его на путь разврата и позорныхъ дѣлъ. Передъ нимъ возстаетъ образъ его матери указывающей ему путь усѣянный добрыми дѣлами, но онъ не пошелъ по этому пути. Наконецъ онъ видитъ передъ собою первое воровство и окончательную картину своего «паденія». И не выдержало окаменѣлое сердце «блуднаго, сына» и изъ глазъ его капнули слезы, а налетѣвшій порывъ вѣтра приласкалъ его грубое, залитое слезами, лицо.

Блюмкинъ маленькій. 13 л.

Исповѣдь морю.

О море! Кипучее море!
Я видѣлъ тебя.
Тебѣ я повѣдалъ то горе,
Что есть у меня.
Тебѣ я повѣдалъ тѣ дни,
Золотые часы и минуты
Тебѣ я повѣдалъ страданья мои
И жизни позорные путы.

Блюмкинъ маленькій 13 л.

Володя Зубрицкій.

Первая гастроль феноменальнаго ребенка привлекла вчера въ циркъ Малевича массу публики. На первыхъ мѣстахъ въ публикѣ обращаютъ на себя вниманіе профессора, врачи, педагоги и журналисты.

Володя даетъ всѣмъ генеральное «сраженіе», онъ, шутя, дѣлаетъ въ умѣ вычисленія на всѣ 4 дѣйствія, производитъ умноженія на сотни тысячъ и удерживаетъ въ памяти сотни цифръ и производитъ надъ ними угодныя комбинаціи. Въ хронологіи исторіи (по учебнику Елпатьевскаго) Володя Зубрицкій показалъ поразительныя познанія. Когда кто-нибудь называлъ событіе, ребенокъ моментально указывалъ дату и, наоборотъ, на дату называлъ событіе. Когда называли

какую нибудь дату, Зубрицкій немедленно называлъ день.

Въ качествѣ жюри на эстраду цирка были приглашены 6 человѣкъ изъ публики – врачи и педагоги. По предложенію жюри студентъ-воспитатель Володи предложилъ ему помножить 7983 на 379. Не прошло и 2-хъ минутъ какъ Володя кричитъ: Готово! – и объявляетъ результатъ – 3.025.557. Публика и жюри привѣтствуютъ Володю шумными апплодисментами. Трехъ и четырехзначныя числа Володя рѣшилъ на нѣсколько секундъ раньше, чѣмъ члены жюри успѣли сдѣлать это на бумагѣ!

Переписалъ.

Когда иачала выходить ежедневная газета «Гудокъ» и дѣти начали посылать туда свои стихотворенія, «ему» тоже захотѣлось видѣть «свою» фамилію въ газетѣ, но для этого надо написать что-нибудь. Но что?

«Онъ» не зналъ.

Схвативъ синій карандашъ и бумагу «онъ» приготовилъ ковычки для заглавія. Но вмѣсто заглавія онъ поставилъ три точки (* * *) и немного подумавъ, началъ писать:

«Я катался на конькахъ по Волгѣ матушкѣ рѣкѣ

И пріятно было мнѣ!..»

Но стихотвореніе не клеилось и «онъ» сталъ искать подходящей темы.

Вдругъ его осѣнила блестяіцая мысль:

«Не написать-ли мнѣ о Володѣ Зубрицкомъ!» и началъ писать.

«У насъ выступаетъ 7-ми лѣтній феноменъ В. Зубрицкій, его показываютъ въ циркѣ Малевича по стр...!» Вдругъ онъ схватилъ одинъ изъ №№ «Гудка» и прочиталъ: Циркъ Малевича. Гастроли семилѣтняго феномена Во-

лоди. Зубрицкаго. Единственный въ мірѣ и т. д. и т. д.

Что писать? подумалъ онъ.

Обо всемъ уже написали!

И пошелъ къ мамѣ, сказавъ:

«Мама, дай мнѣ тему на разсказъ!»

Мама отвѣтила: «Напиши, какъ ты въ училище съ товарищами разыгрывалъ басню Крылова «Соловей».

И онъ пошелъ писать: «Мы разыгрывали басню Крылова «Соловей», а автора игралъ я». Нѣтъ это ерунда, не подходитъ, – съ негодованіемъ воскликнулъ онъ и разорвалъ бумагу и, схвативъ хрестоматію, онъ началъ быстро ее перелистывать.

.....

Онъ остановился въ отдѣлѣ Крылова и, выбравъ оттуда интересную басню, взялъ красивый листъ бумаги изъ «папетри» и написалъ:

«М. Г., г. редакторъ! Посылаю вамъ свое собственное стихотвореніе (слѣдуетъ содержаніе). Подпись: Ч. Ил. [Голтянецъ].

Максъ Поляновскій. 11 лѣтъ.

Шалунишка Ѳедя.

Отець Ѳеди, художникъ, давно ужъ ушелъ на работу. Маленькій сынишка его лежитъ, разметавшись, на большой кровати. Безмятежнымъ сномъ праведника спитъ онъ до тѣхъ поръ, пока въ комнату торопливо не входитъ его воспитательница – хорошенькая блодинка. Инстинктомъ почуялъ Ѳедя, что его отдыху отъ «тяжелыхъ» работъ пришелъ конецъ. Красные глазки, обрамленные длинными рѣсницами, черными, какъ смоль, – удивленно оглядываютъ комнату, затѣмъ ласково смотрятъ они на любовно склонившуюся надъ нимъ воспитательницу. Медленно вытягивается онъ, подражая своему отцу. Хорошенько «продравши» глаза, онъ кричитъ: «Доброе утро! До-брое у-у-т-р-о»! Начинаетъ одѣваться. Но вдругъ какая-то дикая радость, доходящая до безумія охватываетъ хрупкое существо его и онъ скачетъ на кровати, не давая одѣть себя. И напрасны будутъ ваши попытки унять его. Ѳедя упрямъ, какъ десять козловъ вмѣстѣ! Запыхавшись, хохоча звонкимъ, задорнымъ дѣтскимъ смѣхомъ, онъ разсказываетъ о томъ, что ему снился такой сонъ, такой сонъ! Смѣхъ душитъ его. Въ его разсказѣ слышится что то торжествующее, побѣдное, непреоборимое.

Вдругъ смѣхъ смѣняется удивительной серьезностью. Вдумываясь въ свои слова, онъ говорить о томъ, что ему пришлось быть на войнѣ, го-

воритъ о томъ, какъ онъ перехитрилъ «цѣлыхъ десять солдатъ» и однимъ ударомъ ружья уложилъ ихъ всѣхъ на мѣстѣ. И Боже упаси кого-нибудь доказать ему абсурдность его сна! Боже упаси кого-нибудь убѣдить его въ томъ, что 10 солдатъ сильнѣе его, что не могъ же онъ однимъ ударомъ ружья убить 10 враговъ! Онъ вскипаетъ благороднымъ гнѣвомъ, потрясаетъ своими дѣтскими рученками, мечетъ громы и молніи! Настойчиво повторяетъ онъ, что все это было, было, было!

Смотришь на этого ребенка и диву даешься. Столько энергіи, пыла, горячности! Если бы эту энергію, силу, настойчивость да на другое, полезное дѣло!

Наконецъ, «грозный адмиралъ» утихаетъ. Покорно даетъ онъ одѣть себя. Теперь онъ становится шелковымъ: скоро папа придетъ обѣдать. До прихода отца, въ напряженномъ состояніи находится Ѳедя. Съ видомъ кабинетнаго ученаго садится онъ за уроки. Приходитъ отецъ. Кроткій, какъ овечка, садится Ѳедя къ столу и бросаетъ безпокойные взгляды на свою воспитательницу. Вдругъ его осѣняетъ счастливая мысль. О, Ѳедя хитеръ. Онъ забрасываетъ вопросами отца, на которые послѣдній даетъ отвѣты, доступные пониманію ребенка. Но Ѳедю не такъ легко убѣдить въ чемъ либо. Какъ? Почему? Вѣдь я читалъ, мнѣ говорили... И сыплются умныя рѣчи этого ребенка. Любо говорить съ нимъ.

Начинается съ простого вопроса и кончается бурнымъ споромъ.

Разсуждаешь съ нимъ, убѣждаешь его и совершенно забываешь, что предъ тобою ребенокъ всего шести лѣтъ.

Недавно началъ Ѳедя изучать французскій и нѣмецкій языки и сдѣлалъ великолѣпные успѣхи. Не услышишь ужъ больше отъ него по русски тѣ слова, которыя онъ знаетъ по французски или по нѣмецки.

– Bonjour! – и при этомъ скаламбуритъ: «Снимите абажуръ»!

– Au revoir! – поставьте самоваръ!

Много свѣжести, дѣтской рѣзвости въ семъ одаренномъ отъ природы мальчикѣ. И если судьба не измѣнитъ ему, полезнымъ гражданиномъ будетъ Ѳедя! Гордо подыметъ онъ факелъ добра и науки и освѣтитъ путь всѣмъ, желающимъ свѣта и науки.

О, золотое дѣтство. Какъ сладко подчасъ вспоминать о минувшемъ близкомъ и столь далекомъ дѣтствѣ? Чье сердце не бьется при вспоминаніи о немъ.

Эммануилъ Ге.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Путешествие

344 Феликс Кохрихт
Аполлон и летучая мышь в небе столицы Австрии

Феликс Кохрихт

Аполлон и летучая мышь в небе столицы Австрии,

а также Заяц Альбрехтович Дюрер на лужайке императорского дворца произвели на нас в Вене большое впечатление.

В конце ноября минувшего года мы, собрав материальные и моральные ресурсы, отметили в Вене наши юбилеи. Были там пять дней – и при этом загодя составили программу, которую выполнили, и даже с некоторым превышением – как средств, так и иных возможностей.

Заранее приобрели билеты на два оперных спектакля, причем не дорогие, но и не стоячие: в последние годы это нам удается в Вене и Мюнхене как входящим в некий пул друзей театров плюс мои журналистские работы.

Так сложилось (полагаю, на редкость удачно), что мы услышали и увидели в Венской опере, по сути, премьеру спектакля «Orest» на музыку современного немецкого композитора Манфреда Трояна, а в «Фолькс-опере» – шедевр мировой классики конца XIX века – оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Причем вечер за вечером. Таким образом, и успели услышать, и сумели в какой-то мере ощутить разнообразие сегодняшней музыкальной ситуации в Вене.

Разумеется, тема располагает к серьезному диалогу о путях, по которым развивается нынче опера, ибо и «Мышь» входит в репертуар Венского «большого» театра. Ее играют 31 декабря, и после спектакля публика с бокалами просеко в руках проходит метров 300 по Рингу и усаживается за столиками культового кафе «Шварценберг»…

Надеюсь, что такой разговор состоится в нашем оперном, где недавно с успехом прошел фестиваль «Бархатный сезон». Приглашаю к разговору Надежду Бабич, Алексея Ботвинова, Игоря Шав-

Несколько лет назад, став туристическим «амбассадором» – послом Одессы, я опубликовал этот снимок, сделанный в фойе Венской оперы. С тех пор наши чувства только укрепились: «Мы любим Одессу!»

рука, Юрия Дикого и, разумеется, киевлянку Анну Ставиченко, с которой мы не раз встречались на Мюнхенском оперном фестивале и на венских премьерах.

Но сейчас в формате традиционных заметок о путешествиях лишь отзовусь на эмоциональном уровне о том, что удивило и порадовало в те пять дней.

Орест – герой трагедии античного драматурга Еврипида

Он мог бы рассчитывать на именной комплекс, сформулированный Зигмундом Фрейдом (немецким евреем, работавшим в Вене, мать которого была одесситкой). Он ничуть не меньший символ трагедии, чем Эдип. Даже более того: Орест не согрешил с родной матерью, а убил ее…

Опера, поставленная в Вене, – одноактная, и, как говорится, слава богу: столь велики пафос и накал страстей в музыке Трояна, в режиссуре и сценографии Марко Марелли, что… Что я, уже свыкшийся с новациями атональной и додекафонной школ, оторопел. Важно подчеркнуть – но не отверг то, что видел и слышал в этот мирный венский вечер, который оставался за массивными стенами театра. На сцене и в зале набирал обороты и наконец воцарился Древний Ужас, который тысячи лет назад пугал простодушных зрителей в античных театрах, и вот сегодня, в XXI веке, вдруг ворвался к нам. Кстати, знакомым со спецэффектами голливудских ужастиков.

Пожалуй, нынешние мистики и шизики пасуют пред Еврипидом из курса древней литературы филфака. Не стану, да и не сумею пересказать (тем более – не спеть, а прокричать) страсти и напасти, которые неотвратимо наступают на Ореста. Упомяну лишь призрак убиенной им матери-царицы Клитемнестры. Съе-

Если вам доведется идти в театр по Рингу (транспортному кольцу, окаймляющему центр Вены), обратите внимание на невысокий забор, за которым скрывается самый маленький виноградник австрийской столицы. У же много лет здешняя лоза успешно плодоносит, и собранного урожая хватает на несколько ящиков отменного белого вина

жившись от ужаса, я решил спрятаться за шуткой и шепнул Тане: «Эта Клитемнестра таскается без места…» – но успеха не имел даже у себя.

Вывод. Кратко. На библейские и исторические классические сюжеты, содержащие трагические события, за прошедшие столетия написаны оперы и оратории знаменитыми и великими композиторами, к примеру, Глюком, Гайдном, Бахом, Рихардом Штраусом, Вагнером, Бриттеном. Но я пришел в этот вечер к выводу, который наверняка будет оспорен: передать древний – безысходный ужас способна лишь современная музыка с ее отстраненностью, безапелляционностью, знанием наших болевых точек на физиологическом и психологическом уровне.

…Великая античная трагедия…
О герое, чем он знаменит –
в Интернет, энциклопедию.
Древний Ужас, Фатум, Рок:
передать их могут Гойя,
может, иногда и рок, разумеется, тяжелый,
но и немцу удалось – как адепту новой школы:
он исправно вас пугает,
но ведь вот что нас смущает:
про Троянскую войну, убиенну Клитемнестру,
что на сцене повсеместна,
композитор написал по фамилии Троян…
…Может быть, поля сместились,
иль во времени – изъян?

И наконец – о вышеупомянутом во вступлении боге Аполлоне. Композитор немец ввел в эту историю покровителя искусств, видимо, стремясь хоть как-то уравновесить свой «сумрачный германский гений» хотя бы отблеском «острого галльского смысла», присущего, по определению, режиссеру итальянцу, но в финале оперы Олимпиец лишь трогательно взмахивает бутафорскими крылышками и возносится над кровавой суетой…

На следующий день – «Die Fledermaus»

Шедевр Иоганна Штрауса (сына) на все времена. Как я уже упоминал, по сути, это опера. Ее играют и поют во многих театрах мира, но лучше всего, если вам посчастливится именно в Вене услышать и увидеть действо, которое под дивную музыку сумбурно и без всякой логики происходит с легкомысленными героями, жившими когда-то в столице Австрийской империи, именно здесь. И нам это удалось – в театре «Volks Oper», считающемся в Вене вторым оперным. Но он бывает и первым. И мы в этом убедились.

Спектакль длится более трех часов с тремя антрактами в театральном здании, построенном в 1898-м по повелению императора Франца Иосифа в стиле венского Соцесьона с акцентом на патриотический – народный стиль.

Надеюсь, среди моих читателей есть те, кто в былые годы смотрел отечественный фильм «Летучая мышь», где исполнители ролей играли, а пели за них другие, за кадром. Тогда авторы сценария преобразили сюжет венского либретто в историю, пусть легкомысленную, но содержащую хоть какую-то долю логики и смысла. Ничего этого нет в классической версии, которая представлена на родной сцене. Да она и не нужна.

Роскошная, упоительная музыка, великолепный оркестр, которым маэстро дирижирует, глядя не в партитуру, а на сцену. Исполнители главных, больших и уж вовсе проходных ролей, сочетающие блистательную, истинно штраусовскую вокальную школу с «тем» венским темпераментом, который пленял монархов и психоаналитиков… Статные фрачники и обольстительные носительницы корсетов… И шампанское в буфетах на всех этажах… Заметьте, земляки: цены здесь (как и в Венской опере) ниже, чем в городских кафе, что, видимо, завещали то ли Моцарт, то ли Штраус, то ли Франц Иосиф. И еще – кабачок напротив театра, куда приходят за час-два до начала спектакля, и где нам подавали знаменитое местное белое вино «Veltiner» два официанта – Фальстаф и Мефистофель с соответствующими амплуа оперными (чуть подуставшими) голо-

Вот на таких огромных трейлерах перевозят в венские музеи работы великих мастеров.
На сей раз – Моне и Пикассо

сами, и милая молодая особа – Гретхен, но лукавая, – дочь тенора, того, что постарше.

...На венскую ночную тишь в полупрозрачной полумаске
Летучая спланировала мышь...
Если нынче в Вене вы, прислушайтесь к совету!
Отправляйтесь поскорей в «Volks Oper» – в оперетту!
Там Штраусы во всей красе – почти что все, почти что все.
Там штрудель с марципаном в буфете театральном.
Там Мышь летучая приветливо звучит: она поет, а не пищит.
И, как Таня говорит: «У нее приличный вид!»
Там князь Орловский у дверей вас встретит – дорогих гостей:
«Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад!»
А дальше – три часа подряд ты подпеваешь невпопад,
И Таня тычет тебя в бок привычно...
И это – полный Seher gut! А по-нашему: «Отлично!»
Вы возвращаетесь домой, мотив мурлыча заводной:
«За что, за что, о боже мой!»
С бокалом белого вина, и вам, конечно, не до сна!

Перед дворцом-музеем «Альбертина» – конная статуя Альберта Саксен-Ташинского

За моей спиной – фрагмент огромного круглого здания «Концертхауза», созданного по проекту «наших» архитекторов Фельнера и Гельмера. Здесь размещаются несколько концертных и театральных залов

Дюрер: лететь с одним крылом?

В венском музее «Альбертина» в эти дни были собраны из многих коллекций графические работы Альбрехта Дюрера – от ученических до гениальных. Вернее, до гениальной: портрета молодого полевого зайца, обитателя нюрнбергских лесов и лугов, запечатленного в 1502 году акварелью на небольшом листе бумаги и обессмертившего этого простодушного длинноухого паренька наряду с курфюрстами, святыми, девами в остроконечных

Гостиница напротив носит то же название. В ней останавливаются знаменитые музыканты и актеры, и мы, когда это удается

колпаках, да и самим мастером, предстающим на автопортретах разных лет и загадочным красавцем, и гением Северного Возрождения.

Заяц этот хранится в закромах «Альбертины»: его редко выпускают на свет божий (показывать акварель чаще вредно) – вот и на этой выставке мы наконец его увидели живьем.

От проекта в целом осталось неоднозначное послевкусье. Уже в который раз за последние годы кураторы предлагают экспозиции, которые, как нам представляется, отражают специфический узкопрофессиональный взгляд на творчество великих художников. Их гений как бы «размывается» соседством современников, не сравнимых с талантом мастеров (так недавно было в мюнхенской Старой Пинакотеке, где несколько полотен Караваджо фактически затерялись среди работ на схожие темы кисти «средних» его современников – голландцев). В Альбертине же шедевры Дюрера – и «Заяц», и «Крыло птицы», терялись в толчее, в которой публика разглядывала его подчас проходные эскизы, а то и ученические упражнения. Это тема обстоятельного и спорного разговора, но могу сегодня сказать, что нашел единомышленников среди и авторитетных специалистов, и просвещенной публики.

Любопытно, что логотипом выставки стало изображение крыла мертвой птицы – прекрасный образец мастерства, достойный «препарат» для изучения и копирования.

Но мы унесли с собой тихий восторг от встречи с очаровательным существом, частью той природы, что пока еще наследует великие прототипы, созданные Тем, кто все это придумал…

Как я рад, что он живой и вовсе и не умер –
Великий Заяц Полевой Абрехтович Дюрер.
Он сейчас – всем напоказ – в нарядненькой витрине –
Крепко умиляет нас в венской «Альбертине».

P. S. 22 декабря, в день, когда я отправил эти заметки на верстку, мы получили из Вены сообщение, что для нас оставлены два билета на традиционный новогодний концерт в Золотом зале Венской филармонии, который уже много лет начинается утром 1 января. Замечу, что такое приглашение мечтают обрести многие. Но воспользоваться им на сей раз у нас не получается. Будем наслаждаться прямой телетрансляцией венского концерта, которая идет по всему миру.

Фото автора и Татьяны Вербицкой

На спектакли в Венской опере публика приезжает и на «мерседесах», и на велосипедах

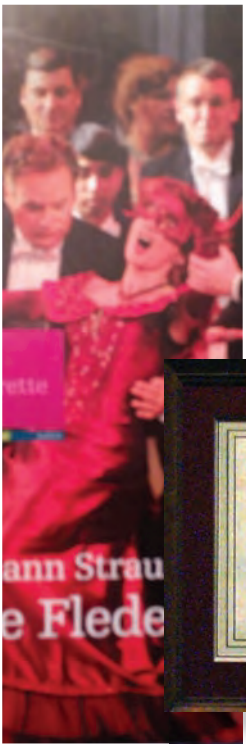
Уже в ноябре минувшего года мы получили подробный план – перечень спектаклей сезона 2020

С первого взгляда занавес к опере «Орест» обещает, что когда он поднимется, на сцене произойдут события, достойные настоящей трагедии…

А вот занавес к «Летучей мыши» уже более века не меняется и сразу погружает нас в беззаботную, искрометную атмосферу старой Вены

Как я рад, что он живой
и вовсе и не умер –
Великий Заяц Полевой
Абрехтович Дюрер.
Он сейчас – всем напоказ –
в нарядненькой витрине –
Крепко умиляет нас
в венской «Альбертине».

Вечером «Фолькс-опера» ярко освещена и нарядно убрана



Ах, Одесса

354 **Олег Губарь**
Год Крысы

357 «Ах, Одесса!» под небом «Юга»
Григорий Яблонский
357 Александр Петрович и Лидия Федоровна
358 Высокая печать
359 Путь в «зоне»
360 Строки об этой жизни
361 Голос Лидии Федоровны
Александр Кулич
363 Цветы на балконе
364 Сашины повести, которые состояли из одних названий
Александр Кедров
365 Эйнштейн нашей автобазы

Олег Губарь

Год Крысы

Несколько лет назад озорная экспозиция Сада скульптур Одесского литературного музея пополнилась иронической и вместе с тем доброй композицией под названием «Музейная крыса», придуманной моим старым товарищем Лёней Липтугой. Словосочетание в общем привычное, устойчивое, есть даже одноименный популярный роман. Полагаю, это производная от вошедшего в лексикон значительно ранее – «библиотечная крыса». В обиходе также и «архивная крыса». Семантика совершенно прозрачна: страстная, порой чрезмерная привязанность к книге, музейным экспонатам, архивным документам. И все это, заметьте, обо мне. Я крыса триединая – библиотечная, архивная, музейная.

Но тут крутой поворот от моделей и метафор в событийную хронику, к реальным реперным точкам памяти. Вероятно, многие засомневаются, сочтут гиперболой заявление о том, что крыса когда-то спасла мне жизнь, что приключилось это, к тому же, в год Крысы и имело счастливые последствия опять-таки в крысиный год. Но все было именно так, как я сейчас расскажу, нисколько не прибегая к беллетризации сюжета.

В ночь на 15 октября 1972 года воинская часть, в которой я проходил срочную службу, находилась на объекте – аэродроме близ Белопесоцкого бора. Было уже довольно прохладно, и меня нарядили протопить котел на метеостанции, в коей имелась и комната для офицеров. Котельная помещалась при входе и заглублялась примерно на метр ниже уровня пола внутренних помещений. Раскочегарив котел и подкинув уголька, решил покемарить. Приспособленную для спуска в котельную небольшую деревянную лестницу водрузил на форматный металлический

Наши друзья из Одесского литературного музея собрались у скульптурной группы, созданной Олегом Черноивановым по идее Леонида Липтуги при поддержке партнера музея – АО «ПЛАСКЕ»

угольный ящик, накрыл ее бушлатом и кое-как улегся. Пробудился от зуда в носу. С трудом отворив глаза, узрел сидящую прямо на моей груди крупную усатую крысу. Попытался вскочить, но не получилось. С трудом поворотившись набок, свалился на цементный пол. Дыхание сбилось, перед глазами расплывались хрестоматийно многоцветные, но тускнеющие круги. Не помню, каким макаром выбрался из котельной в коридор, а оттуда на открытое пространство.

Что это было? Ничего особенного. Я так старательно раскалил котел, что офицеры в светелке изрядно упрели. Некто зашел в котельную и прикрыл заслонку. Меня просто-напросто не заметил,

да кому бы и в голову пришло инспектировать изобретенное мною «спальное место»? Если бы не крыса, я бы угорел. Что там у нее было на уме, когда щекотала меня усами, сказать трудно, но я до сих пор жив, озадачен и совершенно отчетливо вижу перед собой ее темный абрис на фоне алеющего котла.

Прошло ровно 24 года, два полных цикла, и в ночь на 15 октября 1996 года родился мой старший сын Федор. При этом жизнь – его и матери – висела на волоске. Возможно, на крысином волоске, а потому они живы и здравствуют.

Минуло еще 12 лет. Я стал регулярно проводить октябрь в лесном массиве за 400 километров от Одессы. Там и обнаружился мой покровитель – неруктоворный древесный Крыс, который, знаю, давно меня дожидался. Такой себе идол. Прихожу к нему по нескольку раз в сезон. Как ни смешно, оставляю ему записочки с пожеланиями, совсем по-детски, однако, уверяю вас, действенно. 27 химиотерапий, а я себе нахально живу и живу, причем очень интенсивно и весело. Крыс все может. Тем более в свой год. Так что обращайтесь, если что.

«Ах, Одесса!» под небом «Юга»

Григорий Яблонский

Александр Петрович и Лидия Федоровна

«Смех должен быть чист, как слеза» (Фраза)

Напомню: мысль о нашей веселой газете зародилась и даже «проклюнулась» в комнате на третьем этаже старого газетного дома на Пушкинской, 32. Это когда там – у знаменитого штатного боцмана одесской «Полундры» Карпа Полубакова – собрались еще и трое «беспривязных» журналистов, сатириков и юмористов для совместного пуска в областной партийной газете «Знамя коммунизма» (вдумайтесь!) еще и почему-то смешного «Большого Фонтана». И это удалось! А то, что «проклюнулось», надо было беречь, как драгоценное, временно комнатное растение. У нашего газетного аксакала, мастера фельетонов Александра Петровича Шнайдера это заняло «всего четверть века». И когда в самом конце 80-х он сказал, что принял «жизненно важное решение выйти на пенсию», это означало: «Беремся за создание нашей «Ах, Одессы!..».

Но даже очень желанной новой газете тогда нужен был основатель не в виде личности (это сейчас отдельные суперпуперы владеют не только газетами и пароходами, но с особым шиком и телестудиями!). Знающий, как переступать все тогдашние «грабли», Александр Петрович был прав – и с ним наконец согласились в Одесском отделении Союза журналистов Украины: «Ладно, берем вашу новую газету под свое крыло. А вы набирайте команду в штат».

И тут интересная деталь: кого можно? Ведь и в наш творческий союз людей принимали не по должности – по достойным публикациям и рекомендациям известных коллег. Признаюсь, что при создании очень небольшого коллектива будущей «Ах, Одессы!» и сам впервые стал штатным работником. А в Союзе журналистов по рекомендации Александра Петровича был уже давно.

Первые радости минули, и «Ах, Одессу!» с невероятно важным нулевым номером пришлось готовить долго. Фельетоны, рассказы, даже интервью со знаменитостями – все это было готово, но где найти место для коллективной редакционной работы? Обращались к издательскому начальству – а им «по барабану!». И вот тогда комнату – большую! – с четырьмя, пусть видавшими всякое столами и стульями (на одном столе была даже живая еще пишмашина «Україна»!) – выделил нам на своем четвертом этаже отважный редактор газеты со свернутым и уходящим в прошлое названием «Знамя коммунизма»…

Отважный? Да, это именно он – Юлий Маркович Мазур, во вторник 20 августа 1991 года, когда московская партийная клика под «Танец маленьких лебедей» во всех телеящиках уходящей в прошлое страны готовила свои строгие (и мстительные!) распоряжения по возвращению всей этой территории в их родной «совок»… А в Одессе, как и везде, во всех властных кабинетах и осторожных газетах терпеливо ждали путеводных «ц. у.» – только он в своей редакторской колонке назвал это столичное ГКЧП преступным путчем! Так его невероятно смелая газета начинала свой путь в будущее Украины. И нам виделась добрая судьба «Ах, Одессы!» под небом «Юга»…

Высокая печать

Понятно, что наш Союз журналистов был скорее добрым, чем состоятельным. А новой газете, чтобы выйти в свет, нужна была бумага, на которой и смеяться не стыдно. Ну, и что-то на оплату труда – нет, не своих журналистов и авторов, а наших дорогих печатников! Кто-нибудь еще помнит, что тогда вся наша типографская печать «по-совковому гордо» называлась «высокой» –

и каждую действительно высокую, да и увесистую литеру-буквицу наборщики набирали своими черными от свинца руками. А если на контрольном оттиске полосы (то есть газетной страницы) что-то было не так, или приносили новую правку от редактора, то эти почти пудовые наборы газетных полос труженики наборщики заново перебирали своими руками, исправляя все неточности, вплоть до запятых…

А проверял и отвечал за весь набор дежурный по номеру журналист. В особых случаях до полуночи и позже. У новорожденной «Ах, Одессы!» всё было особое! Помню, как той зимой во второмтретьем часу ночи топал пешком – из Дома печати через метель и сугробы километра четыре – к себе на отдаленное Таирово… Но в моей сумке уже была наша «нулевая» «Ах, Одесса!» А в ней вот какие слова из обращения к читателям от нашего ответственного секретаря Александра Петровича: «Сбылась мечта одесских сатириков и юмористов!.. У вас в руках номер нашей новой газеты… Знаем, что кто-то уже провозгласил Одессу столицей юмора – и этому радуется сердце одессита? И все же я убежден, что чувство юмора, как и группа крови, не зависит от места рождения и прописки. Это бесспорно, как и то, что кроме одесского университета есть еще Кембридж и Париж. Для нас же драгоценно чувство юмора в кровном родстве со скромностью и чувством меры. Так что не будем суетиться, чтобы не ощутить в себе некое превосходство только потому, что мы одесситы».

Путь в «зоне»

Напрасно мы сразу о земном журналистском счастье… Той же зимой на пути «Ах, Одессы!» обнаружилась еще и «хоззона» с камнями подводными и делами подковерными. Она начиналась в том же Доме печати и тянулась обманчивым пунктиром, проникая в ковровые коридоры не привыкших к «самовольным» новым СМИ хозяев города и области, этих держателей своей провинции у моря.

По какой причине «душили, душили»? А она давняя – у всех таких «шариковых» сохранилась трусливая злоба к опасному

для них автору сотен фельетонов Карпу Полубакову. Но так как под былым органом обкома партии «Знаменем коммунизма» огрызаться не позволялось, то корчились и сообщали: «Меры приняты». А теперь им хотелось задушить не только «Ах, Одессу!», но и ставшую чересчур популярной независимую газету «Юг»…

Мы знали, что нашему «сталкеру» уже немыслимо тяжело в этих бесконечных коридорах, у непробиваемых стен и лбов – если не каменных, то тупо-ватных… Он возвращался в редакцию со своей палочкой, и мы видели, что ему плохо, очень плохо, но он молчал. Знакомился с нашими текстами, показывал, как сделать лучше, еще лучше!.. Нулевую, программную «Ах, Одессу!» мы с Александром Петровичем, как вы уже знаете, выпустили. До следующей, первой, он не дожил.

Строки об этой жизни

Пусть хотя бы сейчас они станут доступны всему Интернету и Всемирному клубу одесситов.

Александр Петрович Шнайдер родился в 1915 году в городке Бар Винницкой области в семье потомственного специалиста по лесу и древесине. Через три года семья переехала в Одессу, где отец стал работать в порту. А растущий сын Саша (его еврейское, местечковое имя Шломо пришлось, конечно, изменить, иначе и в Одессе совковой расти ему было бы некуда!) стал отличным студентом филфака нашего университета. Но с третьего курса его призвали в непобедимую и легендарную Красную армию. И там доучили до танкиста. Таким он и ушел на войну в 41-м… По особому везению после Сталинграда его, тяжело раненного, не потащили на обязательный допрос в политотдел: «Почему ты, с…, в танке не сгорел?!». А довезли до госпиталя где-то в Казахстане… И там, когда «встал на костыли», Александр каким-то чудом узнал, что где-то неподалеку находится и его эвакуированный одесский университет! И он таки добрался туда – к родному филфаку, и, безмерно радуя своих профессоров, до конца войны завершил

с отличием высшее образование!.. А вернувшись (еще на костылях) в свою Одессу, – сразу в прессу!

И тут еще одна заслуженная не только для него радость! В уже названном тогдашнем газетном доме на Пушкинской, 32, где Александра приняли литсотрудником, он встретил свою филфаковскую однокурсницу Лидию Ерушову – «журналистку по крови и призванию». На войне как на войне, под тем же Сталинградом она – под бомбами и с контузиями – была ценнейшим для фронта связистом-шифровальщиком. А здесь, в областной газете с большевистским еще названием, которую после 20 съезда переименовали в «Знамя коммунизма», она стала ответственным секретарем. Коллеги знают: работа эта огромной важности и сложности – для каждого номера. Но Лида и сама писала статьи и прекрасные очерки!..

А ее дорогой друг Александр избрал для себя и своей газеты то, что в Одессе стало легендой – сатирическую «Полундру» с еженедельными фельетонами, подписанными остроумно раскрывающим все здешние махинации Карпом Полубаковым (за что его стали ненавидеть и бояться все махинаторы – особенно те, что «выше райпотребсоюза»!..). Опасно? Да! Но он, полагаясь на свое умение (талант!) и отчасти на звание журналиста партийной печати, не боялся ничего. С помощью хороших одесских врачей уже ходил по городу без костылей, только с палочкой. И жену Лиду приглашал с собой в Клуб журналистов, в театры и на киностудию. Ведь городу и миру наш сатирик от журналистики уже был известен еще и как лирический драматург, талантливый киносценарист и создатель знаменитых на всю страну одесских театральных капустников!..

Голос Лидии Федоровны

Пора сказать, что они с украинкой Лидией Федоровной стали красивой и даже счастливой семейной парой Шнайдер – несмотря ни на что! На плохо скрываемый тогда бытовой и провластный антисемитизм. И даже на то, что Лиде пришлось уйти из своей газеты, а фактически и из журналистики. Но ни идиотский в этом

На чудом найденных снимках
Александр Петрович Шнайдер и его жена
Лидия Федоровна

случае партзапрет «на семейственность в одной редакции», ни терновый венец для ее собственной творческой жизни не сломили Лиду. Она ушла на преподавательскую работу в автодорожный техникум: «Был бы жив и здоров Саша!..».

Но 23 февраля 1991 года Александр Петрович уходил из одесского Дома печати и из этой жизни. Скорбную тишину и негромкие слова прощания нарушил голос его жены Лидии Федоровны – тоже ветерана, тоже инвалида войны и тоже журналиста. И она сказала громко, очень громко, что знает всех нынешних убийц Александра Петровича! И что все они – это местная мафиозная коммунистическая партия! И над гробом мужа она разорвала его и свой партбилеты! И тогда… (представьте эту картину!) присутствующие еще не названные местные бонзы этой партии стали пятиться и исчезать с «мероприятия» – кто на улицу к своим персональным машинам, кто к лифту – вверх и по кабинетам…

Лидия Федоровна после смерти самого дорогого человека решила, что жить ей осталось только для того, чтобы поставить памятник на Сашиной могиле. Болела и стала продавать все, что могла, даже воинские награды (только наградные документы сохранила). Но были близкие друзья, и один из них – тогда еще молодой ученый Валентин Семенченко. С благодарностью к газете, которая публиковала и его научно-популярные статьи, подружившись с Александром Петровичем и Лидией Федоровной, он теперь помогал ей, чем мог, и не только материально. Надо было вернуть Лиду к творческой жизни – и в этом неоценима роль работавшего много лет рядом с Сашей прекрасного жур-

налиста Александра Щербакова. Он помнил все очерки Лидии Федоровны и сказал ей: «Вы так же талантливы, как и Саша!». И она снова взялась за перо!.. А с участием молодых друзей-журналистов Феликса Кохрихта и Евгения Голубовского очерки Лидии Шнайдер о собственной военной и газетной жизни, о Саше стали выходить в одесской прессе – и это действительно было самой дорогой помощью! А Валентин Семенович Семенченко, оставаясь близко, рядом с Лидией Федоровной, собирал все ее публикации и рукописи. Став профессором Одесского национального политехнического университета и академиком, одну из своих книг – изданную в 2007 году «Мозаику» – он посвятил этой легендарной семье журналистов. В книгу вошли и все 26 очерков Лидии Федоровны. Жизнь этой творческой семьи становилась открытой частью истории Одессы.

Два факта. Американская служба приобретения книг и периодики (как правило, для Библиотеки Конгресса США) выписывала и получила все экземпляры ежемесячной сатирической газеты «Ах, Одесса!..». Увы, их было немного – только за 1991 год.

И Лидия Федоровна свой долг выполнила – желая покоиться рядом с мужем, она заказала выгравировать на камне эти же два слова: «Ах, Одесса!..». Но с их могил на одесском кладбище этот камень был украден…

Да, в «Одессе-маме» – и прежней, и совковой, и даже нынешней – украсть можно все что угодно. Но не память!

Авторы той первой «Ах, Одессы!»

Александр Кулич

Цветы на балконе

Этот проект он вынашивал всю предыдущую жизнь. Он думал над ним ночью и днем, на работе и дома. С ним он ложился и вставал, умывался и пил чай, смотрел кино, гулял – с ним он жил. Но самого проекта еще не было. Была мысль, одна только мысль, хотя и неотвязная.

И вот его осенило. Сейчас весь проект в законченном виде стоял у него перед глазами.

Прежде всего, от правого устья Дуная до Евпатории надо соорудить плотину. Это, безусловно, связано с большими материальными затратами, но они окупятся еще в нашу эру.

Азовское море тоже отгораживается от Черного. Таким образом, создаются два крупных пресноводных озера. Благодаря плотине все реки европейской части страны перестанут отдавать свои воды Черному морю. Это вызовет небывалый прилив теплой воды Средиземного моря, и районы нынешнего побережья Черного моря станут субтропиками. На улицах расцветут пальмы и апельсиновые деревья, а кадрового директора бюро погоды уволят за профнепригодность.

Он записал основные положения проекта и задумался. Потом решительно скомкал его и предал огню. Он боялся, как бы из-за перемены климата не завяли цветы на его балконе.

Сашины повести, которые состояли из одних названий

Повесть о хорошем, отзывчивом и душевном человеке, который хотя и являлся фальшивомонетчиком, был исключительно честным: каждый месяц он печатал только 135 рублей и прогрессивку.

Повесть о том, как трое неизвестных под покровом ночи забрались в зимнюю квартиру завмага и вынесли оттуда ряд очень ценных вещей отечественного и зарубежного производства, но были задержаны и вскоре вместе с завмагом предстанут перед судом.

Повесть об одном сравнительно молодом человеке, который женился потому, что не хотел по утрам готовить завтрак, а затем развелся, потому, что не хотел по утрам готовить два завтрака.

Александр Кедров

Эйнштейн нашей автобазы

– Значит, говоришь, спидометр у тебя шлепнулся?

– Я сказал – шмякнулся. Но километров 310 отмахал. Нутром чую.

– В моей ведомости, Лопухов, есть графа «Километраж». Но не графа «Нутро Лопухова». Ведомости нужна точность. Которая дитя учета.

– Дитя-мальчик или дитя-девочка?

– Остришь, Лопухов?

– Интересуюсь: дитя – он, или дитя – она?

– Дитё – оно! И сейчас мы его с тобой рассчитаем. По моему методу.

– Без спидометра?..

– Без! Решаем задачу: из пункта «А» в пункт «Б» выехал водитель Лопухов Владимир…

– Было.

– Проехали пост ГАИ, водитель первым делом… что?

– Что – что?..

– Что сделал первым делом водитель, проехав пост ГАИ?

– Ну, привал сделал.

– Правильно. А на привале что?..

– Ну, сел… Газетку расстелил. «Культуру и жизнь».

– Лопухов, так мы с тобой до отпуска считать будем. Ты конкретно давай: сколько?..

– Конкретно – 100 грамм. За культурную жизнь.

– Так и запишем: «Проехав пост ГАИ, водитель Лопухов Владимир заправился горючим на 100 км?»

– А чего – нормально…

– Ну, а что водитель сделал, проехав 100 км?

– Он, Петрович, завтракал. Жинка ему завернула три котле…

– Ты мне меню не декламируй. Ты мне цифру давай. Сколько грамм завтракал? Конкретно!

– 150. Под огурчик. Малосольный.

– Плюсуем 150. Без огурчика. А ленч у него когда получился?

– Ленч – это кто? Автоинспектор?

– Это не автоинспектор, Лопухов. Это легкий перекус по-английски. Когда уже не завтрак, но еще не обед.

– Ленч у него плохо пошел. Километров на 50. Ему встречный транспорт мешал.

– А дальше?

– А чего дальше? Как раз до автопарка и хватило.

– Тогда считаем… Это туда… Это сюда… Интеграл не берем… корень не потребляем… Ответ! Водитель Лопухов Владимир проехал ровно 300 км!

– Петрович, ты Эйнштейн нашей автобазы! Пошли. Ставлю по 200 км за новый метод расчета. На брата. Это ж теперь все спидометры поснимать можно! Экономия! Производительность! Ма-ма!..

Издано...

368 **Евгений Голубовский**
Книжный развал

374 **Феликс Кохрихт**
Муза дальних странствий

376 **Евгений Голубовский**
Цените, сохраняйте, преумножайте!

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе

Олег Губарь
Заметки мухомора
Одесса, 2019

Увлеченность Олега Иосифовича Губаря не только историей Одессы, но и сегодняшним днем – в самых разных его проявлениях – уверен, ни у кого не вызывает сомнения. Как и то, что изучает он не только белые грибы, но и красные, назовем их условно мухоморами…

Оказывается, 15 капель мухоморовки при холоде и голоде – а как же иначе в осеннем лесу? – вызывают безудержную тягу говорить стихами. Ну если бы прозой, так куда ни шло, коты и кошки с удовольствием слушают, но стихи… Но оказалось, что в природе все гармонично. Нашелся матерый кот, который не только с удовольствием внимал мухоморочьим трелям, но записал все на телефон и передал в издательство, чтобы к 66-летию покровителя живой и неживой природы вышла книга не только сюжетов, но и стишат укрывшегося под мухомором автора. И вот результат.

Боровики стояли кучно
И их сбривали под нули
А мухоморы ненаучно
Цвели.

И будут цвести еще много лет под пером мухомороведа и мухоролюба.

Издано в Киеве

Русский стих Украины
Век XXI. Начало
Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019

Рад, что живет, прекрасно себя чувствует русская поэзия Украины. Когда-то ее представляли такие большие поэты, как Николай Ушаков, Леонид Вышеславский, Григорий Петников, Борис Чичибабин. Им на смену пришли молодые поэты.

Дмитрий Бураго не только издатель, он и сам достойный поэт. И для своей антологии подобрал стихи тех, кто публикуется в его альманахе «Соты» и журнале «Коллегиум».

А это не только киевляне Александр Кабанов и Евгения Бильченко, не только харьковчане, николаевцы, львовяне, но и представительная когорта одесситов.

Рад, что в этой антологии многими стихами представлены Тина Арсеньева, Ольга Ильницкая, Анна Стреминская, Семен Абрамович, Юлия Петрусевичюте, Елена Шелкова, Сергей Главацкий, Ирина Беньковская, Александр Хинт и ушедшая в 2019 году Анна Сон.

Все они публиковались в нашем альманахе, и я поздравляю их с включением в большую антологию русских поэтов Украины.

Мог бы посетовать, что в книге не представлены Тая Найденко, Влада Ильинская, Елена Боришполец, чьи стихи опубликовал только что киевский журнал «ШО». Посоветую Дмитрию Бураго обратить на них внимание.

И одно короткое стихотворение Анны Сон.

А в небе такая луна,
Что вряд ли когда и приснится.
– Ты веришь, что время – волна?
– Я думаю, время – частица.
Осколок, разменный пятак,
Прикол, для имеющих уши.
Послушай: тик-так, да не так,
Как надо бы. Просто послушай.

Издано в Харькове

Юлия Верба
Одесская сага. Понаехали
Харьков, Фолио, 2019

Читали «Сагу о Форсайтах»? Так это тоже сага, но не про английских джентльменов, а про одесскую многонациональную семью с Молдаванки.

Не знаю, что правда, что выдумка в романах о Форсайтах, но в одесском – все правда, на все Юлия Верба имеет документы, даже про то, что реквизировали в их семье большевики. Хоть не надеется, что сейчас отдадут.

Так вот – все начиналось не в Одессе. Понаехали! Дочь нико-

польского казенного раввина вышла замуж за сына казачьего полковника. Их бы со свету сжили в Никополе. Так что же – прикажете плакать? Они сбежали в Одессу и поселились – где? – на Молдаванке, на Прохоровской. Дом 8. Можно проверить…

Нет, я не буду рассказывать историю Ивана и Фиры, а также их детей. Это просто история всей Одессы.

Не случайно, когда Юлия Верба проводила презентацию романа во Всемирном клубе одесситов, очередь за автографом растянулась до Костецкой.

Шучу. Но книгу покупали, как бублички с семитатью. А ведь это только первая книга саги, которая задумана в четырех томах.

Издано в Москве

А.Л. Мартыновский
Вершины звали, и я шел…
Москва, 2019

Признаюсь, что вначале я подумал – автор один из клана Мартыновских, ведь в Одессе была и площадь Мартыновского, названная в честь народовольца Сергея Ивановича Мартыновского, и холодильный институт возглавлял профессор Владимир Сергеевич Мартыновский, и газету «Комсомольская правда» создал Тарас Костров, который был Александром Сергеевичем Мартыновским. Когда-то об этой семье Белла Кердман, Тома Погорелова и я книгу написали. Но нет. Это другой Мартыовский.

И хоть первая главка книги называется «Я из Одессы, здрасьте…», не столько Одессой интересен этот человек. Вице-президент

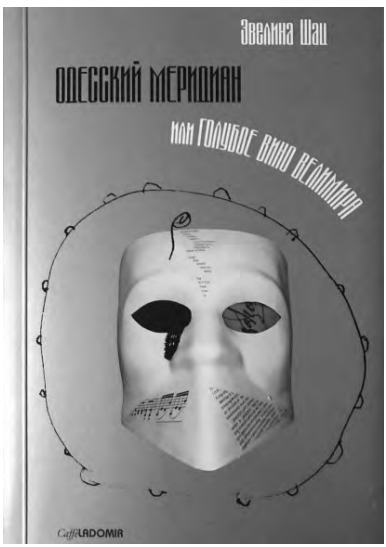
РКК «Энергия» имени С. Королева, лауреат Государственной премии СССР, он много сделал для космических стартов.

Но начиналось все в Одессе. Окончил инженерно-строительный институт. В Одессе, в доме Александра Владимировича Блещунова Аркадий Мартыновский приобщился к альпинистскому братству.

Сколько раз над ним потом шутили, привозя на Байконур, в Королев, в Москву таблички троллейбусных маршрутов «Площадь Мартыновского – Аркадия»! Увы, нет уже такого маршрута, а есть фантастически интересная жизнь Мартыновского Аркадия, где встречи с Валентином Глушко, тоже одесситом, чередовались с дружбой с Юрием Визбором, где освоение Байконура чередовалось с подъемом на Памир, с тем, что назвали пиком имени Шукшина, встречи с Гагариным со встречами с Высоцким…

Как много интереснейших людей вывел на орбиты жизни наш город! И не про всех мы знаем.

Издано в Милане



Эвелина Шац
Одесский меридиан,
или Голубое вино Велимира
Милан, 2019

О том, что одесситы тонким слоем расселились на всех континентах, мы писали не раз. В Италии наш город достойно представляет поэт и художник, прозаик и эссеист Эвелина Шац. Она создала издательство «Кафе Ладомир», в котором выпускает изысканные книги своих друзей, поэтов и художников, а также свои стихи и на русском, и на итальянском.

Многолетняя любовь Эвелины к творчеству Велимира Хлебникова стала основой и этой, новой книги стихов.

В книге рисунки Велимира Хлебникова, она оформлена Верой Хлебниковой, но многие ее стихи посвящены Одессе, одному из городов, где находил пристанище вечный скиталец – великий поэт.

Так получилось, что Эвелина Шац родилась на Белинского, 6, здесь в их гостеприимном доме бывал и я, и Феликс Кохрихт, и Базарная угол Белинского была адресом семьи Рябчевских, родичей Хлебникова, к которым он дважды приезжал в Одессу.

Завершу рассказ квазихоку Эвелины Шац:

ведь нет вообще таких как Хлебников
он Ад вобрал в себя и просто не-был
а небом стал

Одну из новых книг Эвелина Шац подарила Одесскому литмузею.

Феликс Кохрихт

Муза дальних странствий

Издано в Тель-Авиве

Елена Галинская
Травелоги
Тель-Авив, Terra Incognita, 2019

Ее нет среди покровительниц искусств и наук, подопечных античного бога Аполлона. Но она сопутствует тем, кто подвержен охоте к перемене мест. И особенно тем, которые связаны с жизнью и творчеством великих художников, где расположены знаменитые музеи и сохранились памятники зодчества.

Елена Галинская не только из них (из нас), она не только сама путешествует по этим местам силы и красоты, но и ведет за собой тех, кого лишь недавно коснулся ветер дальних странствий. Короче говоря, моя давняя одесская приятельница уже много лет формирует группы израильтян, стремящихся увидеть Мир Искусств – оба слова с большой буквы.

Трудно посчитать, в каких странах, а тем более – городах она побывала, сколько музеев, галерей, архитектурных ансамблей она исходила, скольким неофитам привила ин-

терес, а то и любовь к странствиям и к созерцанию, и к размышлениям.

Жанр своей книги, вышедшей недавно в Тель-Авиве, автор определила в ее названии – «Травелоги». Термин (новомодный), на мой взгляд, казенный и формальный: «описание путешествия». Повествование же Ленино вышло не только занимательным и профессиональным, но и исповедальным: она делится с нами не впечатлениями, а пережитым, прочувствованным в восьми с половиной главах, не скрывая привязанности к шедевру Федерико Феллини, как тот не таил своей ностальгии по Древнему Риму.

Рискну предположить, что в южных приморских городах Европы, в их припортовых кварталах Лена – одесская школьница, жившая в 60-е годы, как и моя племянница Нина, на Пересыпи, вблизи Сахарного завода, узнает Одессу.

В каждый свой приезд добирается к дому, где прошло ее детство, и не может войти во двор: ворота на кодовом замке.

Мы договорились: Галинская напишет для альманаха половину девятой главы – о путешествии в Одессу, где она когда-то работала в одном из музеев. И мы ее опубликуем.

Евгений Голубовский

Цените, сохраняйте, преумножайте!

Издано в Херсоне

Компас культуры Одессы
Хронологическая роспись газеты
«Всемирные одесские новости»
№ 1-100
Составитель Татьяна Щурова

Всегда возмущала обывательская фраза – «газета живет один день».

Так и видел суетящихся репортеров в поиске очередного лопнувшего меридиана.

А назавтра им нужна новая сенсация, еще злободневней сегодняшней.

Мне не раз, не два, а многократно приходилось обращаться к старым газетам. Трудно найти более достоверный отпечаток времени.

В колонке редактора сотого номера я вспоминал, что в первом ставил задачу перед газетой – воспитывать интеллигентность.

И все 28 лет оставался верен этой цели.

И для меня очень важен вывод Татьяны Щуровой: «Думаем, не будет преувеличением назвать газету «Всемирные одесские новости» компасом культуры Одессы. Она поможет ориентиро-

ваться в значимых событиях сегодняшней жизни, и в ней как бы звучит призыв к современникам: цените, сохраняйте, преумножайте!».

Большой вклад в газету внесли члены редколлегии нашего альманаха.

У Феликса Кохрихта 14 публикаций. Думаю, и сегодня он мог бы повторить «Мой прадед самых честных правил…».

У Олега Губаря сорок четыре публикации – больше, чем книга.

Открываю наугад – «Последний дом на Привозной» о сносе дома 24 на Привозной улице, еще одна публикация – «Краеведы или короеды?» – два метода портретирования старой Одессы.

Естественно, по количеству публикаций в своей газете я был чемпионом. Приходилось писать все – от колонок редактора до некрологов. Что перечитал бы сегодня? Пожалуй, огромный репортаж длиной в пару полос – «От Черного моря до зеленых Альп», написанный вместе с Валентиной Голубовской после путешествия по Дунаю.

Уверен, это издание окажет помощь в работе и будущим краеведам, и короедам.

Содержание

От редакции 3

Михаил Жванецкий
Молитва 5

Михаил Жванецкий
Не лгал. Не крал. Не сломался 7

История, краеведение

Олег Губарь
Путеводитель по пушкинской Одессе 12

Сергей Котелко
Шахский дворец 30

Владимир Смирнов
Воспоминания детства 58

Виталий Оплачко
К 100-летию рейса парохода «Руслан» 76

Анатолий Горбатюк
«Исаак, слушай сюда!», или Ностальгическое путешествие в дождливое лето 1963 года 93

Евгений Деменок
Отшельник из Духцова 105

Одесский календарь

Олег Губарь
Две стороны одной улицы 124

Проза

Владимир Каткевич
Моточистка 130

Елена Андрейчикова
Убедительные знаки судьбы 143

Давид Шехтер
Принц и нищий. 148

Ольга Яценко
Чаклунка 168

Сергей Корниевский
Дичь 179

Поэзия

Юрий Михайлик
«Небо – черное с золотым…» 192

Тая Найденко
И назови мне эти имена. 194

Виталий Амурский
«Сквозь брешь меж небом и стеной…» 200

Влада Ильинская
Клонируем полковничьи ошибки 205

Анна Галанина
Мир фонарей. 210

Віталія Бабущак
Проростають крила 214

Первые шаги

Море талантов юной Одессы 220

Искусство – жизнь – искусство

Евгений Голубовский
Наедине со Вселенной 226

Алена Яворская
«Сохраним это счастье вдыхать акации…» 233

Леонид Авербух
Одесские музы поэтов 248

Юрий Садомский
Зеленые глаза Зулейхи 272

Елизавета Кузьминская-Полихрониди
Димитрис Маниотис 285

Публикации

Исаак Бабель: письма из Одессы. 298
Предисловие, публикация и примечания Елены Погорельской

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«Пробы пера» 328

Путешествие

Феликс Кохрихт
Аполлон и летучая мышь в небе столицы Австрии 344

Ах, Одесса

Олег Губарь
Год Крысы 354

«Ах, Одесса!» под небом «Юга» 357
Григорий Яблонский
Александр Петрович и Лидия Федоровна 357
Высокая печать 358
Путь в «зоне» 359
Строки об этой жизни 360
Голос Лидии Федоровны 361
Александр Кулич
Цветы на балконе 363
Сашины повести, которые состояли из одних названий 364
Александр Кедров
Эйнштейн нашей автобазы 365

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал. 368

Феликс Кохрихт
Муза дальних странствий 374

Евгений Голубовский
Цените, сохраняйте, преумножайте! 376

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 80

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 80

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 26.01.2020
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

FSC
accredited
FSCTrademark©1996
ForestStewardshipCouncil A.C.
FCS-ACC-015

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 500 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.
E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34
www.takibook.od.ua

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, 65001 Украина Одесса
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

ПОДПИСНОЙ КУПОН-ЗАЯВКА

Настоящим подтверждаю свое намерение оформить подписку:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Адрес доставки:	
Телефон:	
E-mail:	

Стоимость подписки*	12 месяцев	4 выпуска	200,00 грн.

** В стоимость подписки не включаются затраты на доставку изданий.*

Оплата:

❑ безналичный расчет ❑ наличными

❑ кредитная карта ❑ необходим договор

Оплату согласно выставленного счета гарантирую

Дата _____ Подпись _____

Отправьте подписной купон-заявку почтой или факсом по адресу:
Украина, 65001, г. Одесса, а/я 229,
Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

PLASKE
ПЛАСКЕ

Факс: +380 (48) 7-385-375; 7-287-221;
тел. редакции: +380 (48) 7-385-385, 7-288-288;
0-800-300-30-80 (бесплатно со стационарных телефонов)